РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Константин Паустовский

ЗОЛОТАЯ РОЗА

«АЗБУКА»

Золотая роза. Повести, рассказы

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Паустовский. Золотая роза
Кара-Бугаз
  Заблуждение лейтенанта Жеребцова
  Мальчик с серебряным горлом
  Черный остров
  Дело вдовы Начар
  Учитесь у водорослей
  Полководец
  Горы из розового мела
  Материалы для истории залива
  Старый врун Бекмет
  Грубая ошибка природы
Черное море
  Небесная азбука морзе
  Ожидание бури
  Мертвый город
  «Травиата» на кораблях
  Мужество
  Разговор на корабельной
  Артемида-охотница

Ржавые корабельные гвозди
Вода из света
Морской календарь
Двойная весна
Рассуждение о красках и бронзе
Веселье и голод
Скрипка мастера Равиковича
Горох в трюме
Оцепенение полета
Мать
Кара-Даг
Горная роса
Подземная война
Сказочник
Ночь на шаланде
Самоубийство кораблей
Почетная грамота
Мещерская сторона
Обыкновенная земля
Первое знакомство
Старинная карта
Несколько слов о приметах
Возвращение к карте
Мшары
Лесные реки и каналы
Леса

Луга
Небольшое отступление от темы
Еще о лугах
Старики
Родина талантов
Мой дом
Бескорыстие
Повесть о лесах
Скрипучие половицы
Мечтательница
Разговоры за чайным столом
Овраги
Старая яблоня
Речные фонари
Дорожная книга
«Не боги горшки обжигают»
Мать и дочь
Глухомань
Встречный огонь
Ровные стружки
Ленинградские парки
Встреча с читателем
Аграфена
Железное время
Ожидание
В тумане спрятанного солнца

Короткое научное сообщение
Гонкое дерево
Кипрей
Старые серьги
Золотая роза
Драгоценная пыль
Надпись на валуне
Цветы из стружек
Первый рассказ
Молния
Бунт героев
История одной повести
«Планета Марц»
Ливенские грозы
Изучение географических карт
Зарубки на сердце
Алмазный язык
Родник в мелколесье
Язык и природа
Груды цветов и трав
Словари
Случай в магазине Альшванга
Как будто пустяки
Старик в станционном буфете
Белая ночь
Животворящее начало

Ночной дилижанс
Давно задуманная книга
Чехов
Александр Блок
Ги де Мопассан
Иван Бунин
Максим Горький
Виктор Гюго
Маленькая роза в петлице. (Юрий Олеша)
Михаил Пришвин
Александр Грин
Эдуард Багрицкий
Искусство видеть мир
В кузове грузовой машины
Напутствие самому себе
Маленькие повести
Судьба Шарля Лонсевиля
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая

- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая

Созвездие Гончих Псов

Орест Кипренский

Исаак Левитан

Рассказы

Этикетки для колониальных товаров

- Незнакомец
- Кофе мокко
- Жестяное ведро
- Идишер готт
- Морские карты
- Тишина
- Блеск осени
- Перепела и шторм

Дочечка Броня. (Письмо из Одессы)

Барсучий нос

Золотой линь

Кот ворюга

Заячьи лапы

Парусный мастер

Колотый сахар

Старый челн

Стекольный мастер

Ручьи, где плещется форель
Старый повар
Жильцы старого дома
Дождливый рассвет
Телеграмма
Ночь в октябре
Во глубине России
Синева
Корзина с еловыми шишками
Наедине с осенью
Ильинский омут

Аннотация

Константин Паустовский – крупнейший русский писатель, автор замечательной лирико-автобиографической прозы, исполненной любви к русской природе и русской культуре. Паустовский неоднократно номинировался на Нобелевскую премию, его произведения переведены на многие языки и по праву считаются классикой отечественной литературы XX века. Для советских читателей Паустовский – это олицетворение человеческого и писательского благородства, совесть эпохи. В его творчестве свободно соединились история и современность, верность правде жизни и романтическая приподнятость над нею, интимно-личное и общезначимое. В настоящий том включены наиболее известные произведения Константина Паустовского, в том числе повесть «Кара-Бугаз», с которой началась литературная слава писателя; «Мещерская сторона» и «Повесть о лесах», воспевающие красоту среднерусской земли; «Золотая роза», посвященная сущности писательского труда и природе искусства

слова; тяготеющая к притче философская фантазия «Созвездие Гончих Псов» и другие произведения.

Константин Паустовский
Золотая роза

© К. Г. Паустовский (наследники), 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

Кара-Бугаз

Заблуждение лейтенанта Жеребцова

На Каспийском море нет прибрежий, столь решительно и во всех отношениях негодных.

Путешественник Карелин

«Спешу уведомить вас, что просьбу вашу я уважил и везу вам из плавания двух редкостных птиц, убитых мною в заливе Кара-Бугазском. Корабельный наш провизионер решился оных птиц обделать в чучела, каковые и стоят теперь в моей каюте. Птицы эти египетские, носят имя фламинго и покрыты розовым, тончайшей красоты оперением. Пребывание их на восточных прибрежьях Каспийского моря я почитаю загадочным, ибо до сего времени птицы эти водились в одной Африке. Обстоятельства, связанные с охотой на сих птиц, весьма замечательны и заслуживают пространного описания.

Как известно вам, весной нынешнего, 1847 года я получил приказ произвести тщательнейшим образом описание и промер берегов Каспийского моря, для чего в мое распоряжение был передан паровой корвет „Волга“.

Мы вышли из Баку в Астрахань и проследовали до Гурьева, откуда начали двигаться к югу вдоль берегов неведомых и угрюмых. Описание их я опускаю, дабы не утруждать вас излишним чтением. Отмечу лишь удивительную картину берегов у полуострова Мангышлака, где Азия подымается отвесным черным порогом из-за уральских пустынь. Порог отходит от моря и ровной стеной удаляется на восток, где из-за марева ничего не видно, кроме глины и солнца. Порог неприступен, и, по рассказам кочевников, подняться на него можно токмо в одном месте — по руслу высохшего потока. В море порог опускается обрубистой стеной, имеющей местами черный, местами бурый цвет. За многие годы скитаний не видел я берегов столь мрачных и как бы угрожающих мореплавателям.

До бухты Киндерли мы плыли, преодолевая южный ветер — моряну, — несущий из пустыни пыль и запах серы, ибо в пустыне, как говорят, лежат серные горы. Ветер этот рождает стесненное дыхание и, надо полагать, вреден для всего живого.

Я сам испытывал тошнотворную сладость во рту, а матросы до того плевались, что боцманы пришли в подлинное отчаяние: вся палуба была

заплевана, и ее приходилось окатывать три раза в день. Поясню, что это происходило в силу старых морских привычек, запрещающих плевать в море, каковое может оскорбиться этим и задать кораблю жестокую трепку.

После захода в бухту Киндерли, где за два месяца плавания наши глаза впервые увидели зеленую сочную траву, имевшую в этих засоленных землях вид чуда, мы отплыли к заливу Кара-Бугазскому при сильном норде. Сей последний ветер тоже имеет необыкновенные свойства. Он приносит холод, ясность и некую пустоту всего тела, как бы опорожняя его от крови и костей. Легкость эта ничуть не приятна, а, наоборот, весьма болезненна и приводит к звону в ушах и головокружению.

В бухте Киндерли мы взяли в старинных колодцах относительно пресную воду, но к ночи она превратилась в горько-соленую. Я долго думал над этим явлением и произвел с помощником своим несколько проб. Было обнаружено, что вода засоляется, будучи оставлена в сосуде, плохо прикрытом, а то и вовсе неприкрытом. Отсюда я заключаю, что воздух в здешних местах наполнен тончайшей соляной пылью, каковая и засоляет воду, попадая в небрежно закрытые бочонки или

в открытые ведра. Тем же явлением я толкую и замечательный цвет неба, подернутого сединой. Мощные пласты атмосферы наполнены солью, и солнце приобретает тусклый, несколько серебрящийся цвет, хотя и палит нещадно.

В заливе Киндерли видели мы остатки укреплений, воздвигнутых при Петре Первом генералом Бековичем в начале безрассудного его похода на Индию. Здесь, говорят, он зимовал со своей пудреной армией и отсюда уехал в Хорезм, где хивинцы вероломно отрубили ему голову, а кожей его обтянули боевые барабаны.

Около укреплений, густо заросших полынью, нашли мы три тутовых дерева, настолько древних, что сердцевина их походила на старое серебро.

Хочу сказать вам, что один средневековый путешественник, ежели он не врет, сообщает, что не то у залива Киндерлийского, не то у Кара-Бугазского видел он величайший город — с мечетями и караван-сараями, обнесенный стенами, полный зелени и с избытком омываемый пресными ключами. Полагаю, что он был прав, ибо вблизи Киндерлийского залива видели мы основания мощных зданий, треснувшие и рассыпающиеся прахом от долголетия и жары.

От Киндерли мы пошли к Кара-Бугазу в состоянии тревожном и недовольном. Тому было много причин. Нам предстояло проникнуть в залив, куда до нас никто не входил. О нем наслушались мы еще в Баку множество страхов. Капитан корвета „Зодиак“ рассказал мне, что в 1825 году корвет его был предоставлен в распоряжение академика Эйхвальда. Академик требовал от капитана стать на якорь перед входом в Кара-Бугазский залив, дабы обследовать оный. Но капитан, не желая рисковать кораблем, решительно отказался. Опасения его были вызваны тем, что вода Каспийского моря устремляется в залив со скоростью и силой неслыханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано название залива: Кара-Бугаз по-туркменски означает „черная пасть“. Наподобие пасти залив беспрерывно сосет воды моря. Последнее обстоятельство дало повод полагать, что на восточном берегу залива вода уходит могучей подземной рекой не то в Аральское море, не то в Ледовитый океан.

Известный и отважнейший наш путешественник Карелин дал мне о Кара-Бугазе весьма нелестную письменную аттестацию и предостерегал от углубления в залив. По его словам, выйти против течения из залива почти невозможно.

К тому же залив обладает смертоносной водой, разъедающей в короткое время даже стальные предметы.

Сведения эти были известны не токмо нам, начальникам, но и матросам, которые, натурально, были взволнованы и ругали залив жестоко.

Мне было приказано во что бы то ни стало сомкнуть на морской карте берега залива, изображенные в виде двух разорванных кривых линий. Берега я сомкнул и сделал морскую опись залива при обстоятельствах чрезвычайных.

Подходя к Кара-Бугазу, мы увидели над песками купол багровой мглы, как бы дым тихого пожара, горящего над пустыней. Лоцман-туркмен изъяснил, что это „дымит Кара-Бугаз“. Открытие это, никем еще не отмеченное, повергло нас в тревожное недоумение. Мы шли с чрезвычайной бдительностью, поминутно меряя глубину, пока не достигли едва заметного с моря входа в пролив.

Течение в нем было стремительное, и весь пролив был подобен Волге во время полой воды.

Раздумывать было нечего, да и прямой долг обязывал нас войти в это устрашающее горнило Азии. Тихим ходом мы двинулись в пролив, увлекаемые течением, и отдали якорь не ранее, чем

синяя морская вода сменилась мертвой и серой водой залива.

Величайшее безмолвие царило окрест. Сдавалось, что всяческое звучание глохнет в густой воде и тяжком воздухе пустыни, окрашенной в багрянец заходящего солнца.

Ночь провели под парами. Котлы за исчерпанием пресной воды питали забортной водой из залива. К утру обнаружилось, что на стенках котлов нарос слой соли толщиной почти в дюйм, хотя котлы продувались каждые четверть часа. Из сего обстоятельства вы можете судить, какова соленость этого залива, подобного Мертвому морю в Палестине.

Придурковатый наш кок отпросился искупаться, но залив его не принял. Он высоко выкидывал его ноги, и при всем тщании кок погрузиться в воду не смог. Это повеселило команду и улучшило несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что вода залива являет собой разбавленную царскую водку, иначе — серную кислоту.

Утром серое зеркало залива предстало перед нами во всей монотонности. Вода была малопрозрачна. В ней плавали мертвые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли великое множество

этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, их пробовавших, они вполне годились в пищу.

Безжизненные сии воды поразили меня обилием птиц и довели до оптического обмана.

На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного берега, мы достигли косы Кара-Сукут, где обнаружили на воде обширные красноватые полосы пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены соответствовали движению волн.

Удивленный неестественным цветом пены, я приказал спустить шлюпку и отправился к ближайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел в ней красную, очень дробную рачью икру и подивился тому, что икра может существовать в столь едкой воде.

Засим я направился ко второй пенной полосе, несколько более пышной и розовой. Здесь произошел казус. Пенная полоса, гулко гогоча, поднялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. То была стая фламинго, сидевших на пене и питавшихся рачьей икрой.

В Кара-Сукуте наблюдали мы несметное количество диких гусей и злых пеликанов, называемых по-здешнему „бабами“. Я мысленно сожалел, что вы отсутствуете на борту корвета. В последу-

ющем письме сообщу вам не лишенные интереса сведения о природе Кара-Бугаза.

Преданный вам лейтенант *Жеребцов».*

Второе письмо адресатом по небрежности было утеряно, и о природе залива мы узнаём лишь из краткого донесения лейтенанта Жеребцова в Гидрографическое управление. Донесение это составлено в стиле ясном и отрывистом, что в полной мере соответствует самому составителю донесения — человеку пытливому и отважному.

Долговременное изучение морских лоций, равно как и описание природы писателями различных эпох, убедило меня, что ощущения от явлений природы в разные эпохи бывают весьма неодинаковыми. На описаниях сказывается как профессия автора, так и принадлежность его к тому или иному слою общества.

Доверяя словам средневековых авторов, я представляю себе пейзаж тех времен более грубым и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на твердом дереве.

Это отступление я счел необходимым сделать, чтобы было понятно, что Кара-Бугаз во впечатлении современника, хотя бы в моем, представляет собой нечто значительно более простое и менее таинственное, чем в глазах лейтенанта Жереб-

цова.

В донесении Жеребцова Гидрографическому управлению говорится следующее:

«Залив Кара-Бугазский, называемый туркменами „Горькое море“ (Аржи-Дарья) и „Слуга моря“ (Кули-Дарья), являет собой обширную водную площадь, превышающую Ладогу и почти отрезанную от моря двумя бесплодными косами. Хотя залив и лежит на широте Неаполя, но климатом обладает жарким и пустынным.

Я обошел все берега залива и нанес их на карту. Северный берег крут и обрывист и состоит из засоленной глины и белого гипса. Ни травы, ни деревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт множеством соляных озер.

Все берега пустынны и не имеют пресной воды. Мною не было обнаружено ни единого ручья, каковой впадал бы в это поистине мертвое море.

Удобных бухт для стоянки судов нет, но сие обстоятельство отнюдь не препятствует плаванию, ибо глубины залива ничтожны и всюду одинаковы. Суда могут становиться на якорь, буде к тому встретится надобность, в любом месте залива.

Имеющиеся бухты настолько мелки, что шлюпки останавливаются в кабельтове от берега и

люди идут на сушу по косточку в воде полчаса, а то и больше. Ни подводных камней, ни рифов, ни островов на пути корвета не встречалось.

На основании изложенного полагаю, что плавание по заливу безопасно. Беспокойство представляют лишь жестокие ветры, дующие с востока с завидным упорством и разводящие крутую, невысокую волну.

Вода в заливе имеет чрезвычайную соленость и плотность, почему удары волн гораздо сокрушительнее, чем в море. Но штормовой ветер, в отличие от моря, разводит волну в заливе как бы с большой натугой. Это приводит к весьма забавному зрелищу: один и тот же ветер успевает поднять в море шторм, а в заливе, за узкой песчаной косой, господствует еще затишье. После бури волны залива успокаиваются медленно, и берега в течение долгих часов сотрясает мертвая зыбь.

Наблюдение высоты небесных светил и определение широты и долготы в заливе ненадежно, ибо скрытые на его берегах, за узкими пересыпями, исполинские соляные озера производят мощное блистание и неправильное преломление световых лучей, называемое рефракцией. Около южной косы я наблюдал весьма значительную рефракцию. Берега предстали предо мной в виде

изломанных и острых гор, тогда как они были плоскими, подобно бумаге.

Дождей, по рассказам туркмен, в заливе не бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не успевая достигнуть земли.

При подходе к заливу оный рисуется в виде купола из красноватой мглы, пугающей с давних времен мореплавателей. Полагаю, что явление это объясняется сильным испарением воды Кара-Бугаза.

Надлежит помнить, что залив окружен раскаленной пустыней и является, если будет уместно это сравнение, большим котлом, где выкипает каспийская вода.

Грунт залива весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина.

Соль, полагаю, особенная, не того состава, что обыкновенная, употребляемая в пищу и для засола.

Непонятным для меня представляется быстрейшее течение из моря в залив, что с несомненностью указывает на различие уровней воды в заливе и в море.

На основании всего сказанного я позволю себе заключить, что побережья залива Кара-Бугазского, как и самый залив, лишены какого бы то ни

было интереса государственного.

Пребывание, даже кратковременное, в водах залива порождает чувство великого одиночества и тоску по местам цветущим и населенным. На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека, и, кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не сорвал ни одной травинки.

Токмо соль, пески и все убивающая жара властвуют над этими негостеприимными берегами и водами».

Киргизы перегоняли стада через Урал с зимних пастбищ на летние. Путь лежал через Гурьев, где находился единственный в низовьях Урала наплавной мост.

За прогон скота через мост взимали плату. Рыластые и спившиеся чиновники войскового управления, выгоревшие до рыжины, как и форменные нашивки на их пыльных мундирах, стояли по сторонам моста и пересчитывали скот. Мост трещал и гнулся. Чиновники лупили овец по головам длинными шестами и на минуту заставляли стада задерживать бег. Потом шесты поднимались, как шлагбаумы, и овцы вновь устремлялись на город рыжим потоком. Так, задерживая овец каждую минуту, чиновники на

глаз прикидывали число скота.

Киргизы, дабы сбить чиновников со счета, отжимали их к ветхим перилам моста крупами злых лошаденок.

Пыль неслась над Уралом подобно пожару. Рев и топот стад сотрясали саманные дома. Перегон скота гурьевские жители считали столь же неустранимым несчастьем, как наводнение или пожар. Сотни верблюдов, пугаясь моста, громоздили на подходах к нему тяжелые заторы и водоворотом вращались вокруг упрямых вожаков. Жадные старухи ползали под брюхами верблюдов, собирая трясущимися руками верблюжий помет. То были торговки кизяком.

Библейского вида старцы, повязав ситцем головы, возвышались на верблюдах в куче разноцветного тряпья и моргали кровавыми глазами, — тысячи верст кочевий выжгли их зрачки, а лица превратили в мешки из перегоревшей кожи.

Пустыня переливалась через город с бухарского берега на европейский, неся с собою глинистую пыль, рыжий цвет опаленной шерсти и жажду. Стада долго сосали грязную уральскую воду желтыми от полыни губами.

— Ветхозаветное зрелище! — усмехнулся лей-

тенант Жеребцов, выйдя из шлюпки на берег.

Он окончил опись берегов Каспийского моря и на обратном пути зашел в Гурьев, дабы повидать поселившегося там почтенного и сурового путешественника Карелина. До Карелина у Жеребцова было важное дело. Корвет стал на якорь около устья Урала, где ему преграждала путь песчаная отмель.

Шлюпку окружили угрюмые туземцы. Жеребцов поднял воротник морской тужурки, стараясь предохранить от пыли снежной белизны рубаху, и спросил ближайшего туземца:

— Знаешь Карелина?

— Никак нет, — ответил туземец.

— Григория Силыча Карелина, путешественника?

— Да как же! — обрадовался туземец. — Какой наскрозь прошел киргизскую сторону? Как не знать!

— Сведи к нему.

Жеребцов шел, осматриваясь по сторонам.

Дома из серого кирпича и глины лежали кособоко, как умирающие старухи. Пахло ржавой рыбой и куриным пометом, ветер порошил глаза всяческим сором, в каком было изрядное количество куриного пуха. Старухи сидели на порогах и

вычесывали ленивых молодух.

«Ну и выбрал старик местечко для обитания!» Жеребцов пожал плечами: пристрастие Карелина к здешним унылым пустошам казалось неестественным. Жеребцов вспомнил о Кара-Бугазе: «Какая дрянь здесь и какая торжественная, подлинно девственная пустыня лежит почти рядом!»

Туземец привел Жеребцова на окраину города, к Уралу. В поливных садах, где под деревьями не было травы, а одна утоптанная ногами глина, лязгали погнутыми ведрами чигири[1], выпрастывая в арыки желтую жижу. Сонные волы с завязанными глазами вращали их с терпением рабов.

Туземец остановился около дощатого серого дома, окруженного осокорями, и, попросив предварительно набить трубку, сказал:

— Тут!

Жеребцов постучал. Он шел к Карелину, зная, что человек этот строптив и чудаковат, и вместе с почтительностью перед исследователем, отважившимся пересечь смертоносные области Азии, испытывал некоторое стеснение.

---

[1] Примечания: 1

Чигирь — приспособление в виде большого колеса с черпаками для подъема воды из рек в оросительные каналы. — *Здесь и далее примеч. автора.*

Слуга-киргиз ввел его в кабинет, где прочно устоялся прелый запах табака и кожаных фолиантов. Жеребцов сел, разглядывая чучела степных зверей, и внезапно почувствовал все легкомыслие того дела, по какому он пришел к Карелину.

Карелин вышел с несвойственной его тучной фигуре поспешностью и протянул Жеребцову старческую пухлую руку. Серые его глаза быстро взглянули из-под дымчатых очков. Серая борода разлетелась веером по серой плотной куртке.

— Рад, — сказал он глухо, — благополучному возвращению вашему из трудного плавания.

Жеребцов поклонился.

— Слышал, что на корвете своем вы обошли побережья Кара-Бугаза. Весьма интересуюсь подробностями.

Рассказ свой Жеребцов окончил в сумерки, когда сквозь табачный угар, застилавший комнату, запылали за окнами несметные костры по берегам Урала: то кочевники отдыхали после пустыни, окружив город пыльными становьями.

— Насчет залива Кара-Бугазского, — отважился наконец вымолвить Жеребцов, — я имею предложить правительству дерзкий проект.

Карелин ничего не спросил, только скрипнул креслом и поправил очки.

— Поскольку, — продолжал Жеребцов, — Кара-Бугаз вредоносен, надлежит прекратить его существование как обособленного залива и превратить в озеро, перегородив узкий пролив дамбой. Сооружение сие обойдется казне недорого, благо киргизу платят за работу гроши.

— А какие, — протяжно спросил Карелин, — а какие, милейший мой лейтенант, имеете вы основания, чтобы полагать залив Кара-Бугазский столь вредоносным? Какие?

Последнее слово он выкрикнул, после чего сердито заерзал на кресле.

Жеребцов опешил. Не тот ли самый Карелин писал, что Кара-Бугаз является местом таким же бесплодным, как, к примеру, луна? К чему же этот сердитый вопрос и гневный блеск глаз за жестяными очками?

— Сейчас сообщу, — промолвил Жеребцов и загнул один палец. — Залив поглощает множество воды из моря, исчезающей в нем, как в прорве. Сие обстоятельство вам хорошо известно. Известно вам также, что уровень моря медленно падает, грозя прекратить в некоторых местах судоходство. Причиной этого бедствия служит залив Кара-Бугазский.

— Раз. — Карелин вслед за Жеребцовым загнул

большой пухлый палец.

— Два, — ответил Жеребцов и загнул второй палец, — рыбные богатства нашего моря из года в год скудеют. В Кара-Бугазе видел я несметное множество мертвой рыбы. Полагаю, что прекращение природного истребления рыбы и мальков в случае закупорки залива сулит значительные выгоды государству.

— Всё? — спросил нетерпеливо Карелин. — Много ли вы видели мертвой рыбы?

Жеребцов покраснел: он не привык, чтобы ему не верили.

— В иных местах люди мои насчитывали до полутораста рыб на каждые десять саженей берега. Мертвая рыба скопляется в таком изобилии, что чайки выклевывают у нее только глаза, пренебрегая мясом, и со всем тем нигде еще не видывал я чаек таких ленивых и объевшихся. Разрешите закончить: отделение залива создаст новое соляное озеро чрезвычайной величины. Вот и всё.

— Вы желали бы, как я полагаю, получить мою апробацию для этой достаточно странной мысли? — спросил Карелин свистящим шепотом и внезапно прокричал, как будто покатил тяжелый кегельный шар: — Че-пу-ха!

Он встал. За его широкой спиной дымились в

окнах багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища остановились у скрипучего кресла кряжистого и мудреного старца. Он высился за столом подобно грубой статуе, вытесанной степными кочевниками из серого крупнозернистого камня.

Жеребцов, надеясь смягчить непонятный гнев Карелина, пробормотал, смешавшись:

— Вместо дамбы можно удовольствоваться устройством частой проволочной сетки. Она препятствовала бы каспийской рыбе проникать в залив.

Но Карелин уже остыл. Он снял очки и насмешливо уставился на Жеребцова, как бы нечто прикидывая. Затем тихим голосом определил:

— Молоды и потому опрометчивы.

— Думаю, что и вам не так уж много лет.

— Пустыня! — крикнул опять Карелин. — Пустыня съела молодость! От нее и седина, и дряблость кожи, и прочие предвестия старости. Некий газетчик, побыв неделю в каракумских песках, писал о благодетельном действии пустыни на кожу и особливо на кости. Кожа якобы молодеет, а зубы приобретают крепость и блестящую белизну. — Карелин усмехнулся и оттянул книзу дряблую кожу на щеках: — Вот доказатель-

ство. Солнце в пустыне является бедствием. Весь род человеческий благословляет его лучи, здесь же их заслуженно проклинают: они отнимают у человека последние возможности к существованию. Но слова мои не имеют касательства к нашему спору. Я осведомлен, что вами отправлена в Гидрографическое управление докладная записка, где вы упоминаете о весьма замечательном грунте залива Кара-Бугазского. Если не изменяет мне память, — старик прищурился на окно, — вы изволили писать: «Грунт весьма примечателен: соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная, — тут Карелин приостановился и рассеянно поглядел на оторопевшего лейтенанта, — не того состава, что обыкновенная». Это-то верно?

— Совершенно точно.

— Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?

Жеребцов улыбнулся:

— Определение необыкновенности получилось на корвете забавное. Найденную при пробе грунта соль мы сложили на палубе, дабы подсушить, а корабельный кок, человек скудный умом, посолил ею борщ для команды. Через два часа весь экипаж заболел жесточайшей слабостью

желудка. Соль оказалась равной по действию касторовому маслу.

Карелин беззвучно затрясся. Казалось, вместе с ним смеялись и его кресло, и самый воздух кабинета, где заметно начала приплясывать слоеная гуща крепчайшего табачного дыма.

— Сударь мой, — сказал Карелин, отсмеявшись, — я ошибался, подобно вам. Я почитал Кара-Бугаз бесплодным и как бы созданным природой назло людям. Но с недавнего времени, изучая дневники свои и думая о смертоносных водах залива, я пришел в сомнение, ибо в натуре, нас окружающей, почти нет такого зла, коего нельзя было бы употребить на потребу и выгоду человека. Едкая кара-бугазская соль является солью необычайной, и, думается мне, не глауберова ли это соль, иначе называемая щелочной? Действие ее на вашу команду весьма примечательно. Буде же в заливе осаждается глауберова соль, то уничтожение залива — преступление. Соль сия обладает многими редчайшими свойствами. Одно из них, почти главнейшее, я хочу вам сообщить. — Карелин выдвинул ящик стола и достал желтоватую рукопись. Он погладил ее и обровнял края плотных листов. — Известно ли вам, что в России жил великий химик по имени

Кирилл Лаксман?

— К стыду своему, Григорий Силыч, такого имени я не слыхал.

— Не к вашему стыду, милостивый государь, а к стыду всей страны нашей, где одаренные люди в той же цене, что и гурьевские будочники! — с прежней сердитостью прокричал Карелин. — Жизнь сего замечательного человека являет собой пример постоянных мучений. Его послали на службу в глушь сибирскую, в Барнаул. Лаксман тяготился служебными обязанностями и предпочитал странствовать по Сибири, когда и сделал много открытий, касающихся растительности и подземных богатств края. Одновременно он занимался химией. За заслуги научные его избрали академиком, но он, не желая сидеть в Петербурге, предпочел остаться в Сибири, заняв место горного советника. За пустую оплошность его с должности сняли и назначили исправником в Нерчинск. Вот-с, милейший мой лейтенант, какую подходящую должность подготовило российское правительство талантливому ученому и члену Академии наук… Так вот, указанный Кирилл Лаксман открыл возможность изготовлять из глауберовой соли великолепное стекло. Рукописсия — его доклад об этом открытии. Глауберову

соль Лаксман именует горькой. Глядите, что он пишет. — Карелин медленно прочел: — «Между многими новыми свойствами сея горькой соли, именуемой монгольскими народами „гуджар“, наибольшего внимания достойна сила, ее в стекло претворяющая». При опытах своих Лаксман получил стекло белое и стекло черное, подобное китайскому лаку… Вот… — Карелин отодвинул рукопись. — Дальнейшие изъяснения излишни. Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование глауберовой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам. Но, пожалуй, лучше пойдем попить чайку, благо прислали мне из Уральска клюквенный сок.

Пропуская Жеребцова в столовую, Карелин сделал страшные глаза и прошептал:

— А вы уж и проект приготовили! В Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, а прямо брякнут — закрыть залив на веки вечные и удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы, а раз закрыть — так закрыть. Закрывать — это для них святое дело…

К шлюпке Жеребцов возвратился поздним вечером, а к корвету шлюпка подошла глухою ночью. В камышах, сухо шумевших по берегам Урала, крякали спросонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зарницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей.

Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до тонкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул: уж не залив ли Кара-Бугазский опять дымит в этой встревожившей его кромешной темноте? Но то была луна, подымавшаяся над равнинами Усть-Урта.

Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул: впервые за два года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени.

Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову:

— Вы бы спать шли, Игнатий Александрович. В это время спит даже рыба в море.

Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зарниц долетало глухое громыхание. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола пере-

писанный свой проект, изорвал его и выбросил через иллюминатор в море.

Мальчик с серебряным горлом

Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно.

К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом.

Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники (дело относится к 90-м годам прошлого столетия), был заражен страстью улавливать настроения. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей.

В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий

литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова — первого исследователя Кара-Бугазского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка».

«Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами (в них гнездятся галки), трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре.

Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара.

Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью.

Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами.

Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель.

В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели. Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастье Средней России не могло уничтожить его следов.

Старик стоял, опираясь на палку, и вполголоса насмешливо читал призыв Катыка курить только его гильзы.

— Жулик! — сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой. — Пройдоха, но башковитый субъект!

— Вы это о ком?

— О Катыке, милостивый государь, о фабриканте Катыке, — ответил старик доброжелательно: видимо, он был не прочь вступить в беседу.

Я спросил, почему Катык — пройдоха и жулик.

— История эта очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне — я живу поблизости, — выпьем чайку. Я вам кстати о Катыке расскажу.

Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами, и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на названия — то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу.

— Вот что, батенька мой, — сказал он, окуты-

ваясь дымом, — позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов. Я отставной моряк, гидрограф, составитель карт Каспийского моря. Мне, изволите ли видеть, стукнул уже восьмой десяток. Вы интересовались Катыком. Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Кара-Бугазский, — не знаю, слыхали ли вы о нем или нет, — я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мною было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось — глауберовой. Кара-Бугаз — место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила, а то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал.

По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив

дамбой, дабы отрезать его от моря.

Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забыл вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подыматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта.

Я поинтересовался, почему этот проект, правда необыкновенный, старик называет безумным.

— Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство — и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом.

Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я калужец, а пятнадцать

лет провел на Каспийском море. Там — ежели вы бывали, то должны знать — унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, ни деревца, ни чистой текучей воды.

Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах кара-бугазских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей, а я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорей воротиться к себе, в жиздринские леса. Не нужен мне был Кара-Бугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток Кара-Бугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве.

Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление перед родом человеческим, уехал к себе под Жиздру — и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых. В залив послали туркмен. Они привезли воду в бутылках. Сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая глауберова соль, без коей немыслимо ни стеклоделие, ни другие многие производства.

Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз да беговых лошадей — он решил добывать соль в заливе, благо зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил; соль не вывозит, а Кара-Бугаз получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что Катык этот ваш — изрядная шельма».

Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал «пузыри» и «клопы».

По праздникам к нему приезжал из Москвы сын его умершего школьного товарища (письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы) — мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птиц и удочки или занимались химическими опытами.

Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях, и, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника.

Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать сладкий их сон.

Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся.

Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи — владелец сапожного заведения из Марьиной рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко.

Через неделю могилу занесло мокрой рыжей хвоей. Начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни, и о Жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где подымаются к небу столбы пышного паровозного пара.

Все попытки разыскать могилу Жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.

Черный остров

Окропленные вашею кровью пустыни
Красным знаменем реют, над нами
шумя.

Маяковский

Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом.

Старый пароход «Николай», захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари и засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке синий от холода вахтенный, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе.

Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныния, разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике. В кают-компании спал

на красном плюшевом диване желтый и злой официант.

Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух.

«Пора нашей гитаре на кладбище», — подумал вахтенный и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую, что пароход «Николай» построен в 1877 году.

Вахтенный посмотрел кстати на желтую, видавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым.

— Что они, мусором топят, что ли? — сказал вахтенный и вздрогнул: в сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел.

Из кубрика вылез матрос в калошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался: глухие удары учащались.

— Похоже, бьют кадет красные, — сказал он вахтенному. — Красные, — зашептал он, и глаза его сузились, — наступают от Хасав-Юрта, ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо тикать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море — тихо, благородно, без кадет, без оружия…

Матрос махнул рукой на восток, где море кипе-

ло, как котел с мыльной и грязной пеной.

Вахтенный взглянул на корму — там хлопал мокрый трехцветный флаг — и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано! Удрать от деникинцев, от эвакуации!

— Капитан пропал, засыплемся мы из-за него, — тоскливо пробормотал он и вышел на палубу.

Он вгляделся в дождь, наискось бивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемет и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутсами. Сбоку вахтенный заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет.

Отряд деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал:

— Пошел на свое место, ворюга!

Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел.

Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что, если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха.

Солдаты с трехцветными нашивками на рука-

вах — «батальон смерти» — рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового.

Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал.

Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил.

— Ну, попали! Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу? Смеются: «Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко». — «Какой такой груз?» — «Большевиков из тюрьмы, вот кого. Слыхали?» — «Куда же их девать?» — «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите».

Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки: «Ветер норд-ост силой в 10 баллов. Волнение — 9 баллов. Воды в трюмах — 30 сантиметров».

— Воды в трюмах тридцать сантиметров! — Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнул-

ся. — Людей будем сажать в трюмы. — Лицо его налилось сизой кровью. — В воду, в трюмы! Доплавались под николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх, вы…

Он хотел еще что-то прибавить, но осекся: в дверях стоял офицер с выпуклыми глазами.

— Голубчик капитан, — он галантно переступил через высокий порог рубки, — распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных.

Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка.

Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казым-бея, командовавшего красными частями, не спас города. Казым-бей — черное его имя гремело тогда по Дагестану — был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казым-бея удесятерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску.

«Николай» сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей, — огней приказано

было не зажигать. Море, порт, город, горы — все превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол.

Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике.

— Больше ста человек, — сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи.

Отошли ночью.

«Николай» обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы.

Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила каспийская волна.

Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и

положил на нее маленькие руки.

Капитан вошел, красный от ветра, и угрюмо остановился у двери.

— Подойдите поближе. — Офицер сухо улыбнулся.

Улыбка эта испугала капитана: так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей.

— Слушаю. — Капитан подошел к карте.

Офицер вынул красный карандаш, не торопясь очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места.

— Держитесь вот этого курса, — сказал он.

Капитан взглянул на карту.

— Курс на Кара-Бугаз? — спросил он испуганно.

— Примерно так. Но только примерно. Держите немного севернее, вот к этому острову. Как он называется? Позвольте… — Офицер взглянул на карту. — К острову Кара-Ада.

— Нельзя, — глухо сказал капитан.

— То есть как это нельзя?

— Около острова нет якорных стоянок. При этом курсе шторм бьет в борт, а мы идем без груза.

Считаю такое направление опасным.

— Но ведь шторм как будто стихает, — вкрадчиво проговорил офицер.

— Вообще плавание у берегов Кара-Бугаза зимой невозможно. Там нет огней, множество рифов. Я не вправе подвергать риску ни людей, ни судно. Море в тех местах пустынное.

— Ах так! — нараспев сказал офицер. — Вот и отлично. Нам как раз и нужно пустынное море. Да, нужно! — неожиданно крикнул он визгливым фальцетом. — Потрудитесь выполнять распоряжения, иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде сообщить, что мы идем в Красноводск. Не шляться по палубе без дела. Всё. Ступайте!

Капитан вышел. В штурвальной рубке он заметил часового. Часовой стоял рядом с матросом и смотрел на картушку компаса, сверяя что-то по бумажке.

«Попали в капкан, не открутимся!» — подумал капитан. У себя в каюте он достал лоцию Каспийского моря, нашел описание острова Кара-Ада и прочел его.

В лоции было сказано, что этот совершенно пустынный и безводный остров, представляющий собою осколок скалы, лежит в одной миле от восточного берега моря, против мыса Бек-Таш, к

северу от Кара-Бугазского залива. Остров изобилует змеями. Место для высадки со шлюпок только одно. Подходы к острову опасны из-за множества рифов. Якорных стоянок нет. Грунт — голая каменная плита — совершенно не держит якорей.

— Крышка! — Капитан бросил лоцию на стол.

Море валило горами. Жалкие мачтовые огни освещали высокий нос, дергавшийся из стороны в сторону. Сам по себе звонил колокол — это значило, что размахи доходят до сорока градусов. Офицер с выпуклыми глазами испуганно полез на спардек и лег грудью на борт — его рвало. Он блевал в черную воду, стонал и ругался. Январская ночь летела с востока со свистом и гулом, предвещая неизбежную гибель.

В трюме было темно, и от борта к борту переливалась вода. Заключенные сидели и лежали на мокрых досках. Их швыряло из угла в угол. Они хватались за ребра ржавых шпангоутов, разбивали в кровь лица, глохли от пушечных ударов волн и стонали от жестоких приступов морской болезни. Немногие из них сознавали, что это гибель, что дрянной пароход идет порожняком, что его кренит на сорок градусов, что он может каждую минуту лечь на борт и не встать, но все прекрасно знали, что впереди, на той неизвест-

ной суше, куда их высадят, их ждет смерть.

Прекрасно знал это и геолог Шацкий, попавший в число заключенных случайно. Он не был большевиком. Он пытался пробраться из Петровска в Астрахань. Его заподозрили в шпионаже, арестовали и три раза водили в Петровске на расстрел, но не расстреляли. Водили ночью. Забирали из камер по пятидесяти заключенных и выводили на свалку, где жили разжиревшие от мертвечины псы.

Смертников выстраивали и пересчитывали. Первый раз расстреливали каждого десятого; Шацкий в эту ночь оказался восьмым. Второй раз расстреливали каждого пятого, но Шацкий оказался четвертым. В третий раз расстреливали каждого четвертого, но Шацкому опять повезло — он был первым. После третьего раза он поседел. Его и других уцелевших белые заставляли стаскивать трупы расстрелянных в старые известковые ямы.

Командовал расстрелами офицер с выпуклыми серыми глазами. Каждый раз он напивался для храбрости, ругал заключенных «падалью» и заставлял их, построившись в шеренгу, по нескольку раз менять места перед расчетом. На языке конвоиров — болезненного вида юношей

с пьяными, мутными глазами — это называлось «венской кадрилью».

В Петровск Шацкий попал с полуострова Мангышлак. После разведки каменного угля и фосфоритов в горах Кара-Тау он хотел пройти к Кара-Бугазу, но киргизы-проводники наотрез отказались вести его. Был разгар лета, и по пути к Кара-Бугазу, в песках Карын-Ярык, не стало ни капли воды. Пришлось вернуться через дикое плоскогорье Удюк обратно в форт Александровский. В форте Шацкий прожил три месяца. Ему даже понравилось уныние этого серого городка, где не было тогда никакой власти. В форте он написал отчет об экспедиции и интересную работу о запасах воды на сухом, как проклятие, Мангышлаке.

Во время экспедиции он заметил, что жалкие ручьи в горах Кара-Тау текут всегда из-под каменных россыпей. Шацкий принадлежал к людям, привыкшим давать объяснения всему. Он жил в мире точных законов и достоверных гипотез.

Несколько дней он думал над происхождением этих ручьев, потом нанял двух мальчишек, и они натаскали ему в пустой цементный бассейн на дворе кучу голышей с морского берега. Хозяин-рыбак решил, что Шацкий свихнулся от тоски по

России и от «науки».

Шацкий с мальчишками завалил весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть камней. Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой воды.

Вопрос был решен: на Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние дни отличаются жестокой жарой, а летние ночи холодны, как мартовские ночи в Москве. Каменные россыпи являются природными конденсаторами паров из воздуха, быстро остывающих ночью. Эти россыпи вбирают влагу, пропускают ее вниз и хранят под своими слоями.

Больше всех был в восторге от открытия Шацкого его хозяин. Он мечтал выстроить большой бассейн, засыпать его галькой и каждое утро собирать десять ведер вкусной пресной воды вместо тухлой воды из колодца.

Смотреть на бассейн приходил бывший неограниченный владетель Мангышлака — купец Захарий Дубский. Шацкий с неприязнью отвечал на назойливые расспросы позеленевшего старикашки в вытертом люстриновом пиджаке.

До революции Дубский был миллионером. Он взял на откуп у царского правительства весь Мангышлак. Ему одному были разрешены торговля и

рыбная ловля без соблюдения законов «об охране рыбных богатств». Богомольный и ласковый старик платил киргизам-рабочим за всю путину по два рубля, торговал водкой и посылал гостинцы своему «благодетелю», великому князю Николаю Михайловичу, жившему в Ташкенте. Этот седобородый князь славился на весь Закаспийский край тем, что нагишом гулял в сильную жару по своему саду и дому. В таком виде он принимал просителей и выслушивал доклады.

Дубский подивился на бассейн Шацкого, засунул руку на дно, поскреб там желтым ногтем, недоверчиво пососал мокрый палец и пригласил Шацкого к себе на дачу. Дача стояла на берегу моря, около маяка Тюб-Караган, и была знаменита несколькими чахлыми деревцами. Шацкий невзлюбил этот нелепый дом, где старовер-купец изнывал от чаепитий, поглядывая на дымную мглу, курившуюся над пустыней.

Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла его у городских застав. Ее тощая глина и серая полынь нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая гордость: угрюмость пустыни была величава, беспощадна, и немногим, думал Шацкий, посчастливилось пережить захватывающие ощущения бесплодных и неисследованных

пространств.

Кроме Дубского, в форте Александровском жил на покое отставной генерал-дурак, изобретавший ловушки для сусликов. Некогда он командовал местным захолустным гарнизоном. Рыбаки рассказывали, как этот генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад на разъяренном гнедом жеребце. Он подскакал к киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, громовым голосом гаркнул:

— Здорово, саксаулы!

Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней помирал от хохота.

Самыми интересными обитателями форта были рыбаки-зверобои, специалисты по добыче тюленей. Тюлений бой считался опасным и жестоким делом. Зимой зверобои большими обозами выезжали по льду в море. Всю осень перед этим откармливали и ярили лошадей. Лошадь на тюленьем бое решала все: если лед трескался с пушечным гулом и начинал медленно уползать в море, зверобои бешено гнали лошадей к берегу, и дикие эти лошади перескакивали с санями через трещины.

Били только детенышей тюленей — белков, еще не умевших плавать. Били палками на льду

и привозили в форт золотистые дорогие шкурки.

Каждую зиму гибло несколько зверобойных артелей — кошей. Их относило на льдинах в море, в сторону Персии. Спасали редко: в форте не было телеграфа, чтобы дать знать в Россию о несчастье.

Шацкий узнал, что в форте Александровском томился в ссылке Тарас Шевченко, забритый в солдаты и отправленный в каторжный мангышлакский гарнизон за «распространение вредных идей».

Только в ноябре Шацкому удалось на рыбачьей шхуне — реюшке — перебраться из форта в Петровск.

Сейчас Шацкий лежал в трюме рядом с матросом-большевиком — эстонцем Миллером. С ним он просидел три месяца в тюрьме. Их вместе два раза водили на расстрел, и если Шацкий не сошел с ума, то только благодаря Миллеру.

Молчаливый этот юноша в морской каскетке скупо рассказывал о родной Эстонии, о дюнах и старинном Ревеле. Шацкий никак не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле пасмурная зима, пахнущая зеленоватым балтийским льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо тысячи Миллеров ушли из дому

и дрались в красных частях под Самарой и Шенкурском, сидели в вонючих тюрьмах, голодали, жили в дырявых, обледенелых теплушках.

Миллер попал в плен во время разведки. Деникинцы неизбежно должны были, как он говорил, «укоцать» его, но он думал о чем-то далеком от смерти — должно быть, о бегстве.

Когда в ночи расстрелов Шацкого била дрожь, Миллер похлопывал его по спине и напоминал:

— Бросьте! Раз родились — все равно помрем.

Шацкого поражала выдержка Миллера, штурвального Балтийского флота, ставшего большевиком в жаркие дни июля семнадцатого года. Миллер был моложе Шацкого на десять лет, не знал и сотой доли того, что было известно Шацкому, но геолог чувствовал себя перед ним мальчишкой.

Миллер был непримирим и хорошо усвоил то, о чем геолог не имел понятия, — законы борьбы и победы. Он смотрел на людей спокойно и понимающе, всегда насвистывал, а на допросах отвечал очень вежливо, но неясно, улыбался и со скукой, как на давно знакомый трюк, смотрел на бесившихся бледных офицеров.

Он прославился тем, что довел до истерики начальника контрразведки и после этого спокойно

налил и подал ему стакан воды. Начальник смахнул стакан со стола, ударил стеком по бумагам и пообещал Миллеру повесить его в тот же вечер, но не повесил.

Контрразведка считала Миллера «опасным субъектом» и комиссаром и надеялась вымотать из него важные сведения. Его ни разу не били шомполами. Конвоиры поглядывали на Миллера с некоторым почтением: «Твердый, гад, видать, боевой».

Сейчас в трюме одессит Школьник — бывший шорник и партизан — пробрался к Миллеру, единственному моряку среди заключенных, попросил закурить и сказал:

— Ты моряк, ты знаешь устройство парохода.

— Ага, — ответил Миллер.

— Я решил такь. — (Школьник произнес это слово очень мягко.) — Надо потопить пароход вместе с той сволочью. — Школьник ткнул горящей папиросой вверх. — Открой кран, как он у вас зовется — кингстон или как иначе. Все одно нас убьют. Если пропадать, так кончим и их вместе. Такь.

— Кингстон не здесь, — равнодушно ответил Миллер. — К чему глупости? Их пластинка кончается, а из нас если десяток останется в живых, и то

неплохо. Не устраивай массового самоубийства, Школьник, не делай паники.

— Такь! Такь! — с горечью пробормотал Школьник и отполз от Миллера.

Капитан всю ночь просидел у себя, не снимая пальто. Рассвет пришел поздно, только к восьми часам. В промерзлых каютах качался серый туман. За потными иллюминаторами все так же ревело море. На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря.

Капитан вышел на палубу. В кают-компании лежали на полу зеленые солдаты. Громадное и неуютное морское утро сочилось на их изжеванные шинели с трехцветными нашивками, на сваленные винтовки, на опухшие лица. Пахло блевотиной и спиртом. В грязном зеркале отражался вазон с высохшей фуксией.

Официант неизвестно зачем перетирал пожелтевшие чашки и накрывал столы хрустящими крахмальными скатертями. Застарелая привычка брала свое.

Он взглянул исподлобья на капитана и вздохнул. Да, кончились прекрасные плавания из Астрахани в Баку, когда даже он, официант, страдавший профессиональной мизантропией, шутил с пассажирами и трепал по головкам

детей.

— Дожили, Константин Петрович! — Официант открыл дверцу пустого шкафа. — Может, водочки выпьете? Небось вся душа отсырела. Семкин вчерась в кубрике верно выразился: «плавучая виселица» мы, а не пароход «Николай».

Официант отвернулся и вытер грязной салфеткой глаза. Тощая его шея густо покраснела.

Капитан крякнул и пошел на мостик. Там стоял с биноклем на ремешке вчерашний старый офицер на тонких ножках. Он смотрел на восток и морщился.

Офицер подошел к капитану, ласково заглянул в глаза и спросил, почесывая бородку:

— Когда же будет наконец Кара-Ада, капитан?

— Когда придем, тогда и будет.

— Так, так, так, понимаю. — Офицер вынул золотой портсигар и закурил, не предложив капитану. — Так, так, так. — Он положил капитану руку на плечо. Рука показалась чугунной. — Когда будем в пяти милях от острова, сообщите мне. Кстати, артачиться нет ни малейшего смысла. — Он стиснул капитанское плечо. — Рейс секретный. Предупредите людей, что за болтовню они ответят головой.

Капитан кивнул и осторожно высвободил пле-

чо. Офицер, покачиваясь на паучьих ножках, забалансировал к трапу.

Через два часа вахтенный матрос доложил, что открылся берег. Шторм стихал. Ледяная вода медленно лизала борта «Николая». В ясности зимнего дня наплывали черные низкие обрывы, грубо вытесанные на синем блестящем небе. «Николай» шел тихим ходом к одинокому острову, окруженному пеной бурунов.

К этому времени в трюме умерло десять сыпнотифозных. Трупы их плескались в воде. Грузин Гогоберидзе дико кричал и лил себе в уши пригоршнями ледяную воду. У него начиналась заушница. Он бредил. Ему казалось, что контрразведчики прижигают голову раскаленным железом, и он звал товарищей.

— Сандро, спасай! Сандро, не давай умирать!

В полдень трюм открыли.

Гнилой воздух вырвался оттуда вместе с исступленным криком грузина:

— Сандро, бей негодяев!

Шацкий поднял голову. Высоко по обочинам железного колодца качались зеленые шинели, и над ними, еще выше, мчалось обрывками туч холодное небо. Хотелось пить. Свет затопил трюм. Заключенные моргали, стряхивая с ресниц

мутные слезы.

Тогда впервые Шацкий увидел ржавое брюхо трюма и рыжую воду под ногами. Синие, заостренные лица мертвецов плавали в ней, тихо покачиваясь. Три аварца лежали грудой, туго укутав головы мокрыми бурками. Один из них был жив. Он поднял голову, проговорил что-то длинное и жалобное на незнакомом языке и свалился в воду.

Миллер подошел к железному трапу и медленно полез вверх. Оттуда кричали, но Шацкий ничего не слышал — он упорно лез вслед за Миллером, стараясь не сорваться.

Из трюма вышло восемьдесят человек. Всех, кто не мог подняться сам, оставили в трюме и снова закрыли его широкими тяжелыми досками.

Заключенных согнали на корму — толпу желтых от качки, голода и жажды людей. Свежий воздух рвал обескровленные легкие.

Пароход покачивался у горбатого острова, черным камнем торчавшего из воды.

Седой офицер поднялся на мостик. Он оглядел толпу заключенных и усмехнулся.

— Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием! — Он показал театральным жестом в сторону острова. — Вот ваше убежище. Здесь

вы можете провозгласить советскую власть… Поручик, разбить всех на двадцатки!

Долго спускали шлюпки. Шацкий равнодушно ждал. Матрос тайком сунул ему в руку пачку махорки. Шацкий тупо посмотрел на махорку и отдал ее Миллеру. Он не курил.

Высадка заключенных на остров Кара-Ада продолжалась несколько часов. Шлюпки не могли подойти к берегу из-за сильного прибоя. Заключенных заставляли прыгать по пояс в воду и добираться до берега пешком. Школьник не устоял на ногах. Его сшибло волной и унесло в море.

На берегу Шацкий лег на камни и смотрел на пароход. Грязный и угрюмый, выкрашенный в черный и желтый цвета, он мотался на волнах, распуская хвост зловонного дыма.

Шацкий не понимал, что случилось. Он как-то не заметил, что их высадили без всего: не дали ни воды, ни пищи, ни даже черствого хлеба. Один Миллер знал, что это значит. Между островом и берегом бушевал широкий пролив.

Шацкий видел, как последняя шлюпка вернулась к пароходу и матросы долго, мешая друг другу, подтягивали ее на талях. Потом из трюма вытащили трупы и бросили в воду; за кормой всплеснула вода. «Николай» дал гудок и, застилая

остров дымом, пошел на юг, в сторону Баку.

— Что делать, Миллер? — пробормотал Шацкий и сел на камнях.

Миллер потряс его за плечо:

— Встать и собрать все топливо, какое найдется в этом проклятом месте. Имейте мужество. Здесь нет ни капли пресной воды. Без воды мы, здоровые, проживем только три дня. На берегу, за проливом, может быть, кочуют туркмены. Надо дать дымовой сигнал.

Весь вечер Шацкий сосал холодные мелкие голыши, чтобы обмануть жажду. Спотыкаясь, он бродил по острову, разыскивая сухие ветки и обломки досок, выброшенные на берег. Море было пустынно. Шацкий знал, что в это время года здесь не встретишь ни одного судна, ни одной туркменской лодки. Кто пойдет к этим мертвым и черным берегам, где нет ничего, кроме песков и горькой соли!

К ночи развели два костра и положили около них тифозных. К утру в живых осталось шестьдесят человек.

Трое студентов из Темир-Хан-Шуры решили плыть к берегу. Миллер их не удерживал. Он завалил костры сухой полынью и всяким сором, чтобы вызвать густой и белый дым. Студенты

разделись. Двое поплыли, а третий лег на берег лицом к земле и заплакал; он не мог даже войти в воду, его шатало и мутило. Пловцы утонули вблизи берега. В проливе снова свирепствовал шторм. Течение несло на камни потоки черной воды. К вечеру заключенные подползли к кострам и лежали неподвижно. Миллер жевал конец своего матросского ремня и смотрел на берег, надеясь увидеть огни ответных костров. Но их не было. Тяжелая ночь неслась из пустыни туманом и сажей. Она сгоняла к острову всю стужу голодных сыпучих песков.

— Миллер, — прошептал среди ночи Шацкий, — Миллер, я вспомнил: киргизы зимой гонят скот к Кара-Бугазу, там в оврагах лежит снег.

— Если бы пошел снег, было бы нам счастье, — пробормотал Миллер.

За ночь умерло еще пятнадцать человек. Шацкий к утру лежал почти без сознания. С востока наносило не то низкие черные тучи, не то холодный дым исполинского пожара. Шацкий открывал красные глаза и тупо смотрел на тучи, ожидая, что вот-вот из них упадет хотя бы капля дождя.

Тучи неслись, толкаясь и опускаясь все ниже. Море стихло. Ветер менялся, и море готовилось

обрушиться на остров с севера, откуда, может быть, уже шел спасительный снежный буран.

Шацкий вспомнил, что в трюме их сидело больше ста человек. Где же остальные? Неужели всех расстреляли?

Язык распух. Шацкий с трудом поворачивал голову, и каждое слово причиняло острую боль воспаленному нёбу. Тучи опускались все ниже и ниже. До них уже явственно долетали стоны людей, умиравших на обломке черной скалы. Вместе с тучами спускался на остров сырой и жестокий вечер.

Миллер на коленях подполз к костру и ногами подтолкнул в огонь последние гнилые доски. Сладковатый трупный смрад несло на костер из-за ближайших камней. Миллер упал на живот и затих.

Последняя ночь пришла в густом гудении норда. В полночь Шацкий ощутил на лице прикосновение чего-то мокрого и холодного. С неба падал редкий колючий снег. Шацкий хотел крикнуть, разбудить Миллера, но не мог. Он только открыл рот и ловил редкие снежинки, залетавшие с ветром и морскими брызгами на лопнувшие черные губы.

Но все же надо было разбудить Миллера, если

он не умер. Шацкий уперся руками в острые камни и сел. Ноги горели: должно быть, он обморозил их ночью. Ветер качал его, как тряпичное чучело на огороде, бил в спину и холодил воспаленную кожу.

Шацкий заставил себя открыть глаза, хотя ему было совершенно ясно, что открыть их — значит умереть, что он больше не вынесет зрелища этой дикой, завывающей ночи. Он осторожно разлепил склеившиеся веки и посмотрел вперед, как лунатик: за снежной пургой в кромешной темноте пылало три огня. Был ли это бред, или действительно на берегу пылали огни?

Шацкий нащупал рядом с собой куртку Миллера и изо всей силы дернул ее за ворот. Миллер застонал.

— Миллер! — прошептал Шацкий, хотя ему казалось, что он кричит. — Миллер, голубчик, встаньте. На берегу огни! Много огней!

Миллер зашевелился и с трудом перевернулся на спину. Цепляясь за руки и плечи Шацкого, он медленно сел, обдав его горячим дыханием.

— Братишки… — сказал он тихо, и голос его сорвался. — Братишки, скорее! Смерть наша кругом, братишки!

Он встал, шатаясь.

— Чего? — крикнул он Шацкому. — Лежи, не двигайся! Дотяни до утра! Должно быть, заметили.

Заключенные не шевелились. Один только красногвардеец поднял голову и тотчас ее уронил.

Утро застало в живых только двадцать два человека. А к полудню с юга, из-за мыса Бек-Таш, исполинским серым крылом вынесло ныряющий парус. Он взлетал и тонул в черных волнах, борясь с жестоким нордом.

Парус видел один только Миллер. Шацкий лежал в бреду. Ему казалось, что камень обнял его тяжелыми руками и хочет вдавить в землю.

Миллер бросил в догоравший костер валявшуюся рядом шинель. От костра повалил удушливый желтый дым.

Последнее, что видел Миллер, — скуластое лицо в малахае; потом ему ожгло рот приятной жидкостью, потом чей-то свистящий голос сказал по-русски: «Бери вот этих пятнадцать, остальные все мертвые». Больше Миллер ничего не помнил.

Никому не удалось узнать имени киргиза, который заметил с берега дым костров на Кара-Ада. Может быть, этот киргиз еще жив. Может быть,

он гоняет отары «Овцевода» в Адаевских степях, около Гурьева, или работает на соляных промыслах в Кара-Бугазе, — никто этого не знает, имя его поглотила пустыня. У кочевников не было паспортов; они уходили в степь, и найти их было невозможно.

Никто не знает имен тех киргизов, которые разожгли на берегу у Бек-Таша ответные костры. Они жгли костры и говорили о несчастье, о том, что на проклятом острове, где нет ничего, кроме змей, оказались люди. Человек, попавший на Кара-Ада, может только бедствовать.

Надо было подать лодку, но лодок у киргизов не было. Лодки были далеко, в Кара-Бугазском заливе, где русские выстроили дощатый дом и поселили в нем человека с густой черной бородой и разрезанным горлом.

По всем кочевьям гулял слух, что у этого человека в горло вставлена серебряная трубка. Старики удивлялись, как это басмачи до сих пор не польстились на драгоценную трубку и не убили странного русского. Рассказывали, что русский записывает в толстую книгу движение ветров, облаков, цвет воды и другие приметы. Занятия русского попахивали чертовщиной. По всему было видно, что это настоящий, хотя и доб-

рый, колдун. Он лечил кочевников от трахомы и нарывов и всегда перевозил их через пролив на своей лодке.

Человека с серебряным горлом звали Николаем Ремизовым. Он был первым метеорологом, согласившимся зазимовать на временной метеорологической станции в Кара-Бугазе вместе со стариком-сторожем Арьянцем.

По мнению товарищей, Ремизов остался в Кара-Бугазе на верную смерть. Но прошло уже полгода, а его никто не тронул. Вести из России не приходили совсем. Ремизов только догадывался, что там бушует море гражданской войны.

Он жил с Арьянцем подобно Робинзону. Они били диких гусей, ловили в проливе рыбу. Им оставили на год муки, сахару, керосину и чаю. Весь ноябрь они заготовляли саксаул, и в тесном их доме было тепло и пахло хлебом, который выпекал Арьянц.

«Местность вокруг на сотни километров необитаема», — записал в своем дневнике Ремизов в первый же день переселения с туркменских объемистых лодок в дощатый дом.

Ремизов не считал метеорологию точной наукой, называл ее искусством и занимался не столько метеорологическими наблюдениями,

сколько изучением Кара-Бугазского залива и пустыни.

Он утверждал, что изречение «все течет, все изменяется» родилось впервые в мозгу жителя пустыни.

«В пустыне нет ничего постоянного, — записал он в своем дневнике. — Здесь все находится в непрерывном движении, хотя на первый взгляд вы и погружаетесь в царство неподвижности.

Движутся пески, стираются старые дороги, появляются и исчезают кибитки, каждый час меняются ветры, кочуют люди. Песчаные пустыни — единственные движущиеся пространства суши. Это материки, взлетающие во время ураганов на воздух и создающие необыкновенные цветовые эффекты, носящие имя закатов».

В описываемый январский вечер Ремизов сидел над дневником и торопливо записывал свои выводы о характере оседания глауберовой соли в Кара-Бугазском заливе. Выводы эти в ту минуту казались ему гениальными. Сейчас они стали азбучной истиной.

Он точно выяснил, что глауберова соль — мирабилит — осаждается кристаллами на дне залива и плавает во взвешенном состоянии в его водах только зимой, когда температура воды падает

до пяти градусов тепла. Кара-Бугаз, этот завод мирабилита, работает только зимой — примерно с ноября до марта. Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега громадными горами, сотнями тысяч тонн.

В марте, как только вода потеплеет, мирабилит растворяется в ней без остатка. Летом в водах залива твердого мирабилита нет.

Летняя жара действует на залив как топка. Она доводит воду до такой густоты, что при пяти градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация мирабилита. И лето и зима в заливе одинаково благоприятны для непрерывного, но периодического роста запасов мирабилита. Это явление казалось Ремизову похожим на круговорот растительной жизни в природе. Каждую весну цветут деревья и каждую осень дают новые плоды. Залив каждую зиму давал новые и новые миллионы тонн мирабилита, давал в течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, сколько бы миллионов тонн мирабилита ни вычерпывали, ни вывозили и ни перерабатывали.

— Вот где богатство! — сказал Ремизов, перечитывая свежую запись.

Говорил он странным голосом, с металлическим звоном. Если в трубку попадала слюна, голос

свистел и из фальцета переходил в густой бас.

Ремизов отложил дневник и начал фантазировать. Он уверял Арьянца, что через несколько лет на бесплодных берегах Кара-Бугаза поставят бронзовый памятник Жеребцову — первому исследователю залива и крестному отцу Ремизова. Жеребцов будет стоять в мятой морской фуражке. У ног его развернется медная карта залива. На памятнике вычеканят надпись: «Отважному исследователю Кара-Бугаза — Советская Россия».

Арьянц сидел на корточках перед очагом и кипятил чай из солоноватой воды. Приближался девятый час вечера. Снаружи, за проливом, глухо ударил выстрел, потом второй, третий.

Ремизов встал.

— Один не ходи, пойдем вместе, — сказал Арьянц.

Они вышли в ветреную ночь. За узким проливом кто-то гортанно кричал, потом снова выстрелил в воздух.

Ремизов отвязал лодку, выстрелил в ответ и налег на весла. Арьянц понуро сидел на корме. Выстрелы с северного берега означали просьбу подать лодку. Таких случаев было уже несколько, но ни разу еще киргизы не подходили к заливу ночью, и это тревожило Арьянца.

На берегу вертелись на злых лошаденках два молодых киргиза. Они молча подали Ремизову и Арьянцу плоские широкие ладони и заговорили оба сразу. Ремизов понял только одно: на острове Кара-Ада погибают люди. Вот уже второй день они жгут костры и просят помощи. Нужно гнать парусную туркменскую лодку. Какие люди и как они туда попали, никто не знает. Ремизов похолодел. Такой холод, предвещавший безрассудные поступки и похожий на припадок восторга, он переживал только в детстве, когда плакал по ночам над книгами.

Ремизов взял одного из киргизов и вернулся обратно. У метеорологической станции стояла на приколе парусная лодка. Около часа они яростно работали, прикрепляя парус, взяли с собой два бочонка с водой, бутылку водки, немного жареной рыбы и пошли в море.

Арьянц стоял на берегу. Ремизов крикнул ему напоследок:

— В случае чего держи направление на Красноводск!

Арьянц махнул рукой: какой смысл разговаривать с сумасшедшим!

Вышли из залива поздней ночью. Начало качать. Ремизов вспомнил, что на сотни миль

вокруг нет ни одного судна, ни одной живой человеческой души, только свинцовое и смертельно холодное море, ночь и их двое на скрипучей туркменской лодке. Невольная дрожь прошла по спине.

Теплый дощатый дом, окруженный сухим бурьяном, длинные дни, гром редких выстрелов по диким уткам, пять ящиков с книгами (из них был прочитан только один) — все это осталось позади, скрытое черной водой.

Киргиз говорил, чтобы держать подальше в море: у берегов есть подводные камни, целые горы камней, и лодку разобьет о них, как стекло о железо.

Так в шторме они шли всю ночь. Только один раз Ремизову удалось покурить.

На рассвете они заметили черный зубец Кара-Ада. Ремизов спросил киргиза, есть ли около Бек-Таша удобное место для высадки. Киргиз с сомнением покачал головой. Дело осложнялось. Ремизов закусил губу и повел взлетавшую лодку к острову, где костер вдруг задымил ядовитым желтым дымом.

— Живы! — засмеялся киргиз и потряс головой. — Ай, живы те люди!

Его мокрое от брызг лицо блестело жиром.

На острове Ремизов застал множество трупов и пятнадцать живых людей, лежавших без памяти. Ремизов влил живым в рот немного воды с водкой и вместе с киргизом перетащил их в лодку. Пришел в себя только Миллер. Остальные стонали и бредили.

— Кто вы? — спросил Ремизов Миллера, когда лодка, черпая воду, пошла по ветру к Бек-Ташу, где стояла киргизская зимовка. — Что это за женщина с вами? Как вы попали на остров?

— Пять дней не пили, — ответил Миллер и лег на дно лодки. — Пять дней. Тифозные все поумирали. Что сделали, гады, — хуже расстрела!

— Кто же вы? — снова спросил Ремизов.

— Заключенные из Петровска. Есть партийцы, есть красногвардейцы, есть случайные. Деникинцы бежали из Петровска, нас погрузили на пароход, в трюм, выкинули на остров без воды, без пищи.

Ремизов ничего не ответил. Вот оно подошло и к пустыне, то, чего он втайне боялся, — гражданская война, сыпняк, все, что мешало ему доводить до конца свои открытия, от чего он спрятался здесь, в заливе, где раз в год проходило два десятка кибиток и не было ни одного русского.

— Женщина неизвестная, — сказал Миллер, —

случайная женщина. И вот этот ученый — тоже случайный. Три раза белогвардейцы его ставили к стенке.

— Какой ученый? — спросил Ремизов и повернул руль, огибая прибрежные скалы.

Ответить Миллер не успел: лодка вошла в буруны.

Киргизы подхватили ее и дружно вытащили на берег.

Молча переносили в кибитки бредящих людей. К ночи умерло пять человек. Утром умер шестой — старик-крестьянин, бредивший станицей на «ридной Кубани».

Из всех заключенных выжило только девять человек.

Шестеро пошли с киргизами к Красноводску, надеясь добраться до железной дороги, а троих — Миллера, Шацкого и женщину — Ремизов взял к себе.

Шацкий все время хитро улыбался. Женщина — армянка, учительница из Ростова — беспрерывно плакала.

Ремизов до тех пор не представлял себе, что можно плакать несколько дней подряд. Он сдал армянку на попечение Арьянцу. Старик часами бормотал немудрые утешения и, слушая рассказы

учительницы, сурово качал головой:

— Собаки, бешеные собаки! Травить надо таких людей!

Один Миллер был спокоен. Но и он не спал по ночам и много курил.

На третью ночь Шацкий разбудил Ремизова и сказал ему, волнуясь:

— Все, что я сейчас расскажу, держите в величайшем секрете. Я сделал гениальное открытие, но его нельзя огласить, иначе все человечество будет уничтожено величайшей мировой катастрофой. Я геолог. Я пришел к выводу, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. Понимаете?

Ремизов сел на койке:

— В чем дело?

— Слушайте внимательно. Мы нашли способы развязывать материальную энергию — нефть, уголь, сланцы, руду. Все это очень просто. Но у нас не было способа развязать психическую энергию, сжатую в этих пластах. Этот способ открыт американцами. Они ненавидят нас, они хотят стереть с лица земли советское государство. Они готовятся

выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Больше всего ее в известняках и фосфоритах. Фосфориты — это спрессованная злая воля, это сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против известняков мы выпустим молодую мощную энергию аллювиальных напластований. Необходимо немедленно ехать в Москву и предупредить Совнарком. Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как Кара-Бугаз.

Ремизов зажег лампу и внимательно поглядел на Шацкого. Перед ним сидел старик. Лицо Шацкого стало похоже на львиную маску.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два, — ответил Шацкий.

Ремизов посмотрел на зрачки Шацкого, они были неподвижны, как у филина, пойманного днем.

«Еще один кончен», — подумал Ремизов. Восточный ветер гудел над жалкой хибаркой, охранявшей сон бредивших людей.

Ремизов сел к столу, открыл тетрадь и записал:

«Третьего февраля 1920 года. Сегодня вечером

говорил с Миллером. Он предлагает пробираться в Астрахань, где советская власть обосновалась прочно. Я колебался недолго. Здесь оставлю Арьянца с Шацким и учительницей. Геолог сошел с ума. Нет права и человеческих сил заниматься изучением залива и метеорологией после того, что случилось. Пришли сроки, когда все „непреложные истины“ об аполитичности науки летят в пропасть. Сырая весна шумит над Россией, и эту весну мне нельзя прозевать».

Остальные заключенные из Петровской тюрьмы — около трехсот человек — были высажены деникинцами на восточный берег моря, вблизи Кара-Бугаза. Эта партия заключенных пошла через пустыню в Красноводск. До Красноводска было четыреста километров. Незадолго перед этим белые были выбиты из Красноводска красными частями, наступавшими со стороны Ашхабада. Город был взят после жестокого боя в Гипсовом ущелье.

Заключенные шли в не затихавшем ни на один день песчаном урагане. Дул норд. Каждый час в конце страшного шествия, растянувшегося на несколько километров, падали выбившиеся из сил. Они кричали и звали передних, но остановиться надолго было равносильно смерти.

Первыми погибли женщины с детьми и матрос-инвалид, ковылявший по пескам на костылях. Передние уходили далеко, задние теряли их след, шли наугад в песчаную муть пустыни, шли до вечера, падали и лежали, зная, что помощи не будет ниоткуда.

По редким туркменским зимовьям прошел слух, что из пустыни к Красноводску движется «шествие проклятых Аллахом». Туркмены складывали кибитки и бежали вглубь степей.

Заключенные питались сырыми ящерицами и черепахами. Изредка они находили колодцы с тухлой водой. Вел их туркмен, хорошо знавший пустыню, и только это спасло небольшую часть людей из «шествия мертвых».

Среди заключенных был учитель, грузин Халадзе, участник революционных восстаний в Персии. Был знаменитый штурман Бархударов, доставлявший из Астрахани оружие повстанцам под самым носом деникинских дозорных судов. Деникинцы так и не поймали бархударовский груз. Дозорное судно погналось за пароходом Бархударова, но Бархударов потопил пароход. В Петровской тюрьме ему дали сто шомполов и назначили к расстрелу, но вместо расстрела выбросили с остальными заключенными на

мертвые берега Кара-Бугаза. Был офицер англо-индусских войск Муртузалли, перешедший на сторону красных и дравшийся против деникинцев в партизанских отрядах в горах Дагестана. Был ученый, старик Мухин, автор проекта «О социализации недр земли».

В восьмидесяти километрах от города стало ясно, что все оставшиеся в живых до Красноводска не дойдут. Тогда Мухин, принявший начальство над «шествием мертвых», приказал им не двигаться и ждать помощи. Он отобрал сорок наиболее крепких человек и пошел с ними к городу, оставляя через каждые три-четыре километра одного человека как живую веху, чтобы можно было найти оставленных людей.

До Красноводска дошли трое. Они упали на улице, но успели рассказать попавшимся навстречу красногвардейцам о том, что случилось в пустыне. Через полчаса из Красноводска выслали верблюдов и помчались всадники отыскивать по живым вехам брошенных людей. Большую часть удалось спасти.

Дело вдовы Начар

Седые дрозды сидели в поломанных клетках, одурев от кухонного чада. Синий жар дымился из-за дощатой перегородки, заклеенной розовыми обоями. Хозяин столовой Тигран, похожий на седого ежа, сердито нашвыривал на тарелки жирный гуляш. Квас в бутылках из-под кислоты пенился от солнца. Ртуть в термометрах вытягивалась готовыми разорваться столбиками и закрывала пятидесятое деление. Было девять часов утра.

Поданный мне и геологу Прокофьеву гуляш напоминал раскаленный кокс. Одно его присутствие на хромоногом столике обжигало лицо крепче палящего красноводского солнца.

Прокофьев со страхом посмотрел на тарелку и отодвинул ее кончиком вилки. Есть такое блюдо, по его словам, «не представлялось возможным». Мы выпили по бутылке горячего квасу и пошли в купальню. Всю дорогу нас преследовал запах солода. Он явно исходил от нас. Прокофьев вежливо бранился: впервые от него, научного работника Нефтяного института, пахло не лабораторией и нефтью, а пивным суслом.

Что может быть освежительнее купания в такое беспощадное утро! На белых лодках переливались отблески волн. Их зеленое сияние было нежно, как цвет лунного камня. Серебряные булавки мальков стягивались веерами к плававшей на воде корке. Виднелось дно, голубоватое песчаное дно, где бродили, выпучив глаза, сердитые бычки. Даже ржавые банки от консервов, валявшиеся на дне, казались сделанными из благородных металлов.

Море почти не шумело. От скал Уфра дул на город горячий ветер и падал, изнемогая, у берегов.

Утро купания перевернуло все мои планы. Я ехал в Кара-Бугаз, где намечалась постройка большого химического комбината — форпоста индустрии в пустынях Кара-Кума. Десять дней я задыхался в вагонной пыли и слеп от светоносной жары, добираясь до Красноводска через Ташкент.

В Красноводске я встретился с большевиком-геологом Прокофьевым. Я застал его вечером в общежитии треста «Карабугазсульфат» в самом бедственном положении.

В соседнем кино мужественно носился по клавишам неистовый пианист. Прокофьев сидел на койке в носках, скучал, страдал от жары и не

мог выйти: по мягкости характера он уступил свои желтые ботинки соседу по койке, шоферу Мише. Миша пошел в кино. Желая блеснуть перед Красноводском, он выпросил у Прокофьева ботинки, оставив взамен рваные парусиновые сапоги, пропитанные смазочным маслом. Прокофьев подозревал, что Миша увлекся одной из красноводских гражданок.

Я сбегал за водой к соседке. Мы разожгли досадливо фыркавший примус и разлеглись на койках в ожидании чая. Прокофьев знал нрав примуса и категорически заявил, что раньше как через час чайник не вскипит.

Узнав, что я еду в Кара-Бугаз, Прокофьев оживился, встал и заходил по комнате из угла в угол.

— Прежде всего, — сказал он, — вам надо хорошенько обдумать маршрут. Давайте сообразим.

— То есть какой маршрут? До Кара-Бугаза отсюда двести километров морем.

Прокофьев снисходительно засмеялся:

— Если вы едете в Кара-Бугаз как работник треста, то двести километров. Но вы же едете совсем за другим: вы хотите, насколько я понял, изучить всю проблему Кара-Бугаза. Так? Тогда маршрут сильно осложнится. Я сам давно мечтаю о такой поездке. Она у меня разработана во всех мелочах.

Но у меня нет денег, а у вас деньги есть, поэтому я уступлю вам свой маршрут бесплатно.

Положительно это был новый тип ученого-филантропа: Мише он отдал ботинки, мне уступал тщательно разработанный маршрут.

Каждый шаг Прокофьева по темной комнате вызывал угрожающее жужжание. Тысячи мух носились вокруг него, не находя покоя от порывистых движений этого высокого человека.

Пианист в кино ударил по клавишам кулаками: рояль дико вскрикнул, как человек, испуганный из-за угла.

— Слыхали? — спросил Прокофьев. — Варварство!

Он снова зашагал по комнате.

— В Кара-Бугаз вам придется ехать по спирали, — продолжал Прокофьев. — Что такое Кара-Бугаз? Величайший в мире и неисчерпаемый источник глауберовой соли. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, как использовать эти богатства. В Кара-Бугазе есть соль, но нет угля, нефти, воды, газов, нет основы для переработки этой соли в ценнейшие химические вещества, и потому как будто нет места для комбината. Но уголь, нефть, вода и газы лежат по широкой кривой вокруг залива. Прежде чем изучать залив,

вам нужно изучить подступы к нему. На этом и основан мой маршрут.

Чайник вскипел. В это время пришли инженер Хоробрых и топограф Бархин. Они сбежали из кино, не выдержав жестокой музыки и мучимые жаждой.

Хоробрых тотчас же вырвал инициативу разговора из мягких рук Прокофьева. Это был высокий человек с лицом Шаляпина и военной выправкой. Он заведовал изысканиями грунтовой дороги из Красноводска в Кара-Бугаз.

Несколько дней я наблюдал его. Он работал, как полководец на фронте, хотя армия его состояла лишь из завхоза Корчагина, нескольких комсомольцев-топографов, пятерых туркмен-рабочих и четырех верблюдов. Но эта маленькая армия действовала быстро и четко. Распоряжения Хоробрых отличались краткостью и напоминали знаменитую наполеоновскую речь: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид!»

В приказах Хоробрых, к сожалению нигде не записанных, были суровость и величие пустыни. Он говорил громовым голосом: «Топографы! Вы должны выйти на горькие родники Кош-Аджи и держаться тех колодцев, где, по надписям времен Тамерлана, высеченным в скале, можно напоить

сто верблюдов. От этих колодцев ведите трассу на северо-запад, но помните, что измерения в тех местах очень часто искажаются отблесками соляных озер».

Хоробрых всю жизнь провел в Средней Азии. Он участвовал в гражданской войне. Легкий налет времен военного коммунизма остался на нем до последних дней — налет стремительных решений, смелых поступков и внешней грубоватости.

Зимой он ездил верхом в Кара-Бугаз через пустыню, а осенью ходил на туркменских лодках из Кара-Бугаза в Баку.

Никто из инженеров не отваживался на это. Плавание походило на игру со смертью.

Хоробрых написал статью о мореходных качествах этих лодок и напечатал ее в краеведческом журнале в Ашхабаде. По статье выходило так, что туркменские лодки как будто прочнее пароходов и быстроходнее моторных катеров. Хоробрых больше всего ценил в этих лодках то, что они делались без конопатки — отдельные доски пригонялись друг к другу «под нож» с исключительной точностью. Лишь одно обстоятельство смущало Хоробрых: попадая в воды Кара-Бугаза, туркменские лодки часто давали жестокую течь и даже тонули.

Хоробрых занялся изучением этого явления — не из любопытства, а потому, что до последнего времени на этих лодках с отдаленных промыслов в пролив перевозилась глауберова соль (мирабилит). Причина течи заключалась в кара-бугазской воде и в том, что каждое дерево, даже самое сухое, содержит в себе некоторую долю пресной влаги. Кара-бугазская вода, объяснял Хоробрых, является насыщенным раствором соли. Когда лодка попадает в Кара-Бугаз, то его едкая вода моментально всасывает в себя всю влагу из лодочных дощатых бортов, пазы между досками расходятся, и лодка, естественно, тонет. За эту теорию Хоробрых держался твердо.

Остаток вечера прошел в спорах о причинах течи туркменских лодок и в рассказах Хоробрых об истории исследований Кара-Бугазского залива. Хоробрых в первый раз был в Кара-Бугазе в 1914 году и с полным правом считал себя кара-бугазским старожилом.

Вечером Прокофьев не успел передать мне маршрут, и разговор наш был закончен наутро в купальне.

— Маршрут наш должен быть следующий, — сказал Прокофьев, сидя в тени на ступеньках купальни. — Сначала Красноводск, где вы сей-

час и находитесь, потом Дагестан — Берикей и Махачкала, потом Эмба, наконец, полуостров Мангышлак, и только после этого вы имеете право попасть в Кара-Бугаз. Всего три тысячи километров по Каспийскому морю и несколько сот километров по суше. Район Красноводска богат нефтью и газами, Дагестан — газами, Эмба — нефтью и известняком, а Мангышлак — каменным углем, фосфоритами и нефтью. Все это необходимо для переработки кара-бугазского мирабилита в цепные химические продукты. Без этого нет никакого смысла строить кара-бугазский комбинат. Ну что, согласны?

— Согласен.

Прокофьев прыгнул в воду. Своим телом он вогнал почти до самого дна много воздуха: вода вокруг него сделалась снежной от мелких пузырьков газа.

Из соседней кабинки с грохотом свалился в воду Хоробрых.

— Здоро́во, орлы! — прокричал он, нырнул и пошел саженками к скалам Уфра.

Он плыл, погружаясь в блеск воды. Он тонул в нем, как в необыкновенном световом океане. Прямо на Хоробрых шел наливной пароход с желтой, канареечной трубой. На мостике его чернела

громадная надпись: «Лафарг».

Зной ложился розовым дымом на мертвые горы и песчаные косы, сверкавшие вдали подобно неведомым обширным материкам.

Вечером я встретил Прокофьева в Новом городе, за вокзалом. Улицы здесь упирались в рыжие и угрюмые скалы.

Прокофьев сообщил мне последнюю новость: в столовую горпо привезли ключевую джебельскую воду. Мы поспешили к столовой. Вода из опреснителей казалась нам хуже касторки. Это была густая и мутная жидкость, попахивавшая керосином и рыжая от каких-то хлопьев, неохотно оседавших на дно. Пить ее было бесполезно: жажду она почти не утоляла. Для одного Хоробрых нужно было два ведра в день, выдавали же на человека только по ведру, так как один из опреснителей поставили на ремонт.

О водяном кризисе свидетельствовали мертвые очереди из пустых ведер, закручивавшиеся спиралью вокруг водоразборных будок. Надменные верблюды шагали прямо по ведрам, оставленным хозяйками на попечение старого философа-туркмена. Гром катился по улицам, туркмен лупил верблюдов по сизым бокам, хозяйки, красные, как кочегары, бежали вперевалку к ведрам, при-

зывая проклятия на верблюдов.

По пути мы догнали Хоробрых. В ответ на сообщение о джебельской воде он сделал безразличное лицо, хотя тут же довольно охотно согласился идти с нами в столовую. Как истый инженер и среднеазиатец, он доказывал нам, что вода из опреснителей ничуть не хуже родниковой.

В столовой чай заказывали оптом — по пять, восемь, даже десять стаканов. Бархин и Корчагин сидели окруженные душистым паром и уничтожали коробку экспедиционной пастилы. Из кино долетала музыка. Дневная пыль сейчас спокойно лежала на мостовых, а не взлетала среди улиц шумными смерчами.

Воздух был чист. В зеленоватом небе висели, касаясь крыш, переспелые звезды. Даже на Востоке бывают вечера, напоминающие восточные пейзажи наших художников и восточные стихи. Бархин посмотрел на небо и промолвил:

— Шехерезада.

— Что «Шехерезада»? — строго спросил Хоробрых.

— Небо.

— Почему «Шехерезада»?

— Арабское слово «Шехерезада» похоже на

наше слово «путаница», — мягко вмешался Прокофьев. — Бархин, у вас возникла интересная ассоциация: Шехерезада — путаница. Посмотрите на небо: какая чудовищная путаница звезд всех величин!

— Посадить среди этой путаницы соловья, и пусть поет, — сказал Хоробрых. — Ах, ах, ширазские соловьи и розы Хорасана! Ах, Зюлейка, лилия иранских долин!

Хоробрых издевался над шаблонной восточной экзотикой. Он любил на Востоке иное: рыжие пески, цветение хлопка, почтовых верблюдов (нарров), заросли тау-сагыза, Гиндукушскую плотину и опреснители. К мечетям Самарканда он относился почтительно, но только как к архитектурным сооружениям. Поэзия Саади была для него выкрутасами старого хитреца-перса, морочившего голову наивным шахам. Из изречений Саади он ценил только одно и часто повторял его топографам:

«Если ты идешь с хромым, то поджимай ногу, чтобы его хромота не была так заметна».

Этот предел восточной вежливости веселил Хоробрых.

— Пейте лучше чай, — предложил он Прокофьеву, — и расскажите, кстати, о ваших работах

в Чикишляре. Это гораздо интереснее.

Лицо Прокофьева в запыленных роговых очках казалось совершенно черным от вечера и загара.

— Что Чикишляр! — ответил Прокофьев. — Там каждая пядь — нефть. Нефтью залиты целые гектары. Баку меркнет перед Чикишляром. Из всех трещин в земле бьют благороднейшие газы.

— Ну-ну, — примирительно пробормотал Хоробрых, — лучше вашего Чикишляра нет уже и места на свете.

— Давайте поговорим серьезно. Вот уже два года на всех совещаниях я кричу о Чикишляре, Нефте-Даге, Челекене и Бая-Даге. Но больше всего, конечно, о Чикишляре. Вам известно, что я потратил на Чикишляр три года тщательных исследований и имею право говорить о Чикишляре с полной достоверностью.

Рассердившись, Прокофьев рассказал нам интересную историю о Чикишляре.

У меня есть одна слабость: мне хочется возможно большее число людей приохотить к писательству. Часто встречаются люди, пережившие много интереснейших вещей. Багаж прожитой жизни они таскают с собой повсюду и тратят попусту, рассказывая случайным попутчикам или, что гораздо хуже, не рассказывая никому.

Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обыкновенно пристаю с просьбой описать пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плоская мысль, что писательство — легкое занятие, до сих пор колом стоит в мозгах многих людей. Большинство ссылается на свое исключительное пристрастие к правдивости, полагая, что писательство — это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением некоторых характерных черт, факт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол.

Выслушав Прокофьева, я предложил ему написать обо всем, что он рассказал. Вопреки моим опасениям, Прокофьев охотно согласился.

Он сидел в Красноводске, дожидаясь парохода на Кара-Бугаз. Пароход застрял в Гасан-Кули, и даже капитан порта не мог сказать точно, когда он придет, — во всяком случае, не раньше чем через неделю.

Для записей Прокофьев взял себе два дня. В общежитии он писать не мог. Топографы сильно

заинтересовались его писательскими опытами и начали изощряться в остроумии насчет «святого вдохновения» и «лавров Шолохова, не дающих Прокофьеву спать». Поэтому Прокофьев уходил с утра в Новый город, к своему приятелю, и писал в его прохладной комнате. В общежитие он возвращался только вечером, и мы тотчас же шли на окраину города купаться.

Ночь, как бы разведенная на саже, опускалась на море и берег глубокой тишиной. Мы не видели воды, мы лишь чувствовали ее прохладный уровень на разгоряченном теле. Постепенно глаза привыкали к темноте, и светоносная крупа звезд начинала осыпаться вокруг нас, падала в воду; вода слабо светилась, и, стоя в ней по пояс, мы ясно представляли вокруг себя открытое и мелкое тропическое море.

Портовые фонари лежали на воде неподвижно, как голубые глаза глубоководных рыб, поднявшихся в полночь поглазеть на звезды. Море пахло остро, как пахнут огороды, обильно политые на рассвете. В запахе его были крепкие соки соли и устриц.

Прокофьев, одеваясь на ощупь в кромешной темноте, говорил, что писательство — самое тяжелое и заманчивое занятие в мире и что если

бы он не был геологом, то наверняка сделался бы писателем. Двух дней, чтобы записать свой рассказ, ему уже не хватало. Он просил отсрочки еще на два дня. Из-за этого я пропускал очередной пароход на Баку (по маршруту Прокофьева я должен был ехать в Дагестан). Мы долго спорили, но в конце концов мне пришлось согласиться.

Рассказ свой Прокофьев отдал мне за день до моего отъезда. Ему очень не хотелось, чтобы я читал его при нем. Ложный стыд еще не выветрился из него окончательно. Назывался рассказ «Черные реки».

Вот этот рассказ.

«Года три назад я заинтересовался странным явлением, происходившим на острове Челекен. Явление это заключалось в том, что с острова вот уже тридцать лет добывают нефть, тогда как, по всем геологическим данным, запасы нефти на Челекене очень невелики и должны были быть исчерпаны за первые десять — пятнадцать лет добычи.

Одно из научных учреждений командировало меня на Челекен для выяснения этого обстоятельства.

Я впервые попал в Среднюю Азию. Меня удивила пустынность тех мест, где мне пришлось

бывать. В научной литературе эти места упоминаются довольно часто, и, казалось, они должны быть более населенными.

Кратковременное пребывание на Челекене убедило меня, что корни неиссякаемости челекенской нефти можно выяснить только на материке, примерно в районе Чикишляра, Гасан-Кули и Атрека.

Я выехал туда. В Гасан-Кули на рейде пассажиров пересадили на плоскодонные фелюги, а в километре от суши — с фелюг на арбы и по мелкой воде вывезли наконец на плоский песчаный берег.

Я ощутил необычайную духоту, жажду и тревогу. Я задыхался от запаха гнилой рыбы и пережил состояние, знакомое всем впервые попадающим на Восток. Его можно назвать „тоской по привычному“. Прохладные лаборатории института и густая листва ленинградских садов, создававшая в комнатах зеленый сумрак, показались мне потерянным раем. Я спрашивал себя, действительно ли существуют березовые леса и реки, заросшие кувшинками, моросящие дожди и трава. Особенно неправдоподобным казалось существование травы — настолько голой и кремнистой была здешняя пересохшая земля.

Я бывал в Баку, жил в Грозном, на Эмбе и, как геолог, прекрасно знал, что нефтяные залежи лежат на высохшем дне бывших морских заливов, в местах, обычно бесплодных и малопривлекательных. Самая тоскливость этих мест, куда я попал, показалась мне довольно верным доказательством, что нефть здесь должна быть в большом количестве.

Я поселился в ауле Кульджар, у туземного врача — табиба. Это был коричневый, напыщенный старик-туркмен, считавший меня тоже знахарем по части нефти и других ископаемых богатств и потому как бы товарищем по профессии. Табиб вынужден был скрывать от непосвященных свои занятия.

Когда я приехал в Кульджар, аул стоял на месте уже год и был окружен поясом зловонных отбросов и грязи. Я тогда еще не знал, что аулы могут стоять на месте лишь полтора-два года. После этого они так загрязняют всю землю вокруг, что их приходится переносить на свежее место.

Я ушел с головой в свою работу. Возможно, многие не знают теории о первичной и вторичной нефти. Сущность этой теории в том, что нефть, возникая в одном месте, совершает далекие странствования под землей, обычно из глубоких

пластов поближе к поверхности, передвигаясь по пустотам и пористым породам в сторону наименьшего сопротивления. Большую роль при этом играет давление нефтеносных газов.

По моим наблюдениям, в случае с Челекеном мы имеем классический пример передвижения нефти. Забыл упомянуть, что нефть, найденная в том месте, где она образовалась, называется первичной, а нефть, найденная далеко от места образования, или такая вот бродячая нефть, называется вторичной. На Челекене — нефть вторичная, беспрерывно наплывающая в тамошние нефтеносные пласты откуда-то со стороны. Этим и объясняется неисчерпаемость челекенских залежей. Но где сама родина нефти? Этот вопрос занимал меня чрезвычайно.

Мне было очень трудно найти рабочих. Все туркмены моего аула были из рода Игдыр. Род этот, испокон веков владевший неисчислимыми стадами, знаменит предрассудками. Только молодежь после революции начала работать, старики же до сих пор считают работу унизительной и проводят время в праздности, курении и игре в кости. Работают женщины.

В качестве рабочих табиб любезно приводил мне тэриакешей — курильщиков дрянного гряз-

ного опиума, людей ненадежных и оцепенелых. Временами их невозможно было сдвинуть с места. Лишь через месяц у меня появился бойкий и толковый, но чрезмерно любопытный помощник — юноша Гузар. Он интересовался буквально всем, и мне пришлось объяснять ему даже теорию первичной и вторичной нефти. В его глазах я был великий ученый-большевик, знающий происхождение чудес и значительно более почтенный, чем доживающие свой век в ауле эвляды — потомки пророка.

Табиб изводил меня медленно, но верно. Он втайне ненавидел большевиков и, упоминая о революции, со вздохом провозглашал старинное изречение: „Когда караван поворачивает, то хромой верблюд оказывается впереди“. Под хромым верблюдом он, очевидно, подразумевал бедняков, ставших у власти.

Он бесил меня своими варварскими способами лечения. Он настаивал красный перец на верблюжьем молоке и растирал этой ядовитой гадостью веки у трахоматозных. Больным сифилисом он давал курить смешанную с табаком и растертую в мельчайший порошок высушенную голову ящерицы — варана. Нарывы он лечил прикладыванием теплого мяса только что убитых ящериц

или щенков. Но самым чудовищным было лечение дизентерии. От нее летом погибало много детей. Табиб изо всей силы закручивал больному пупок, не обращая внимания на отчаянные крики. Этот способ лечения обычно кончался грыжей.

Табиб знал только четыре болезни — трахому, дизентерию, сифилис и туберкулез желез. Все остальные недуги он называл сердечными и лечил их прижиганием. Способ прижигания напоминал изощренную пытку. Больному туго привязывали к боку тлеющую кошму. Когда ожог, по мнению табиба, достигал нужных размеров, кошму снимали и на обожженное место клали компресс из мочи.

Я терпел все это две недели, потом послал с оказией записку в Чикишляр, требуя, чтобы табибу запретили калечить людей.

Вскоре после этого я уехал в горы. Здесь мне удалось сделать ценное открытие, заставившее меня забыть о табибе.

Перед отъездом я переселился от табиба в кибитку вдовы Начар. Она сама перешла в шалаш, стоявший в нескольких шагах от кибитки. Кибитка Начар мне понравилась. Она была очень чистая и стояла далеко от аула, за чертой злово-

ния и дохлых щенков, в полосе крепких ветров, дувших с отдаленных гор.

У подножия гор я нашел выходы газов и путем ряда наблюдений окончательно убедился, что место моего исследования было центром богатых залежей первичной нефти, откуда она распространялась медленными подземными потоками, имевшими, по моим предположениям, два направления — к Челекену и Нефте-Дагу.

Тогда уже в научных кругах была во всей широте поставлена проблема Кара-Бугаза, иначе говоря — проблема добычи и переработки величайших на земном шаре залежей мирабилита. Меня интересовал главным образом вопрос о переработке мирабилита. Уже тогда носилась в воздухе идея создания в Кара-Бугазе мощного химического комбината. Существование комбината немыслимо без основных слагаемых — сырья, топлива и воды.

В Кара-Бугазе было только сырье — мирабилит; топлива же и воды не было. Я открыл величайшие газоносные земли — затрудняюсь даже приблизительно определить запасы газов в Чикишлярском районе — и был уверен, что этим разрешаю в значительной степени вопрос о топливе для комбината, так как передача горючих

газов на расстояние — вопрос, давным-давно решенный техникой.

Кроме выходов газа, я открыл богатейшие источники йода и брома.

Одна часть топливной задачи была решена, но оставалась еще вторая часть — нефть.

В этом деле никаких сомнений и долгих раздумываний не было. Весь район был насыщен нефтью, как губка. Но эта нефть, равно как и челекенская, была слишком далека от Кара-Бугаза и лежала глубоко под землей. Нефте-Даг был ближе. Выгоднее всего было бы перебрасывать в Кара-Бугаз именно нефте-дагскую нефть.

Помню, как-то ранним утром я сидел около палатки и думал об этом. Гузар подошел ко мне и очень взволнованно сказал, что двое тэриакешей нашли за холмом брошенную мечеть и что туда следовало бы переселиться.

Гузар звал меня немедленно пойти осмотреть новое наше жилище.

Я пошел к мечети раздосадованный. Гузар оторвал меня от стройного порядка размышлений. Мне необходимо было, зная более или менее точно направление открытых мною нефтяных течений, определить, где следует искать нефть вблизи Кара-Бугаза. Мне нужно было

наметить точки, где было больше всего вероятности встретить нефть, то есть, иными словами, найти кратчайшее расстояние от Кара-Бугаза до нефтяной полосы, идущей на север и, как я предполагал, сливающейся с нефтеносными землями Мангышлака и Эмбы.

Мы поднялись на холм. Я думал увидеть разрушенную мечеть с осыпавшимися синими, как купорос, изразцами, но перед нами чернело глинобитное приземистое здание, угрюмое и непривлекательное. Оба тэриакеша сидели у входа, посмеиваясь. Они сердито взглянули на меня и Гузара, когда мы проходили мимо них внутрь мечети. Я заранее решил в мечеть ни в коем случае не переселяться. Затея Гузара была совершенно нелепа.

Войдя в мечеть, я оторопел. У стены под разрушенной кровлей, пропускавшей плотные солнечные лучи, напоминавшие по цвету соломе, сидела бедно одетая женщина в платке, закрывавшем рот, и тихо стонала. Рядом с ней спал на земле маленький мальчик.

— Начар пришла к нам, чтобы ей помогли, — пробормотал смущенный Гузар.

Я понял его детскую хитрость с переселением в мечеть, выдуманную, чтобы заманить меня сюда,

и сказал, невольно улыбаясь:

— Переводи.

Начар откинула платок и быстро заговорила, протягивая к нам лиловые высохшие руки. Из глаз ее катились редкие слезы. Она говорила долго и страстно, сорвала ожерелье из медных монет и бросила его к моим ногам. Гузар часто переспрашивал ее и спорил с ней. Они оба волновались, и голоса их переходили в клекот.

Я рассматривал Начар. Я был поражен измученностью и красотой ее лица. Я привык думать, что туркменки скуласты, широколицы и изуродованы воловьей работой.

Наконец Начар умолкла, снова надвинула платок на рот и села, прислонившись к стене.

Гузар переводил с большим трудом. Начар не туркменка, она — афганка. Двадцать лет назад, когда ей было три года, ее украли у родителей и продали в аул Кульджар, бедняку Мураду.

Когда ей пошел пятнадцатый год, Мурад женился на ней. Весь аул ненавидел ее как чужеземку. Мурад бил ее, потому что первый год у нее не было детей. Потом родился мальчик, и жить стало легче: рождение первенца-сына считается в туркменских семьях счастливым предзнаменованием. Потом родилась девочка, но Мурад вскоре

после этого умер. По закону шариата[2], у Начар отобрали всех овец — их было только пятьдесят голов. Месяц назад у нее украли и неизвестно куда продали дочь. Мальчишки забрасывали ее верблюжьим пометом.

Она обошла все кибитки, плача и умоляя сказать ей, куда продали дочь, но в каждой кибитке мужчины встречали ее побоями. Она ушла ночью тайком в Красноводск, взяв с собой мальчика. Начар хотела жаловаться большевикам-судьям и русским женщинам, которые защищают туркменских женщин от мужей, но старики догнали ее недалеко от аула, избили и вернули обратно. Вчера к ней пришли трое эвлядов[3] и табиб, называли ее блудливой козой, грозили убить и ушли, содрав кошму с кибитки русского.

— Они убьют ее, — сказал Гузар и задрожал всем телом. — Иолдаш[4] Прокофий, нам нельзя возвращаться в аул. Они убьют нас троих и мальчика с нами.

Я промолчал. Все научные дела вылетели из

---

[2] Примечания: 2
Шариат — бытовые законы у мусульман.

[3] Примечания: 3
Эвляд — старший в роде *(туркм.).*

[4] Примечания: 4
Иолдаш — товарищ *(туркм.).*

моей головы. Я был охвачен единственным чувством — бешенством. Я вышел из мечети и сказал ухмылявшимся тэриакешам:

— Накормите эту женщину, а потом свертывайте палатки — мы переходим на новое место.

— Пусть подыхает, афганская ведьма! — ответил старый тэриакеш и сверкнул на меня желтыми, лошадиными зубами.

И я, геолог, работник одного из крупных научных институтов, схватил его за халат, рванул изо всей силы, так что у него с бритой головы свалилась папаха, и крикнул голосом, испугавшим меня самого:

— Слышишь, собака, что тебе говорят?!

Тэриакеш присел и закрыл глаза, — казалось, он ждал выстрела.

Через три часа мы снялись и, захватив с собой Начар и ее мальчика, двинулись в сторону Гасан-Кули.

Так печально окончилась моя первая экспедиция в район Атрека. Я был доволен, что все случившееся совпало с окончанием главных работ. Остались мелочи, не имевшие значения.

В дороге один тэриакеш сбежал. Ночевали мы в пустыне. Я всю ночь не спал и прислушивался, но, кроме шороха ящериц, ничего не слышал.

На второй день мы добрались до Гасан-Кули. На руках у меня остались необработанные материалы экспедиции и трое людей, отдавших свою судьбу в мое распоряжение: Гузар, вдова и ее четырехлетний мальчик. Было от чего потерять голову. Я решил везти всех в Красноводск, а там видно будет.

В Красноводске я устроил Гузара в школу для туркмен, а с Начар пошел в райком партии. Заведующая женотделом Бариль — бывшая швея, маленькая, вспыльчивая и упрямая женщина, постоянно ронявшая пенсне, — выслушала меня, и лицо ее покрылось красными пятнами.

— Вы, товарищ, молодец, — сказала она, и глаза ее заблестели. — Оставьте эту женщину здесь. Мы всё устроим.

Она протянула мне крепкую руку. Я вышел с чувством облегчения.

Через неделю я получил повестку от председателя суда и узнал из нее, что назначаюсь общественным обвинителем по делу „о пережитках варварского быта, выразившихся в истязании и преследовании гражданки Начар“.

От председателя суда я узнал, что табиб и шесть стариков-эвлядов арестованы, доставлены в Красноводск, следствие заканчивается и через

несколько дней будет суд.

Днями, оставшимися до суда, я воспользовался не для того, чтобы готовиться к обвинительной речи, а для составления доклада об использовании природных нефтяных газов Чикишляра.

Поскольку этот вопрос сравнительно нов, я позволю себе остановиться на моем докладе подробнее.

При разработке вопросов о газах я исходил из нужд кара-бугазского комбината. Ни уголь, ни нефть не могут соперничать как топливо с газом. Весь вопрос лишь в том, как перебросить газ за четыреста километров, из Чикишляра в Кара-Бугаз. Пять лет назад постройка газопровода в сто — сто пятьдесят километров считалась величайшим техническим достижением, а сейчас уже работают газопроводы длиной в семьсот пятьдесят километров. Поэтому прокладка газопровода в четыреста сорок километров не составит большого труда.

Горы Большие Балханы, пересекающие путь газопроводу, нисколько ему не помешают. В настоящее время газопроводы успешно пересекают местность с любым рельефом.

Я изложил свой проект инженерам. Они возразили, что прокладка газовой линии потребует

постройки больших газохранилищ.

Должен сказать, что ни разу я не встречал специалиста, который не нашел бы возражения против даже самого совершенного проекта. Это профессиональная привычка. У старых специалистов это не только привычка, но и неприязнь к масштабам. Они со вздохом вспоминают старые уютные заводы, где дворы зарастали одуванчиками и в конторах всегда стояла солнечная тишина. Некуда было торопиться, и некого было перегонять.

Возражения инженеров заставили меня сделать некоторые вычисления. Инженер Хоробрых поддержал меня со свойственным ему напором. Он подтвердил мои вычисления громовой речью, направленной против трусливых „трепачей-инженеров“. Оказалось, что никаких газохранилищ не нужно, так как сам по себе газопровод является исполинским хранилищем. Действительно, газопровод длиной в четыреста километров вмещает два с половиной миллиона кубических метров газа. Ни одно газохранилище в мире не может вместить такого количества газа.

Применение газов очень многообразно. Они идут на топливо, на бытовые нужды, употребляются в нефтяной промышленности для осве-

жения старых скважин, из них делают сажу, необходимую для резиновой промышленности, твердую угольную кислоту, так называемый „сухой лед“, и множество химических веществ: древесный спирт, ацетон, водород, ацетилен для автогенной сварки, бутадиен для получения искусственного каучука, эфир, бензол, хлороформ, охлаждающие вещества.

В своем докладе я настаивал на необходимости продолжать исследования в Чикишлярском районе в значительно большем размере, чем велись мои работы. Необходимо глубокое бурение на тысячу и больше метров. Закладка газовых скважин должна вестись с большой осторожностью и только тогда, когда есть возможность использовать газ. Иначе можно совершенно зря выпустить на воздух миллионы кубических метров газа. Закрыть газовую скважину очень трудно. Газ почти всегда пробьет себе ход и хлынет по сторонам обсадных труб.

В будущем году я опять вернусь в Чикишлярский район, чтобы вычислить количество газа. Для этого есть два весьма простых и интересных способа. Первый способ состоит в том, что вычисляется объем пор и пустот в газоносной породе, который и будет равен объему газа, ибо газ

эти пустоты заполняет. Однако этот способ дает приблизительные, грубые цифры. Второй способ — так называемый „метод спуска давления“ — состоит в том, чтобы определить уменьшение давления газа, выходящего из скважины. Зная дебит скважины (иначе говоря — количество газа, которое она дает), вычисляют подземный запас газа. Делают это следующим образом. Предположим, скважина дала сто тысяч кубических метров газа и давление после этого упало на одну десятую. В этом случае подземный запас газа в скважине составляет девять десятых дебита, то есть будет равен девятистам тысячам кубических метров.

Вот в основных чертах главные точки моего доклада. А затем начался суд.

Здание суда в Красноводске — единственное место, где в палисаднике цветут жесткие и пыльные цветы охряного цвета с серой шершавой листвой.

Я не помню, что я говорил. Я, кажется, говорил, что половина туркменских женщин страдает бесплодием в результате каторжного труда, что только Октябрьская революция сорвала платки, которыми молодые туркменки завязывали рот в знак того, что женщина должна всю жизнь

молчать. Я требовал запрещения носить национальный женский головной убор, весящий около трех кило и вызывающий туберкулез шейных позвонков.

Подсудимые мрачно смотрели на кончики своих бород. Табиб отказался от последнего слова, снабдив свой отказ напыщенным изречением. „Сын пророка, — сказал он, — не поленится драться, но поленится говорить“.

Приговор был суровый: пять лет каждому, с высылкой после отбытия наказания из пределов Туркменской республики.

В зале суда я увидел Начар. Она была уже без платка, в европейском платье.

— Товарищ дорогой, — сказала мне Бариль, — посмотрите на нее! Какая поразительная красавица! Мое платье никогда не сидело на мне так, как на ней. Я отправлю ее в Баку на швейную фабрику. Но надо, чтобы раньше она перестала пугаться мужчин и автомобилей.

Здесь, собственно говоря, можно поставить точку. Должен лишь добавить, что вмешательство мое в жизнь доставило мне столько же тревоги и радости, сколько и исследовательские мои работы по нефти на Челекене и в Чикишляре».

— Будет ли продолжение у этого рассказа? —

спросил я Прокофьева.

— Боюсь, что в продолжении придется принять участие и вам, — ответил он. — Вы уезжаете завтра, а Бариль отправляет Начар в Баку с завтрашним пароходом. К вам просьба: поглядывайте за ней в дороге и доставьте ее в Баку по адресу.

— Прокофьев, — воскликнул я, — вы каждый день все дальше отодвигаете меня от Кара-Бугаза!

Он засмеялся:

— Совершенно ложный взгляд. Здесь все незримо связано с этим заливом. Бариль едет на днях в Кара-Бугаз для работы среди туркмен и казахов. В Кара-Бугазе вы ее встретите, и она вам расскажет и покажет кучу интересных вещей.

На следующий день над горами носились тучи серого праха. Слюдяное солнце выливало на землю океаны белой жары. Шелудивые псы с желтыми мудрыми глазами обнюхивали на пристани пыльные груды узлов и чемоданов, рыча друг на друга предостерегающе и нежно.

Пароход «Чичерин» вынес свой неестественно высокий нос в волнующуюся равнину моря. Прокофьев долго махал с пристани выгоревшей до седины шляпой и кричал, чтобы в Махачкале я

обязательно навестил геолога Шацкого.

Бариль крикнула мне, показывая на Начар:

— Смотрите, чтобы она не утопла!

Хоробрых дымил обгрызенной трубкой и помахал мне рукой с видом милостивого начальника, зорко следящего за точным выполнением своих приказаний. В эту минуту я почувствовал себя подчиненным ему и понял, что топографы были правы, когда говорили, что за этим человеком можно работать «как за бетонной стеной».

В последнюю минуту прибежал запыхавшийся Корчагин. Он нигде не мог найти верблюжьих седел для нужд изыскательской партии и притащил свое разочарование на пристань, где оно разбилось о непреклонную волю Хоробрых.

— Надо найти — и найдешь. Идем вместе, — сказал Хоробрых.

И я видел, как они прошли в решетчатые пристанские ворота и поднялись на пригорок. Там в увядших желтых цветах белело низкое здание горсовета.

Вздымая смерчи пыли, по набережной промчался на грузовике Миша. Он изрыгал проклятия охрипшей от жажды сиреной. Белая надпись на бортах его грузовика — «Карабугазтрест» — была видна очень далеко.

Потом город и ломаные, черствые горы быстро покатились влево. Волны бестолково заплясали около красных плавучих бочек. Ударил ветер. «Чичерин» медленно и торжественно опустил нос и, раздувая дым из трубы, раздувая флаг, раздувая брезент над палубой и парусиновые ветрогонки, с шумом и дрожью поднялся на широкую волну, катившуюся с моря.

К вечеру волна улеглась, и на западе разгорелся закат. Ниже заката, над самым морем, проносились из края в край голубыми снарядами зарницы. Тишина обволокла пароход.

Я принес пугливой Начар кипятку. Мы сели на палубу, напоминая со стороны семью бродяг, занятых чаепитием. Начар была в старом шелковом платье Бариль, в светлых чулках и белом шарфе. Рядом с ней бренчал на потертой гитаре невзрачный моряк.

Начар уже знала по-русски несколько слов, но произносила их шепотом и при этом краснела. После чая она закрыла шарфом нижнюю часть лица и сидела неподвижно, глядя на море. Мне кажется, так она просидела всю ночь: утром, когда мы приближались к плакатно-желтым берегам Апшерона, я застал ее в этой же позе.

К полудню над тусклой водой началось далекое

нагромождение Баку — серых гор, серого неба, серых домов, покрытых заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета. Прошли остров Нарген, мыс Зых, и весь этот тускло сияющий город, притягивающий жадные взгляды «Стандард Ойлей» и «Ройял Датчей», город революции, 26 комиссаров, нефти, громоздился все выше и выше над радужной плоскостью залива, пока «Чичерин» не подошел к нему вплотную, покрикивая басовым гудком.

Я отвез Начар по адресу, записанному со слов Бариль, и передал с рук на руки молодой приветливой работнице, женоргу швейной фабрики.

Вечером пыльный горячий поезд унес меня к северу, в Дагестан, где должна была развернуться одна из страниц будущей истории Кара-Бугаза.

Учитесь у водорослей

Солнце, в течение тысячелетий бывшее проклятием пустыни, сделается ее благословением.

Академик Иоффе

Три тысячи километров остались позади. Я живу в фанерном доме на берегу Кара-Бугазского залива. С утра до вечера работает безжалостное солнце, выпаривая и сгущая кара-бугазскую воду. Оно мешает мне сосредоточиться, чтобы вспомнить самые яркие точки на этом длинном пути вокруг Каспийского моря.

Целый мир отшумел за спиной и остался лишь в памяти да на исписанных бледным карандашом листках.

После Баку на рассвете поезд ворвался в пахучие заросли Берикея. На западе, в стороне Хунзаха и Ведено, в стороне аулов, закутанных в дым романтических преданий, тяжелой медью горели горы. К их подножиям прижался завод «Дагестанские огни» — первый завод в Союзе, работающий на газах, бьющих из-под земли. Этими газами завод отапливает свои стеклоплавильные печи.

Сырье для стекла — мирабилит — завод привозит из Кара-Бугаза.

В Баку я узнал, что до постройки химического комбината в Кара-Бугазе мирабилит предполагают перерабатывать в Дагестане. Но где? Здесь, в Берикее, где земля газит, как неприработанный газовый завод, или на севере, в Чир-Юрте?

Общее мнение слагалось в пользу Чир-Юрта, где запроектирована постройка мощного химического комбината.

Голубое сверкающее сердце дагестанских гор — Судакская электростанция будет перебрасывать сюда ток. Рядом дымится Грозный с его мазутом и нефтеносными газами. Здесь порт Махачкала, куда морем можно доставлять мирабилит из Кара-Бугаза, здесь рельсовые пути в Ростов, Новороссийск, выход в центр страны и к Черному морю.

Махачкала кажется городом, построенным из окаменелой морской пены.

Зернистый камень набережных и зданий блестит крупинками слюды, напоминающими большие брызги.

Море подкатывает к подножию города зеленую и глубокую воду.

Черные бугшприты парусных шхун качают-

ся над низкой оградой вокзала, почти касаясь семафоров. Вагоны скорых поездов Тбилиси — Москва на десять минут превращаются в каюты кораблей. В их окнах перепутываются реи, снасти, желтые трубы. В купе врывается крепкий каспийский ветер. Мальчишки машут перед обмякшими от южной синевы пассажирами связками только что пойманных бычков, пахнущих холодом и йодом.

В Махачкале я нашел себе спутника. Ищите себе спутника в каждом городе, иначе новые места произведут на вас впечатление утомительного музея. Спутник должен быть из местных жителей. Он окунет вас с головой в незнакомую жизнь. Он будет невольно хвастаться своим городом, хотя иногда и ругнет его грязной дырой. Но таково свойство старожилов. В присутствии новичков очертевшие места открывают перед старожилом свою подлинную сущность, играют новыми красками. Мир любопытнейших вещей неожиданно раскрывается перед изумленными глазами, и пыльная Махачкала предстает как город, омытый озоном, дождями, забрызганный по самые крыши прибоем, как город великих возможностей и свершившихся достижений.

Дымные горы Дагестана подойдут вплотную

к его беленым домишкам. Недавняя история газавата[5], боев с мусаватистами, история Октябрьской революции, скатившейся с гор на равнины, — и город уже шумит над вами, как шумят приморские ветры. Вы чувствуете цветение молодой республики, терпкой и каменистой, цветение, похожее на расцвет черешневых садов Буйнакска, которым нет равных во всем Союзе.

Моим спутником был сотрудник местной газеты Красногорский — седеющий маленький человек в черепаховых очках. Он был родом из Минска, но считал Дагестан своим отечеством. Он говорил о нем как о стране неслыханных богатств и вздыхал так тяжело, будто все эти богатства ему, Красногорскому, приходилось тащить на своих немощных плечах.

С Красногорским я ездил на Туралинские соляные озера под городом и был у геолога Шацкого.

Туралинские озера — Большое и Малое — называют «искусственным Кара-Бугазом». Академия наук испробовала на этих озерах новый способ, ускоряющий осаждение мирабилита из воды.

В Кара-Бугазе мирабилит кристаллизуется и выпадает на дно в естественных условиях.

---

[5] Примечания: 5

Газават — священная война у мусульман.

«Садка» мирабилита происходит зимой, когда температура воды падает до пяти градусов тепла. Мирабилит ложится неравномерными слоями и занимает громадное пространство в восемнадцать тысяч квадратных километров.

Зимние штормы выбрасывают мирабилит на берега. До 1929 года добыча сводилась к тому, что выбросы оттаскивали подальше от полосы прибоя, чтобы их не смыло обратно, давали мирабилиту просохнуть и вывозили на верблюдах к морю. Так было до 1929 года, пока не начал работать Кара-Бугазский трест.

Трест не мог, подобно старым промышленникам, ставить добычу мирабилита в зависимость от капризов залива: что шторм накидает, то и ладно. Трест не мог примириться с тем, что залив выбрасывает мирабилит на неудобные берега, на пространстве в сто пятьдесят километров, смешивает его с глиной, закидывает водорослями и гнилой рыбой, а весной слизывает обратно и растворяет в своей потеплевшей воде.

Нужны были новые способы добычи, которые давали бы мирабилит чистый и в тех местах, где его удобно добывать и сушить. Такими новыми способами были добыча мирабилита со дна залива при помощи экскаваторов и солесосов и метод

бассейнизации. Последний состоит в том, что воду из залива перекачивают в бассейны, там она испаряется, концентрируется и дает зимой очень чистый мирабилит.

Этот метод и проверялся на Туралинских соляных озерах. Слой воды в два метра шестьдесят пять сантиметров в бассейне дал слой мирабилита в пятьдесят пять сантиметров.

Опыты блестяще удались: количество полученного мирабилита точно отвечало предварительным расчетам.

Я помнил просьбу Прокофьева навестить геолога Шацкого. Он жил на окраине города, на улице, широкой рекой сливавшейся с гор. По ней шли горцы, шлепая в теплой пыли рваными чувяками и постукивая желтыми ногтями по рукояткам черных кинжалов. Ослы тащили бидоны с молоком, уравновешенные по другую сторону седла толстыми младенцами, засунутыми в ковровые мешки.

Красногорский сопровождал меня. Он знал о существовании Шацкого, но не знал причин его недавней болезни и истории об острове Кара-Ада.

Нас встретил приветливый бритый старик со смеющимися глазами. Это и был Шацкий. Жена

его, учительница-армянка, принадлежала к той категории женщин, какие всю жизнь вкладывают в служение близким.

Прокофьев предупреждал меня, что Шацкий совершенно выздоровел, но до сих пор врачи не разрешают ему участвовать в геологических экспедициях. Сильная усталость или возбуждение вызывают у него возврат прежних бредовых мыслей. Поэтому Шацкий занят разработкой теоретических вопросов. В этой области он уже создал несколько интересных работ.

Я сказал Шацкому, что меня интересует вопрос о Кара-Бугазе.

— Наше время такое, — ответил он, — что мы должны уметь ставить далекие задачи. Кара-Бугаз меня тоже очень интересует, но не так, как вас. Меня он интересует как место, где удобнее всего провести опыты по завоеванию новых форм энергии. Вы же знаете, что Прокофьев не столько ученый, сколько поэт. Мы должны держать фантазию на тугой узде. В Кара-Бугазе надо построить химический комбинат. Без мощного источника энергии его не построить. Прокофьев ищет газы, другие ищут по соседству с Кара-Бугазом уголь и нефть. Все это прекрасно, но забыли о главном: забыли, что Кара-Бугаз сам по себе является неис-

черпаемым и неистощимым источником новой энергии.

— Какой?

— Солнечной. Я знаю, что такое солнце. К делу завоевания солнца надо применить способ гомеопатии. Гомеопаты лечат сильнейшими ядами, но в микроскопических дозах. Солнце тоже действует благотворно лишь в малых дозах. По существу, оно смертоносно. Там, где его больше, чем следует, оно производит величайшие опустошения. Оно убивает громадные пространства земли. Классический пример этого — закаспийские пустыни.

Красногорский возразил, что дело не в солнце, а в недостатке в тех местах воды. Шацкий выслушал его внимательно.

— Воды достаточно, — ответил он, усмехаясь. — Беда в том, что вода испаряется быстрее, чем накапливается. Мы со всех сторон окружены усыхающими землями. Баланс получается не в пользу человека. — Он посмотрел на меня прищурившись. — Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние десять лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества.

Через сто — полтораста лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только шестьдесят процентов потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха. Мировые запасы нефти будут уничтожены. Истощение энергетических запасов неминуемо должно вызвать войну между капиталистическими странами…

— Шура! — строго сказала жена. — Никакой войны не будет!

— Война между капиталистическими странами неизбежна, — упрямо повторил Шацкий. — Когда последние запасы угля и нефти подойдут к концу, начнется война.

— Шура, — еще строже сказала жена, — ты же сам прекрасно знаешь, что никакой войны не будет!

— Капиталистический мир неумело и слишком неповоротливо ищет новые источники энергии. Бензин заменяют спиртом. «Сухой закон» в Америке выдумали не для того, чтобы отучить страну от пьянства, а для того, чтобы весь спирт пустить на горючее. Там автомобили заправляют вместо бензина ромовым спиртом с Ямайки.

— Неужели вы как ученый не видите выхо-

да? — спросил я.

— А солнце? — спросил меня, в свою очередь, Шацкий. — Солнце! Каждый сантиметр земли получает от солнца ежегодно сто тысяч калорий. Растения берут только семь десятых процента этого количества солнечной энергии. Думают, что их можно заставить брать больше и получать фантастические урожаи, но я полагаю, что это немыслимо. Избыток полученной энергии убьет растения. Не забывайте нашего гомеопатического метода. Но, во всяком случае, вы видите, какие чудовищные запасы энергии изливаются на землю непрерывно и будут изливаться еще миллионы лет. Человечество пошло по линии наименьшего сопротивления. Оно кинулось на те виды энергии, запасы которых ничтожны, забыв об источниках энергии непрерывных, каких хватит на всю историю человеческого рода.

— Интересно! — шепнул мне Красногорский.

В глазах его я уловил блеск законной гордости. Он, казалось, хотел сказать: «Смотрите, какие замечательные люди живут у нас в Дагестане!»

— Вернемся к Кара-Бугазу, — продолжал Шацкий. — Мы остановились на том, что нам необходимо использовать энергию солнца. В этом смысле Кара-Бугаз — лучшее место в Союзе. Там

великолепное солнечное сияние. Если бы Кара-Бугазский залив превратился в озеро, то оно бы высохло в шесть лет. Вообще вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край.

Шацкий задумчиво уставился за окно. Моря не было видно, но взамен моря был виден сизый морской воздух, похожий на толщу пара.

— Я задумал небольшой научный труд под заглавием «Испаряющаяся земля». Мы преступно относимся к солнцу. Годовые запасы его энергии на земном шаре определяются в сто биллионов киловатт-часов. Это дает по одному киловатт-часу на каждый квадратный метр.

— Но как будто солнечные машины — гелиоскопы — не дали хороших результатов, — промолвил Красногорский.

— И не дадут, — ответил Шацкий. — Нужны другие пути. У нас есть в руках химия. Перед ее возможностями оптический принцип улавливания солнечной энергии отходит на задний план. Надо ловить, концентрировать, сгущать солнечную энергию химическим путем. Надо учиться у красных морских водорослей. Они используют двадцать четыре процента того количества солнечной энергии, какое проникает в морские глубины, тогда как наши земные растения, то-

нущие в солнечных потоках, используют, как я сказал, только ничтожные доли процента. Нужда всему научит.

Шацкий прошелся по комнате.

— Духота, духота! — пробормотал он. — Здешние вечера вызывают астму. Горы накаляются за день и всю ночь излучают тепло. Я предлагаю пройтись к морю.

Жена охотно согласилась отпустить его с нами. Мы вышли к морю. Звезды спали на волнах, то широко открывая, то щуря белые огни. По краю берега, у пенной полосы прибоя, промчался тбилисский экспресс. Его радостный гудок прокатился громом над морем, — поезд торопился вырваться из плоских степей в путаницу гор, заливов, рек, виноградников, в успокоительный калейдоскоп Кавказа.

— Вот... — Шацкий торжественно показал на море. — Вот громадные водные плоскости. Их можно заставить собирать солнечную энергию. К этому делу будут приспособлены и пустыни. Химическое улавливание солнца состоит в том, чтобы использовать свойство солнечной энергии вызывать химические реакции. Эти реакции, в свою очередь, создают электрическую энергию. В лабораториях уже существуют приборы — фото-

элементы, превращающие энергию солнца путем химических процессов в электричество. Удалось добиться, что фотоэлемент под влиянием солнца дает ток, вращающий небольшой электромотор. Кара-Бугаз нужно сделать всесоюзной лабораторией по ловле солнца и в первую очередь приложить взятую в плен солнечную энергию к переработке его баснословных богатств.

Когда мы вернулись, жена Шацкого тихо спросила меня, не болтал ли он чепухи.

— При нем нельзя упоминать о Кара-Ада, — сказала она, когда мы прощались. — Он как будто забыл об этом, но самое имя Кара-Ада приводит его в неспокойное состояние. Я ведь с ним тоже была там, — добавила она и смутилась.

Полководец

Ночью я уехал из Махачкалы на Эмбу, в Гурьев. Путь лежал через Астрахань.

Утром я не узнал Каспийского моря. Жидкая серая глина простиралась до горизонта обширным озером. На краю его торчали прямо из воды угрюмые черные маяки и колокольни без крестов — то были рыбачьи села на плоских островах волжской дельты.

Мы подходили к двенадцатифутовому рейду, где среди моря гремел и качался на якорях плавучий город — больница, почта, пассажирские пристани, лихтера и «грязнухи», похожие на старинные мониторы.

Я видел Астрахань, облепленную сотнями парусов, пропахшую сухой селедкой и пыльную, как глинобитные города Азии.

На плотах у рыбных промыслов день и ночь загорелые люди, все в чешуе, как в стальной кольчуге, подхватывали баграми из рыбачьих лодок пятнистые туши севрюг и швыряли их с тяжелым шлепаньем на доски. Девушки в синих штанах нескончаемыми вереницами несли в холодильники золотых сазанов, держа их под

коралловые мокрые жабры.

Из Астрахани мы трое суток плелись на колесном пароходе в Гурьев, не видя ничего, кроме неба, сожженного суховеями, желтого моря и расставленных на якорях рыбачьих шаланд.

Между Астраханью и Гурьевом нет ни одного порта, ни одного убежища. В шестидесяти километрах от берега можно легко достать шестом песчаное дно. Далеко от берегов в море протянулись заросли камыша с черными тугими головками. Поэтому берега зовут «чернями». Издали они напоминают узкую кайму, проведенную тушью по бледному горизонту.

И путь этот, и пароход хорошо изучены постоянными пассажирами. Путь монотонен, как азиатское выцветшее небо. Сначала рыжая вода из Волги, потом, за Белинским Банком, вода медленно начинает зеленеть, потом Забурунье, где во всякую погоду качает. На пароходе всегда один и тот же толстенький капитан, одни и те же бородатые штурвальные, обозревающие море в медный старинный бинокль, тот же повар — горький вдовец, готовящий безвкусные щи и пересоленную рыбу.

Наконец появляются бакланы и тюлени, спящие на воде брюхом вверх, и по всему пароходу

проходит вздох облегчения: значит, скоро Гурьевский рейд. За ним уже угадывается пустыня, заросшая астрагалом и покрытая корками соли.

И вот рейд. Пароход подползает к нему среди белых, как мел, островов. С непривычки можно спутать с островами отраженные в тихой воде облака, похожие на материки. Они неподвижно стоят над пустыней, чуть розовея. Кажется, что их поставили здесь нарочно, чтобы показать на них все разнообразие вечерних красок и величавость ночи, синей, как кобальт.

Пароход с углем вплывает в узкий проток между высокими камышами — Урал, и лишь к полночи сквозь пыль, висящую в воздухе, загораются светофоры в городке «Эмба-нефти». Против него, на правом берегу Урала, сонно моргает окнами Гурьев.

Пахнет рыбой и горелой травой. Пароход будит город плачущим визгом гудка и наваливается на пустынную пристань.

Утром я увидел за Уралом весь городок «Эмба-нефти». Казалось, что на азиатском берегу — его здесь зовут Бухарской стороной — села несметная стая белых птиц. Все дома были как бы слеплены из снега. Весь городок построен из прессованного камыша, даже трехэтажное здание треста. Сверху

камыш оштукатурен и закрашен мелом.

Камыш — лучший строительный материал для пустынных побережий Каспийского моря, где леса нет, но заросли камыша тянутся на сотни километров. Будущий Кара-Бугаз легче всего построить из камыша. Саманные дома рядом с камышовыми напоминают крепости пещерных людей. Саман — глина, смешанная с навозом. Строить дома из самана в безводной пустыне не легче, чем из леса, — приготовление самана требует много воды.

Во время своей поездки я встретил только одного человека — инженера Купера, — жалевшего, что саманные лачуги умирают. Я познакомился с Купером на наплавном мосту через Урал. Он с завистью смотрел на мальчишек, удивших сазанов. Когда мальчишка, трясясь от волнения, вытащил из грязной воды запыхавшегося сазана, Купер обернулся ко мне и сказал:

— Счастливцы! Как бы я хотел быть мальчишкой и сидеть на солнцепеке с леской! Замечательное занятие!

Куперу я должен быть благодарен: он познакомил меня с знатоком всего Эмбинского района, старожилом пустыни — инженером Давыдовым.

Он ввел меня в кабинет этого инженера, как

вводят непосвященного в комнату чудес. Из-за стола поднялся сухой и высокий человек в белом, похожий на капитана дальнего плавания.

Он строго посмотрел на меня и широким жестом предложил сесть. Седая его голова казалась отлитой из металла. Купер почтительно сел в стороне, испросив разрешение присутствовать при нашей беседе.

Давыдов заговорил. У него был голос густой и внятный. Разглядывая его, я вспомнил о Пржевальском, о старинных исследователях Гоби и Сахары, о генералах, потерявших в песках многотысячные армии, обо всей детской романтике, какой была насыщена пустыня в мои школьные годы, — дромадерах, кожаных ведрах, самумах, лошадиных скелетах около одиноких колодцев.

Давыдов говорил короткими фразами и как бы задыхался, ставя точки.

— Что может дать вам Кара-Бугаз и что может дать Кара-Бугазу Эмба? Прекрасно! Мы можем дать нефть, хотя наша нефть слишком хороша, чтобы пускать ее на топливо. Самые южные наши выходы нефти — Кара-Чунгул, Каратон и другие — лежат сравнительно близко от Кара-Бугаза и Мангышлака.

Я полагаю, что весь восточный берег моря

— Эмба, Мангышлак, Кара-Бугаз, вплоть до Чикишляра — должен превратиться в мощный индустриальный пояс на границе пустыни. Мы даем нефть, Мангышлак — уголь и фосфориты, Кара-Бугаз — мирабилит, серу, серную кислоту, соду и другие химические продукты, Чикишляр — газы, Челекен — нефть и озокерит[6]. Баку должен работать на запад, мы — на восток.

Что мы еще можем дать Кара-Бугазу? Здесь, на Эмбе, возникла идея постройки железной дороги из Александрова-Гая в Хиву. Я прошел весь этот путь с караванами и произвел изыскания. Это будет первая линия, которая прорежет самое сердце пустыни. Она оживит ряд богатств, доныне лежащих мертвым грузом: кушумские луговые массивы, индерскую соль и калий, гурьевскую рыбу, эмбинские нефтеносные земли, Аральское море и Хивинский оазис.

Новая дорога сыграет громадную роль в освоении бесплодных пространств Усть-Урта. Тем самым она должна влиять весьма благотворно на развитие Кара-Бугаза. В пустыне, которую пересечет дорога, воды нет. Дорога будет работать тепловозами.

---

[6] Примечания: 6

Озокерит (иначе: горный воск) — минерал. Хорошо сгорает, дает сильное пламя.

Наконец, третье. Кара-Бугаз будет вырабатывать соду. Для производства соды мы будем снабжать его прекрасным известняком из Ракуши. Ракуша — пристань эмбинских промыслов на море. Мы сделаем из Ракуши порт.

Мы будем строить нефтеперегонные заводы. Для перегонки нефти нужна серная кислота. Кара-Бугаз даст нам ее, и мы будем квиты. Как видите, создание кара-бугазского комбината затрагивает хозяйственные нервы всего побережья, от Эмбы до Атрека. Пустыня получит свое индустриальное сердце…

Давыдов помолчал.

— Давнишние мечты осуществились, — промолвил он и отвернулся к окну.

Я посмотрел на его профиль. Он напомнил мне бронзовые лица полководцев на полустертых римских монетах.

Как-то во время одного из бесчисленных споров с Прокофьевым мы говорили о профессиях, укрепляющих волю. Прокофьев утверждал, что самой сильной волей обладают исследователи. Давыдов был прирожденным исследователем. Общение с пустыней сказывалось в зоркости глаза и спокойной силе голоса. Все начатое Давыдов доводил до конца. В соляных пустошах Доссора

он решил разбить парк. Мысль эта казалась совершенно дикой даже ботаникам. Но насмешки Давыдов встречал с глубоким безразличием.

Два года он возился с умиравшими в едкой земле кустами. Он опреснил землю умелой поливкой и дренажем, и сейчас в Доссоре рабочие ходят по вечерам в «собственный парк». Там можно потрогать рукой давно забытые шершавые ветки и уловить запах листвы.

После утверждения в Москве изысканий железной дороги из Александрова-Гая в Хиву Давыдов подал заявление о приеме в партию.

«Я убедился, — писал он, — что только политика партии может оживить пустыню, над завоеванием которой я работал всю жизнь».

Молчание длилось долго. Давыдов перевел глаза на меня и сказал глухо:

— Не я один отдал всю жизнь пустыне. Но на мою долю выпало быть свидетелем и участником завоевания этих мертвых пространств. Недавно еще Кара-Бугаз наводил суеверный ужас на кочевников и моряков. Даже исследователи не решались обойти его берега. Чем он был в представлении людей из культурных оазисов? Заливом смерти и ядовитой воды, адом. Веками пустыня лежала нетронутая. Веками она копила

богатства. Теперь мы их отнимаем. Мы находим способы превращать самые страшные свойства пустыни в источники жизни. Я говорю о солнце. Его энергией пустыня будет орошена. Есть великий физический закон. Он говорит, что энергия рождается лишь при условии разности температур. Резкие скачки температуры в пустыне в течение одних и тех же суток порождают жестокие ветры. Кара-Бугаз известен как самое бурное место на Каспийском море. Там, собственно говоря, свирепствует непрерывный шторм. Наш промысел Доссор многие называют полюсом ветров. Ураганы Доссора бесплодно расточают миллионы лошадиных сил только на то, чтобы подымать чудовищную пыль. Ветер — это громадная энергия, но до сих пор мы используем ее в жалких размерах. Вот, полюбуйтесь.

За окном скрипучие ветряные насосы с утробным воем качали в арыки уральскую теплую жижу.

— Ветер — его мы называем голубым углем — лучшая энергия для пустыни. Здесь существуют условия для непрерывных и ровных ветров. В безветренные годы пустыня дает все же семьдесят процентов ветровой энергии по сравнению со средним ветреным годом. Вам неизвестна

годовая мощность ветров в Казахстане? Ну что ж, очень любопытная цифра. Двести тридцать миллионов лошадиных сил. В энергетических запасах Казахстана ветер занимает девяносто шесть процентов.

Купер заерзал на стуле.

— Не сочтите меня фантазером, — Давыдов встал, — но ветры пустыни необходимо использовать и для целей транспорта. Я не нашел еще точного воплощения этой мысли, но я представляю себе парусное сообщение в песках, где нет ни растительности, ни поселений, ни гор и ничто поэтому не сможет помешать движению. Солнце, ветер и резкие смены температуры создали пустыню, они же ее и уничтожат. Это не подлежит никакому сомнению. Завтра товарищ Купер едет на наш отдаленный промысел — Макат. Поезжайте с ним, и, я надеюсь, вы увидите много интересных вещей.

Вечером я встретил Купера на теннисном корте. Он принимал мячи, гортанно подсчитывая количество очков. Вокруг корта сидели, поджав ноги, казахи в широких ситцевых штанах розового цвета и одобрительно покрикивали при каждом ловком ударе.

За Уралом Гурьев густо чадил кизяком. Здесь

же, на Бухарской стороне, зажглись молочные огни и над пустыней подымалась медленная луна. Чем выше она подымалась, тем делалась светлее, будто с нее сходила пыль коричневых суглинков.

Купер, увидев меня, бросил игру и подошел. Пока мы беседовали, с нами поравнялся верблюд. Он остановился, надменно разглядывая нас и пожевывая лиловыми губами. Купер взял меня за локоть и отвел в сторону, — оказывается, мы стояли среди дороги.

Верблюд презрительно икнул и торжественно двинулся дальше. Он тащил маленькую телегу. В ней спала казашка с грудным ребенком и громыхала жестяная граммофонная труба.

Мы долго смотрели вслед, пораженные этим зрелищем. Верблюд свернул с дороги и поволок тележку прямо в пустыню.

— Пошел пастись в степь, — объяснил Купер и вздохнул.

Я привык, что многие инженеры, работающие в глухих местах, жалуются на свою судьбу. Как бы ни был жизнерадостен инженер и как бы ни нравилась ему работа, он не упустит случая изобразить себя мучеником, страдающим от отсутствия новых книг, от того, что газеты из

Москвы идут две недели и в кооперативе нет боржома и лезвий для безопасных бритв.

Отбыв эту повинность, он снова придет в хорошее настроение и с жаром начнет рассказывать о своем предприятии.

При этом оно всегда или «лучшее в мире», или «могло бы быть лучшим в мире», если бы Москва не резала кредиты.

Я приготовился выслушать жалобы Купера — и не ошибся.

Директор треста звал Купера «дачником» и «красавчиком». В минуту раздражения он стучал кулаком по столу и кричал, что Эмба в дачниках не нуждается. Угрозам директора никто не придавал значения. Все знали, что в случаях серьезных директор никогда не кричал.

— До моего приезда, — жаловался Купер, — все было тихо. Как только я приехал, так и пошло. Разведка на сто километров в пустыню! В Каратоне промысел затопило во время урагана! Начальника моего укусила фаланга, он скоропостижно скончался, и вместо него назначили меня. Прислали из Баку директора-выдвиженца — страшно вспыльчивый мужчина, черт бы его побрал! — и наконец, извольте радоваться, хотят создать здесь мощный индустриальный пояс.

Уже не центр, а целый пояс!

С этим любителем тишины я ездил в Макат. Сто сорок километров машина прошла в два часа. Тянулись волны едва заметных подъемов и спусков, потом их сменила ровная, как исполинское озеро, степь. Воздух был мутен и напоминал жидкий клей. Коричневые смерчи с тяжелым шумом проносились через дорогу. Суслики горохом сыпались из-под колес. Сухая горечь сводила рот невыносимой жаждой.

Иногда шофер гнал машину прямо по суглинкам и высохшим соляным озерам.

Купер рассказывал, что весной во время редких дождей вся пустыня превращается не в грязь, а в слизь. Машина может работать на полном газу и не двигаться с места.

Я вынужден был слушать болтовню Купера.

— Необходимо издать декрет, — говорил он, — запрещающий уничтожать своеобразные постройки и бытовые черты, если они не противоречат советскому строю. Разнообразие впечатлений делает жизнь полнее, а полнота жизни создает настроение бодрости и подъема. Поэтому надо сохранить кубические восточные постройки, их цвет, их планировку, сохранить арыки на улицах и открыть завод для выделки

восточных изразцов.

Купер договорился до того, что нужно один из старых русских городов, вроде Углича, сделать показательным по старине: засеять его улицы ромашкой и болиголовом, заселить бывшими просвирнями, владеющими, по свидетельству Пушкина, чистейшим московским языком.

Болтовня прекратилась только в Макате. Ураган поднимался белыми языками. Пробивая пелену пыли, шагал караван верблюдов с водой из Доссора. Доставка воды в Макат обходится каждый год в пятьсот тысяч рублей.

Над мелким озером торчал низкорослый лес черных вышек. Серый зной прожигал до костей. Глубокие насосы толчками выбрасывали из скважин пенистую нефть. Здесь кончалась нефтяная река или нефтяное море, истоки которого открыл Прокофьев.

Из Маката мы проехали в Доссор, а оттуда вернулись в Гурьев в моторном вагоне по узкоколейке.

Розоватый дым курился над пустыней. На разъездах вокруг вагона стояла тишина. Изредка слышалось слабое посвистывание сусликов.

Ночь упала внезапно и накрыла пустыню громадной звездной шапкой.

Впереди вагона лилась река дымного электрического огня. Запахом полыни и свежестью ночи сквозило в широкие окна. Я сказал Куперу:

— Вы говорили о своеобразии Востока. Что может быть своеобразнее этого моторного вагона в ночной пустыне!

— Я вас понимаю, — многозначительно ответил Купер. — У вас начинается то же заболевание, что и у Давыдова. Оно называется «пустынной болезнью».

В этот момент я окончательно убедился, что Купер — типичный «дачник» в нашей эпохе.

— Когда построена эта дорога?

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году. И строил ее Давыдов.

Уезжая из Гурьева, я унес в своей памяти образ седого полководца пустынь — Давыдова, бросающего в солончаки первые светоносные точки социалистической индустрии, и образ «дачника» Купера.

Горы из розового мела

Поездка на Мангышлак стояла в маршруте Прокофьева на последнем месте. Она завершала движение по спирали вокруг залива, заканчивала изучение районов, неразрывно связанных с Кара-Бугазом.

Только после нее я, по словам Прокофьева, имел право попасть в Кара-Бугаз.

Поездку на Мангышлак можно было бы назвать путешествием в страну звезд.

Я познакомился в форте Урицком (бывшем форте Александровском) с партийцем Васильевым. Как и Давыдов, он готовился развенчать жестокие легенды о пустыне и превратить ее в помощницу социалистической индустрии. Он изучил материалы экспедиций (Андрусова, Нацкого и Баярунаса) и составлял краткие и точные планы первоначального использования открытых этими геологами богатств. Он думал о новых дорогах в горы Кара-Тау, где раскаленный воздух окружает залежи антрацита, нефти, фосфоритов, меди и марганца широким защитным поясом.

В свободное время он любил читать журнал «Мироведение». Там из месяца в месяц отмеча-

лась огромная, но не замечаемая нами жизнь неба: появление новых звезд, падение метеоритов, гипотезы о новых солнечных системах и ход работ по изучению космических лучей.

Я думаю, что на это занятие Васильева натолкнуло мангышлакское небо. Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из космоса, летят в одну точку земного шара — на мертвый полуостров Мангышлак.

Планеты, понятно, были по-старому далеки, но впечатление стремительно падающего неба осталось у меня от Мангышлака до сих пор.

Поездка по полуострову была непродолжительна. Она заняла всего шесть дней. Я ездил вместе с Васильевым. Мы видели песчаные моря, замкнутые на горизонте в берега отвесных розовых и белых гор. Горы подымались одним порогом. Вершины их были такими же плоскими, как и пустыня у их подножий.

Мы видели пласты каменного угля, лежавшего прямо на земле. До 1914 года этот уголь добывало пароходное общество «Кавказ и Меркурий», но потом бросило: перевозка угля обходилась слиш-

ком дорого. Вся область угольных залежей богата родниками пресной воды. В урочище Тюбеджик мы видели пески, спекшиеся от окаменевшей нефти. Пески пахли гудроном, как пахнет усовершенствованная московская мостовая.

Я изложил Васильеву теорию Прокофьева. Нефть на Мангышлаке, по-моему, — ее блестящее подтверждение.

Васильев ничего не ответил.

Волгарь из Черного Яра, человек молчаливый и очень точный, он избегал скороспелых выводов и преждевременных обобщений.

— Возможно, — промолвил он. — Но сейчас меня больше занимают фосфориты.

Залежи фосфоритов находились у подножия гор из розового мела. Горы эти, изрытые глубокими оврагами, напоминали издали обнаженный человеческий мозг. Я слышал от одного из исследователей Мангышлака, что если бы распрямить эти складки, то площадь гор увеличилась бы в двести раз.

Горы подымались розовыми куполами и казались очень легкими, будто состояли из пористых исполинских губок. У их подножия на песке валялись каменные желваки, шары и лепешки. Васильев толкнул одну такую лепешку ногой:

— Вот фосфорит.

Некоторые шары были больше метра в диаметре, и мы прятались в их тени от солнца.

Шел третий час дня, самый тяжелый, когда зной сгущается до состояния сиропа. Мы решили спастись от жары в продольной долине. Там, по словам Васильева, находился оазис.

Я усмехнулся, представив себе жалкий колодец с двумя ведрами воды и кустами колючек вокруг. Какой мог быть оазис под этим испепеляющим небом!

Мы ехали по сплошным россыпям фосфоритов, прошли ущелье в горах, поднялись на гребень, и глубоко под нами открылась долина, заросшая квадратами тяжелого проса. По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары, и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. В тени чинар белел саманный кубический дом.

Васильев искоса посмотрел на меня. Лошади, чуя водопой, ржали, сердясь на неторопливых всадников. Я оглянулся назад. Пустыня подстерегала этот клочок тучной и зеленеющей земли. Пустыня казалась отсюда гигантской шкурой павшего верблюда. Кусты чия торчали клочьями не успевшей вылинять шерсти. Воздух над землей блестел, как глицерин.

На спуске мы снова попали в обширные поля фосфоритов.

— Вот вам и сырье для Кара-Бугаза. — Васильев остановился около одного из шаров, расколовшегося на две совершенно одинаковые части. Внутри были видны кристаллы. Они тянулись узкими лучами от центра шара к его поверхности. — Кара-бугазский комбинат будет изготовлять серную кислоту. Если обработать этой кислотой фосфорит, то получится великолепный суперфосфат. Мы проведем дорогу к морю, начнем вывозить фосфорит и отправлять его в Кара-Бугаз. У нас в Средней Азии для удобрения хлопка идет смесь суперфосфата и хлопковых жмыхов. Она называется пахтапури.

От Васильева я узнал о горах Таур-Кыр и о весенних мощных потоках воды в оврагах Карын-Ярык. Горы Таур-Кыр лежат вблизи восточного берега Кара-Бугаза, южнее мыса Кулан-Гурлан. В этих горах побывал один только человек — геолог Лупов. Здесь он нашел залежи каменного угля на площади в тысячу шестьсот квадратных километров, россыпи фосфоритов и много небольших пресных источников.

Геолог Баярунас пытался пройти к Таур-Кыру с севера, из Мангышлака, но рабочие отказались

идти с ним в эти неведомые горы.

Залежи угля в Таур-Кыре — самые близкие к кара-бугазским мирабилитовым промыслам, но до сих пор они толком не исследованы.

Карын-Ярык — исполинская впадина, тянущаяся от гор Кара-Тау к Кара-Бугазу. По ней должны стекать в залив все весенние воды с гор Кара-Тау, но часть вод застаивается и образует непроходимые соляные болота, а часть стекает в многочисленные воронки в почве.

Потоки весенних вод достигают исключительной мощности. Судя по их следам, они бывают в сто пятьдесят метров шириной и в два метра глубиной. Земля, полная пустот, всасывает эти водопады, засоляет их или придает воде слабительные свойства и выбрасывает кое-где эту воду на поверхность в виде небольших родников.

Мы подъехали к саманной мазанке и поздоровались с женой молодого казаха — стремительной и сухой женщиной, носившей поверх сапог кожаные, вышитые серебром туфли, — и с ее отцом. Старик носил редкую бороду, торчавшую по сторонам подбородка.

— Хабар бар?[7] — спросил старик.

---

[7] Примечания: 7
Что нового? *(казах.)*

Мы напились холодной вкусной воды, выполнили обязанность гостей — рассказали городские новости — и заночевали у казаха.

Всю ночь пустыня не давала мне спать. Звезды осколками льда таяли на черном небе. Талая вода сыпалась туманом на землю и превращалась в смутный свет. Великие реки Млечного Пути вливались в ночные пески Карын-Ярыка, простиравшиеся на юг до самого Кара-Бугаза.

Вода сонно шепталась в арыке. Васильев, мучаясь от блох, рассказывал мне, что расстояние от нашего Солнца до солнца ближайшей к нам солнечной системы — звезды Альфа Центавра — в двести пятьдесят тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Я удивлялся и дремал. Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что звенит не вода в арыке, а свет звезд, несущийся к Земле триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход «Чичерин», и сквозь его прозрачное днище были видны тысячи рыб и медуз, падавших дождем на морское дно. Прокофьев рассказывал мне, что рыбы ложатся на дно тугими слоями и через тысячи лет превращаются в нефть.

Окончательно я проснулся к рассвету. Голу-

бизна лилась с востока. Звезды пожелтели и казались мелкими плодами, ссыхающимися от приближения солнца. Я вышел и глотал на пороге воздух залпом, как пьют холодную воду.

Лошади смотрели на меня и тихо ржали. Должно быть, они здоровались со мной и просили не торопиться с отъездом.

Ослепительное меловое плоскогорье Удюк развернулось перед нами на обратном пути как белое твердое море. Мы медленно въехали в мел и вытащили черные автомобильные очки. В этих местах солнце было жестоким испытанием для глаз.

Материалы для истории залива

Лейтенант Жеребцов обошел берега Кара-Бугазского залива в 1847 году.

Старая Россия не проявляла интереса к своим богатствам. Только в 1897 году министерство торговли и промышленности раскачалось и отправило в Кара-Бугаз экспедицию во главе с гидрологом Шпиндлером. Экспедиция выяснила, что залив является величайшим в мире источником глауберовой соли.

С тех пор началась пестрая история залива. Она нигде не записана. Ее приходится восстанавливать по статьям геологов, по рассказам моряков и туркмен-фелюжников, по докладам начальников экспедиций, по забытым проектам, судовым журналам кораблей и другим немногочисленным и противоречивым источникам.

Вокруг Кара-Бугаза закипала золотая лихорадка.

В конце XIX века в Петербурге был созван всемирный геологический конгресс. На нем впервые геологи узнали о богатствах Кара-Бугаза.

Вся Европа и Америка жили тогда, как живут и сейчас, искусственным сульфатом (так назы-

вается мирабилит, освобожденный от воды). Для изготовления сульфата были построены тысячи заводов. Поэтому сведения о Кара-Бугазе ударили в гущу сульфатных промышленников, как тяжелый бризантный снаряд. Тотчас же был составлен проект мирового химического комбината на острове Челекен. Комбинат должен был работать на кара-бугазском сульфате. Во главе комбината стали французские, английские и бельгийские капиталисты.

Но царское правительство отказалось сдать Кара-Бугаз и Челекен в концессию.

Три года шел торг, но кончился ничем.

В 1909 году купчиха Князева послала в Кара-Бугаз собственную экспедицию. Богатства Захария Дубского, неограниченного владетеля Мангышлака, не давали покоя этой завистливой женщине.

Естественно, нашлись «ласковые» инженеры, согласившиеся за приличную плату «присоединить» Кара-Бугаз к владениям Князевой и взять от ее имени заявку на все западные и юго-западные берега залива.

Но Князева опоздала. Гильзовый фабрикант Катык и акционерное общество «Айваз» уже захватывали лучшие куски берега, куда прибой

выбрасывал больше всего мирабилита. Они взяли в банках солидные куши на переработку природных богатств залива. Деньги эти пошли на биржевые махинации. Добытые для отвода глаз жалкие тысячи пудов мирабилита лежали и каменели на берегах.

От экспедиции купчихи Князевой на берегах Кара-Бугаза остались засыпанные песком и съеденные солью зеленые лодки.

Для плавания в заливе начальник этой экспедиции искал в Баку мелкосидящие пароходы. Таких пароходов было только два. Один принадлежал подозрительной пароходной компании «Маньчжурия», другой — не менее темным дельцам братьям Ашуровым. «Маньчжурия» и Ашуровы решили обобрать Князеву как липку и заломили за аренду пароходов фантастические цены. Пришлось идти в залив на туркменских лодках, взяв в качестве лоцмана бывалого человека — казанского татарина.

Сотрудники экспедиции Князевой — студенты — пересекли залив на лодках по нескольким направлениям. Они задыхались на берегах, отравленных сероводородом, переходили вброд мелководные заливы, где воды было почти по косточку, но мирабилита не нашли: стояло жаркое

лето, и весь мирабилит растаял в теплой воде.

Но все же экспедиции, предпринятой на деньги Князевой, удалось выяснить, что мирабилит обильно осаждается зимой, когда каждый предмет, погруженный в воду залива, покрывается кристаллами мирабилита. Экспедиция предложила самый совершенный, как ей казалось, способ добычи мирабилита со дна залива — вычерпывать его простыми мешками, поставила заявочные столбы, огородив владения Князевой, и уехала.

В журналах этой экспедиции впервые было сказано, что в пятидесяти километрах от восточного берега залива, у подошвы гор Таур-Кыр, есть залежи каменного угля. Сотрудники экспедиции хотели обследовать их, но летом ни один туземец не захотел сопровождать их в горы.

Вскоре началась первая мировая война, и Кара-Бугаз был забыт. Только редкие кочевники появлялись зимой у его свинцовых штормовых пространств. Но и они не задерживались на угрюмых берегах и уходили дальше, к Красноводску.

Залив бушевал в одиночестве. По туркменским зимовкам говорили, что русские отшатнулись от его проклятой воды и не могли извлечь из нее ничего полезного.

В 1920 году Владимир Ильич Ленин поставил вопрос об использовании богатств Кара-Бугаза. Было отпущено сорок тысяч рублей золотом на снаряжение экспедиции. Она должна была выяснить способы добычи мирабилита и после этого немедленно начать добычу.

Во главе экспедиции стал геолог Подкопаев. Научные результаты этой экспедиции были огромны, практических же результатов она почти не дала. Неопытный инженер набрал в Астрахани многосемейных рабочих и привез их в пустыни Кара-Бугаза. Запасов продовольствия было мало. Их съели раньше, чем успели наладить добычу.

Рабочие разбежались.

Научная часть экспедиции Подкопаева работала в заливе три года. Она прибыла в залив на пароходе «Нижний Новгород» в сопровождении двух военных баркасов: «Шаумяна» и «Перебойны».

Подкопаев определил, что ежегодно в заливе оседает очень много мирабилита. Залежи были признаны величайшими в мире.

Мирабилит в заливе начинает кристаллизоваться в половине ноября, а к половине марта кристаллизация прекращается и начинается

обратный процесс — растворение мирабилита в воде. В связи с этим мирабилит был назван «периодическим минералом».

В Кара-Бугазе, кроме мирабилита, было найдено много хлористого магния и хлористого натрия (обыкновенной поваренной соли).

Проникнуть в Кара-Бугаз Подкопаеву было очень трудно. Мешал капризный бар, перегораживавший залив во всю ширину. Во время штормов на баре вздымались буруны, во время штилей был ясно виден стремительный перепад воды с песчаных мелей в глубины залива. На баре цвет воды резко менялся: морская синева соприкасалась со свинцом.

Баркас «Перебойна» со своей отчаянной командой ухитрился на боку перелезть через бар и обежал северные берега залива.

Экспедицию застал нэп. Пошли слухи, что в Баку сотнями тонн скупают соду. В заливе неожиданно появилось плоское, как клоп, и черное от копоти судно. Оно скрежетало расшатанной машиной и выпускало на воздух половину пара из котлов.

Буйная команда неведомого судна навалила полные трюмы сульфата и после частой стрельбы пачками по диким гусям смылась из залива в

Баку. Там сульфат был продан под видом соды. Предприимчивых моряков судили, и рейс неведомого судна был для него первым и последним.

В 1923 году у мыса Кургузулл, что значит по-казахски «Кривая девушка», появилась партия рабочих под начальством студента в рваной тужурке.

Партия была прислана стекольным заводом «Дагестанские огни». Завод останавливался из-за недостатка сульфата, тогда как величайшие его залежи лежали рядом, в Кара-Бугазе.

У мыса Бек-Таш завод построил пристань и каменный дом. Из Кургузулла сульфат подвозили к пристани на верблюдах и туркменских лодках и перегружали на пароходы.

Тысяча девятьсот двадцать третий год можно считать первым годом эксплуатации кара-бугазских богатств. Студент в рваной тужурке поселился в новом доме в Бек-Таше и так и остался в Кара-Бугазе до теперешних дней.

Сульфат — это сухая глауберова соль, настолько белая, что летом, при сильном солнечном свете, на нее нельзя смотреть, не рискуя повредить глаза. Мирабилит — это та же самая глауберова соль, но насыщенная водой. В мирабилите девять частей воды и одна часть глауберовой соли.

Промышленности нужен сульфат. Нет никакого смысла возить мирабилит. Это значило бы возить воду.

Поэтому мирабилит сушат, или, как говорят химики, обезвоживают. Жаркий климат Кара-Бугаза и сухие постоянные ветры очень помогают этой сушке.

Мирабилит раскладывают низкими плоскими кучами, и через два дня на нем образуется слой тончайшего сухого сульфата. Сульфат смело сгребают, не боясь перемешать с мирабилитом, так как между сульфатом и мирабилитом образуется твердая корка. Потом корку разрыхляют, и мирабилит снова сохнет, выделяя новый пласт сульфата.

Такая сушка тянется долго и всецело зависит от кара-бугазских капризов. Стоит подуть ветру, и облака сульфата уносятся в пустыню, застилая все вокруг сверкающей горькой пудрой.

Пока студент вывозил сульфат в Дербент, в Кара-Бугазе появился новый хозяин — «Киркуулисоль». Эта организация занялась заготовкой поваренной соли в громадном соляном озере Куули, лежащем между Кара-Бугазом и морем, и попутно добычей кара-бугазского сульфата.

Сотрудники «Киркуулисоли», набранные неве-

домо где, славились по всему побережью как люди предприимчивые и не очень чистые на руку. Они заготовляли экспортную соль для Персии. Дальнозоркие кочевники-туркмены начали замечать персидские фелюги, грузившие соль по ночам, подозрительных людей, внезапно появлявшихся на промыслах и так же быстро исчезавших, дым парохода на горизонте, никогда не приближавшегося к берегу, и много других странных вещей. По этим признакам туркмены — жители пограничных мест — тотчас же заключили, что соль несомненно воруют.

Вскоре был пойман пароход «Армения», перегружавший ночью в открытом море соль из своих трюмов в персидские фелюги. Сотрудники «Киркуулисоли» занимались контрабандой в фантастических размерах. Контрабандисты были пойманы.

На этом бесславная история «Киркуулисоли» окончилась. Ее сменила «Карабусоль» во главе с отважным моряком Болонкиным. Так же как и «Киркуулисоль», эта новая «соль» предпочла заняться добычей поваренной соли из озера Ала-Тепе, не желая возиться с сульфатом.

Наконец, осенью 1926 года в залив приехала правительственная комиссия и положила предел

кара-бугазскому хаосу. Комиссия обнаружила на берегах залива свыше ста пятидесяти тысяч тонн сульфата, заготовленного всеми феерическими хозяевами залива, столь стремительно канувшими в небытие.

Новой организации — «Туркменсоли» — было поручено немедленно начать планомерную добычу сульфата на южном берегу залива, около мыса Умчалл. Добыча началась и шла в небольших размерах до 1929 года, когда был создан трест для эксплуатации богатств залива — «Карабугазсульфат». Первый период в жизни залива отошел в прошлое.

Трест «Карабугазсульфат» пришел как полновластный хозяин. Он включил Кара-Бугаз в общий план индустриализации восточных окраин, в смелый план завоевания пустынь.

Старый врун Бекмет

Ты увядал, но сейчас расцветаешь, Хорезм!

Современная туркменская песня

Бариль пришла в отчаяние. Ни о какой работе с землекопами-туркменами нельзя было думать, пока на северных промыслах «Карабугазсульфата» обретался старикашка Бекмет. Сегодня он опять сорвал ей антирелигиозную беседу.

Вечером покрытые кислой пылью туркмены собрались около кибиток. Горели костры. Ветер дул на залив. Белый дым полыни, сгоравшей на огне, стлался над водой слоистым облаком.

Сквозь дым сверкали молочные, неясные звезды. Тяжелый прибой, устав выбрасывать липкую пену, стихал у песчаного берега.

Единственный пес на промыслах — Хаким — бегал по берегу и долго, до хрипоты лаял на юг. Там глухим и мрачным огнем горело зарево восходившей луны. Хаким ненавидел две вещи — луну и паровой катер, который часто приходил к ним на северные промыслы из залива, где обосновался трест. Хаким ложился на пристани

и рычал на катер, когда тот дергался на волне и сотрясал деревянный настил.

В этот день собрались все, даже Мурад, бывший почтальон из Гасан-Кули.

Мурад болел ревматизмом — очень редкой болезнью в пустыне. Он прославился этим и был окружен сиянием своей исключительности, как всегда бывает с людьми, носящими в себе загадочную болезнь. Ревматизм для туркмена был так же необычен, как для европейца пендинка или решта.

Я помню, как в пыльной базарной щели в Красноводске я битый час смотрел, как вытаскивали из ноги великана туркмена длинного червя — решту, тонкого, как конский волос. Корчагин стоял рядом со мной и поражался. У себя в Костроме он не подозревал о таких болезнях.

Червя осторожно наматывали на спичку. Когда червь начал идти туго, спичку вместе с червем прибинтовали к ноге, оператор хлопнул больного по рыжей пыльной спине и отпустил на денек погулять. Все лечение состояло в том, что, зацепив головку червя спичкой, его очень осторожно в течение недели выматывали из-под кожи до конца. Если червь обрывался, то все лечение шло насмарку.

Примерно такое же впечатление производила на туркмен болезнь Мурада. Они садились вокруг него на корточки и заставляли сгибать и разгибать колено. Под коленной чашечкой слышался громкий треск, и передние зрители отползали, валясь на задних, и испуганно чмокали. Бекмет посоветовал Мураду выпустить из-под языка полную пиалу крови, и, если бы не гневное вмешательство Бариль, Бекмет пустил бы кровь бывшему почтарю своей щербатой бритвой.

История болезни Мурада так заинтересовала Бариль, что она даже написала об этом заметку в «Туркменскую искру». Она требовала немедленно принять меры, чтобы впредь такие случаи не повторялись.

Хоробрых, назначенный после постройки дороги из Красноводска в Кара-Бугаз заведующим северными промыслами треста, прочитав заметку, сказал Бариль:

— Чтобы избавить гасан-кулийских почтарей от ревматизма, надо включить в план будущего года землечерпальные работы в Гасан-Кули на полтора миллиона рублей. Вот что может получиться из маленькой газетной заметки!

— Ой, эти мне инженеры! — воскликнула Бариль. — Эти мне инженеры, что считают всех

круглыми дураками, кроме себя!

История Мурада была чрезвычайно проста. Он служил в Гасан-Кули почтальоном. Пароход останавливался около Гасан-Кули в двенадцати километрах от берега. Ближе подойти было нельзя из-за мелководья. Чтобы добраться до парохода, приходилось полтора километра проехать по морю на арбе, после этого пересесть на плоскодонную лодку — кулаз — и плыть к пароходу.

Мурад выезжал к пароходу четыре раза в месяц. Никто не знал, да и не мог знать, когда пароход придет и на сколько он опоздает. Мурад становился на якорь на рейде, вынимал скудную еду и закусывал.

Наступал вечер, наступала ночь, а парохода все не было. Тогда Мурад ложился спать на дно кулаза, пока его — обычно поздней ночью — не будил пронзительный пароходный гудок.

Мурад получал почту, греб к берегу, но лентяй арбакеш всегда уезжал, не дождавшись парохода. Мурад, навалив на плечи кожаные мешки с почтой, брел по колени в воде полтора километра до берега.

Мурад бродил с почтой по ночному морю двадцать лет и летом и зимой, когда ледяная вода

сводила ноги до судорог.

Один раз он уронил мешок в воду, и часть писем подмокла.

В тот вечер на антирелигиозную беседу пришли и молодой Гузар — бывший спутник Прокофьева, и старый червовод из Фирюзы, имени которого никто не знал. Червовод разводил в былое время шелковичных червей. Но однажды у него не хватило тутовых листьев — главного сырья для его кропотливого производства, — умерла старуха-жена, и червовод пошел бродить по Туркмении, разнося повсюду свою мудрость бедняка.

В первых рядах, конечно, сидел Бекмет. Он радостно кивал Бариль, тараторил и толкал соседей, устраиваясь поудобнее. На лице его разливалось блаженство. Он с нетерпением ждал, что скажет Бариль. «Старый притворщик», — подумала Бариль и начала говорить.

Помогал ей Гузар, хорошо знавший русский язык. Нужен был умелый подход. Бариль говорила не о том, что Аллаха нет, а просто и коротко объясняла истинное значение всяческих чудес — грома, молнии, автомобиля и парохода. Туркмены слушали, открыв рты.

Бариль подумала, улыбнувшись, что это не собрание рабочих-землекопов, а детский сад.

Действительно, сожженные солнцем, отважные мужчины, знавшие в пустыне каждый след и каждый холм, громко смеялись от восхищения и хлопали друг друга по шапкам, поднимая облака удушливой пыли.

Тонкие коричневые руки, умевшие бить из ружья без промаха на полкилометра, они прятали в рукава рваных халатов.

Бариль еще не кончила, но Бекмет перебил ее и торопливо сказал:

— Автомобиль, эту чертову арбу, выдумал человек, хвала ему, но вот чего человек не выдумал, так это веселящего дерева, носящего имя «кассак». Такое дерево могло быть создано только Аллахом.

Слушатели обернулись к Бекмету, и глаза их заблестели.

Бекмет начал одну из своих историй.

— Было это в ауле Варун-Кала, — говорил он, не обращая внимания на недовольство Бариль. — Ты тоже слушай. Это случай из жизни, и я сам был его очевидцем. Я остановился в этом ауле по пути в Мекку. Я шел в Мекку потому, что я не хуже дервишей, которые слизали свою святость вместе с пылью с гроба пророка. Тогда по аулам ездили еще царские чиновники, а в Хиве сидел

шах Сейид-Асфендиар.

Русские чиновники собирали деньги. Давай каждый год пять рублей, а через двадцать лет тебя за это повезут пароходом в Медину, а оттуда ты можешь с толпой правоверных идти в Мекку. Пароход будет тебя ждать и не уйдет, пока опять не соберет столько людей, сколько овец в тесном загоне. Я давал пять рублей, потому что я хотел быть святым — хаджи — и носить зеленую чалму на своей глупой голове.

И вот я получил бумагу и билет на пароход и по пути в Ашхабад заночевал в ауле Варун-Кала, у человека с рыжей головой, по имени Хушет. Я рассказывал ему весь вечер о Мекке и Йемене, где цветет кофе и в горах трепещут листьями высокие пальмы. Сердце правоверного не может выдержать таких соблазнов. Зависть ко мне грызла Хушета весь вечер. Потом приехал ночевать еще один гость, на хорошей лошади и в новенькой арбе.

Отходя ко сну, Хушет сказал: «Я подумаю. Может быть, я тоже поеду с тобой в Мекку, чтобы увидеть вечернюю звезду прямо над черным камнем пророка». — «Ты сделаешь доброе дело», — ответил я и уснул.

Я проснулся ночью и услышал, что кто-то ходит

около моей постели.

«Кто там?» — спросил я спросонок.

«Спи, — ответил Хушет. — Я ищу огня, чтобы закурить наргиле».

Утром он встретил меня радостный и сказал, что он тоже едет в Мекку, но догонит меня в Красноводске. И действительно, он догнал меня в Красноводске. И мы вместе совершили великий путь, молясь и почти не принимая пищи.

Ай, что мы видели! Мы видели города, где столько людей, сколько песку в бархане, видели Стамбул и плыли по многим морям. В Мекке мы ночевали в караван-сараях с паломниками из Белуджистана, Индии и Триполи. Я все ночи не спал, слушал шум толпы, пение молящихся и рев сотен верблюдов.

Пять раз я удостоился счастья поцеловать черный камень пророка.

На третью ночь в наш караван-сарай пришел человек из Омана и принес в мешке сухие ветки с маленькими сморщенными плодами.

Он кричал, что продает веселящее дерево — кассак, — дабы дух паломников радовался перед лицом Аллаха.

Мы купили плоды этого дерева, и каждый проглотил по четыре зерна. Мы почувствовали

великую радость, будто напились русской водки. Мы хохотали, плясали и рассказывали друг другу соблазнительные истории. Только к утру мы уснули крепким сном, и какой-то бродяга — да упадет проклятие на весь его черный род! — стащил мои чувяки и мешок с хлебом и маслинами из-под головы Хушета.

Мы вернулись домой. На обратном пути я благословлял Хушета, не пожалевшего отдать свои последние деньги на путешествие к гробу пророка.

Но как только мы вошли в аул Варун-Кала, явились полицейские, арестовали Хушета и повезли в Ашхабад. Я изумлялся, не зная, за что так грубо и недостойно обошлись с человеком, носившим имя хаджи и искупившим былые грехи постом и молитвой.

Что же я узнал в тот же день? Через месяц после нашего отъезда жена Хушета, тихая и скромная женщина, рассказала властям, что Хушет убил ночью того гостя, что приехал на хорошем коне, закопал его труп за аулом, коня и арбу продал в Ашхабаде и на эти деньги и совершил свое паломничество ко гробу пророка. Вот до чего могут довести человека благоговение и вера!..

Бекмет кончил, и нельзя было понять, говорит

ли он серьезно или смеется. Бариль внимательно посмотрела на него. Старик был не так уж прост, как ей казалось раньше.

Она встала от костра и пошла в дощатый тесный дом, где Хоробрых отвел ей угол за холстинной перегородкой. Гузар шел с ней и смеялся: забавные вещи рассказывает старик!

— Веселый старик, очень веселый старик! — все время повторял он. — Тебе сильно помочь может.

«Хороша помощь! — с горечью подумала Бариль. — Черт бы его унес с его помощью!»

Хоробрых и его помощник Казанский, белобрысый техник, загорелый до того, что пробор на его голове казался кровавым шрамом, предпочитали спать на воздухе. В доме обитали фаланги и скорпионы. На берегу их было меньше: нечисть эта не выносила сульфата.

Хоробрых и Казанский стелили бурки на плоских кучках сульфата и спали спокойно, если их не будил шторм, начинавший глухой орудийный обстрел побережья и вздымавший самумы соли. Верблюды поворачивались задом к ветру и ревели. Хоробрых и Казанский вскакивали, ругались и, плача от едкой пыли, прятались в дом.

Бариль тоже спала на сульфате. Ночью он по-

блескивал синеватым огнем. Сульфатное ложе сияло подобно хрустальной постели из прочитанной еще в детстве и забытой сказки.

Хоробрых курил и говорил густым голосом:

— Надо заставить Мурада выкупаться раз десять в заливе, и от его ревматизма останется одна слава по кочевкам. Товарищ Бариль, вы бы занялись этим, иначе его произведут в туркменского святого и получится совсем неудобно.

— Мне надоели эти постоянные шуточки, — миролюбиво отозвалась Бариль. — Конечно же, я его вылечу назло вам. Я давно это решила.

Хоробрых долго не спал. Завтра нужно было начать работы по прокладке туннеля. Рабочих было мало, да и те боялись бить ломами мергель.

Старый туркмен, прозванный Хоробрых «царем Менелаем», раздувал слухи, что в мергеле сидит злой дух и будет жестоко мстить каждому, кто дойдет до сердца горы.

Хоробрых решил с раннего утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. За каждую завербованную кибитку он назначил Гузару плату в десять рублей.

На северных промыслах трест решил, по опыту Махачкалы, начать бассейнизацию добычи сульфата.

Для этого выбрали высохшее озеро и назвали его «Озеро № 6» (у инженеров под всеми широтами одинаковая болезненная страсть нумеровать все и вся).

К озеру надо было прокопать из залива канал, потом пробить через небольшую гору туннель длиной в сто тридцать метров и затем осенью накачать по этому каналу в озеро кара-бугазскую воду до трехметрового уровня. Эта вода должна была дать осадок в пятьдесят сантиметров чистого мирабилита на площади в квадратный километр. Жаркие ветры и солнце ежедневно должны были превращать верхний слой мирабилита на озере в пленку сульфата толщиной в три сантиметра.

Сульфат в озере лежит ровно, поверхность его плоская, как стол, и потому собирать его можно машинами. Трест заказал сборочные машины и начал нажимать на Хоробрых, чтобы поскорее закончить работу.

Канал был готов раньше назначенного срока, хотя первое время Казанский измучился, обучая вчерашних кочевников держать лопату. Они всё пытались держать ее тыльной стороной от себя, и жалко было смотреть, как они мучились, овладевая этой дьявольской машиной. Но потом

дело пошло.

Канал уперся в гору. Утром «царь Менелай» явился к Хоробрых и прошамкал, что рабочие, будучи правоверными, отказываются разрушать гору, иначе Аллах покроет всю степь черной корой и духи гор сметут в воду и потопят кибитки с людьми, верблюдами и жалким скарбом.

— Старик, — сказал Хоробрых оглушительным голосом, — собери почетных людей в своей кибитке. Я приду, и мы будем говорить о духах гор. Ты, говорят, знаешь слова от проказы, я знаю заклинание от духов гор. Каждому Аллах дает свое: ящерице — хвост, ослу — уши, а умному — слово, спасающее от бедствий.

«Менелай» ушел. Бариль считала, что такие «фокусы» Хоробрых ни к чему не приведут. Казанский предложил обойтись без рабочих и рвать гору динамитом. Хоробрых рассмеялся:

— После первого же взрыва все кибитки снимутся, помчатся в пустыню, и вы их потом не заманите сюда, даже если притащите баржу с нарзаном. Нужен подход. Я среднеазиатец, положитесь на меня.

Прежде всего Хоробрых приказал отнести в кибитку «Менелая» тюбик кок-чая. Без этого кислого, пахнущего аптекой напитка не могло

обойтись ни одно сложное дело. Чай просветлял мозги и разгонял излишние страхи.

Но днем случилось событие, едва не испортившее все дело. Мурад внял уговорам Бариль и выкупался в заливе. Сейчас он лежал в кибитке, испуская отчаянные крики. Его истерзанное насекомыми тело огнем жгла едкая кара-бугазская вода.

Туркмены волновались. Бекмет уже приступил к умирающему с зазубренной бритвой, готовясь пустить нечистую кровь, но в этот момент появилась Бариль.

— Прочь! — крикнула она так повелительно, что Бекмет уронил бритву и глаза его забегали от страха. — Прочь, бездельник! Что это за мода резать живых людей!

Она подняла ногу Мурада в ситцевой штанине, где на розовом фоне цвели лиловые пионы, и несколько раз быстро согнула в колене. Туркмены отшатнулись, затаив дыхание. Они ждали оглушительного треска, но не услышали ничего. Тишина была столь глубокой, что было слышно, как жевал верблюд, лежавший в ста шагах от кибитки.

Мурад перестал стонать.

— Ну что? — с торжеством сказала Бариль. —

Принесите ему ведро пресной воды и дайте обмыться.

Ужас пробежал по лицам туркмен. Закон пустыни, позволявший мыть только лицо, руки и ноги, был низвергнут этой женщиной, носившей на носу стеклянную машинку.

Никто не двинулся, кроме старухи Мурада. Она принесла ведро воды. Все вышли из кибитки и слушали с трепетом, как Мурад, охая и всуе произнося имя пророка, плескался над чугунным котлом.

Потом он вышел, свежий и побледневший от первого в жизни мытья, торжественно прошел к Бариль и поклонился ей в пояс, прижав руки к груди. Он чувствовал себя как юноша, впервые укравший невесту.

— Хоробрых, — смеясь, сказала Бариль инженеру, собиравшемуся идти на совет старейшин, — сегодня у нас на промыслах началась Октябрьская революция. Важно сдвинуть кочевников с мертвой точки, а потом пойдет легко.

— Я же вам всегда говорил, — ответил Хоробрых.

Как ни напрягала Бариль память, она не могла припомнить, чтобы инженер говорил что-нибудь подобное.

Совет старейшин длился два часа. Сначала пили чай и говорили о плохих травах в Адаевской степи и о том, что песок совсем занес старые караванные дороги в Кунград.

Хоробрых не участвовал в разговоре, но тревожно прислушивался. Снаружи доносились странные звуки. Казалось, туркмены снимают кибитки.

Потом Хоробрых говорил о туннелях и сравнивал их с самыми невинными колодцами в горах. Он взывал к прославленной храбрости туркмен, долго рассказывал, как из сульфата будут делать великолепный прозрачный камень — стекло — и муку для удобрения хлопковых полей.

Туркмен Тайбазар встал первым:

— Я пойду. Давай железную палку.

Вторым встал казах Ныязов.

— А заклинание? — вскричал Бекмет разочарованно.

Чтобы успокоить его, Хоробрых прочел несколько строк первых пришедших ему на память стихов:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана.

Старики погладили бороды и закивали бараньими шапками.

Хоробрых вышел и длинно выругался. Бариль считала, что Хоробрых перегнул палку и поступает как сумасшедший. Хоробрых пожал плечами.

— Пустое! Почему вы охраняете старых дураков от невинных насмешек?

Эти азиатские методы действий вызывали у Бариль раздражение, но вскоре она перестала негодовать: у подножия горы глухо застучали ломы.

— Мы раздавим пустыню, как фалангу, — промолвил Хоробрых и пошел к горе.

Начинался август. Он пылал невыносимым пожаром. Жара низвергалась сверху белыми, как соль, широкими реками. Пыль залепляла поры на коже. Люди не могли потеть, и от этого ощущение духоты доходило до тяжелых головокружений. Кровь густела, и Хоробрых начал чувствовать ее вес в своем теле. Казалось, что в венах застывает столярный клей.

Туркмены долбили гору. Жара, казалось, ожесточала их. Удары ломов были беспощадны. Никто уже не думал о духах гор. Над «царем Менелаем» посмеивались за глаза и называли его трусом.

Старики приползали к туннелю и сидели в его тени, наблюдая кипение не виданной еще в пустыне работы. Они говорили, что, когда кончат туннель, надо переносить кибитки к Бек-Ташу, потому что «человек с деревянным наргиле» (так они называли Хоробрых, не выпускавшего изо рта трубки) хочет строить железную дорогу от северных промыслов на Бек-Таш. Говорили, что русские привозят складные дома и в них никогда не заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала обучить всех туркменских детей грамоте и что скоро в пустыне будут строить заводы и город, равный по красоте Хиве.

Бариль оказалась права: кочевники были сдвинуты с мертвой точки.

Пышная их фантазия, свойственная людям пустынь, преображала в легенды все, что начиналось на берегах Кара-Бугаза.

«Царь Менелай» скрипел и жаловался: говорят, через несколько десятилетий пустыня расцветет садами и пресная вода заблестит в хлопковых садах.

Женщина со стеклянной машинкой на носу рассказывала, что люди уже научились делать дождь и над пустыней будут идти обильные дожди. Аллах ошибся и дал ему, «Менелаю»,

родиться слишком рано. Придется умереть и не увидеть родные края цветущими, как берега счастливого Мешедиссера.

«Менелай» бывал в молодости на персидском берегу в Мешедиссере и всю жизнь рассказывал о померанцевых зарослях и лесах ореха, свисавших над морем, как богатые ковры висят на балконах домов в дни празднеств.

— Мешедиссер! — восклицал он и плакал от слабости, стараясь представить себе свою родину — колодцы Суили, — окруженную рощами чинар и шумливой травой.

С каждым днем жизнь становилась непонятнее и давала богатую пищу для выдумок и размышлений.

В залив пришла странная машина. Она рыла дно. Потом пришла вторая машина, которая должна была сосать со дна залива густую воду и перекачивать ее по каналу в озеро. Хаким лаял на новые машины два дня, после чего взбесился, и Гузар пристрелил его.

Потом была объявлена байга. Блестящая мысль о байге пришла в голову Хоробрых в одну из бессонных ночей.

— Мы начинаем соревнование в песках, — предупредил он утром Бариль, загадочно улыбаясь.

Бариль подозрительно посмотрела на него: опять этот инженер затевает какую-нибудь мистификацию. О каком соревновании можно говорить, когда термометр дошел до шестидесяти пяти градусов!

Бариль в последнее время была особенно занята женщинами. Ей удалось приучить их мыть руки и не совать грудным детям в рот не доеденные собаками черствые корки. Мысль о мытье рук с особой очевидностью пришла однажды вечером, когда туркменка-стряпуха месила лепешки для обитателей дощатого дома.

— Как вы думаете, сколько фунтов грязи она добавила к лепешкам? — спросила Бариль Казанского.

— Все равно съедим, — рассеянно ответил Казанский.

Это был человек, убежденный, что жить в пустыне легко и приятно, так как здесь нет «никакой волынки». Под «волынкой» Казанский подразумевал бумажки, отношения и телефонограммы.

Лепешки были съедены в один присест, но Бариль к ним не прикоснулась. Она занялась туркменками. Почти у всех были запущенные болезни; в тридцать лет туркменки превраща-

лись в старух, теряли способность рожать детей и закрывали платками дурно пахнущие рты.

В туннеле работа подходила к концу.

Две партии шли с двух сторон и со дня на день должны были встретиться. Тогда-то Хоробрых и объявил в туннеле байгу.

Байга — это скачки лучших наездников. Одному из наездников дают на седло барана. Победителем считается тот, кто вырвет на всем скаку барана и домчит его до палатки судей, увернувшись от разъяренных соперников.

Хоробрых решил, что понятие соревнования можно внедрить среди туркмен только путем сравнения. Ударную работу он называл байгой. Лучшим рабочим, землекопом над землекопами, будет считаться тот, кто пробьет насквозь последние пласты мергеля и первым просунет руку встречной партии.

С обеих сторон было поставлено по шесть добровольцев, и байга началась. Старики осторожно пробрались в туннель, ибо их слово было решающим.

Работа шла под свист, крики и хохот. Каждая крупная глыба мергеля, отбитая от стены, вызывала необычайное возбуждение.

Гора гудела и содрогалась.

Бариль отгоняла детей от входа в туннель, где люди кричали так, что, казалось, шла драка не на живот, а на смерть. Бариль смеялась, оттаскивая детей, пот стекал с ее усталого лица, и наконец потоки пота смыли пенсне с ее носа. Пенсне упало и разбилось. Дети бросились врассыпную. В эту же минуту из туннеля долетел такой рев, что Бариль содрогнулась и перестала искать разбитые стекляшки.

Партии встретились. Первым пробил отверстие Гузар. К вечеру туннель был окончен.

Старики возвращались взволнованные. Байга в туннеле напомнила им молодость и скачки на меловых плоскогорьях Мангышлака. Весь вечер по кибиткам шел гомон. Все удивлялись, что первым пробил стену Гузар, а не Ныязов, считавшийся самым сильным из землекопов.

Бариль щурилась и смущенно улыбалась. Весь залив окутался туманом, а в этом тумане блуждали потерянные звезды, костры, красный уголек из трубки Хоробрых, поблескивала вода и голубоватый сульфат. Близорукость превратила знакомые места в декорацию веселой пьесы.

Гузару была выдана первая на промыслах бумажка, где сообщалось, что он лучший ударник и землекоп над землекопами по всему побережью.

Гузар спрятал бумажку на груди и пошел пить кок-чай со стариками — великая честь, которой удостаивали только лучших наездников.

Хоробрых не удержался и написал в тот вечер воззвание к кочевникам. Он хотел разослать его по соседним кибиткам, чтобы привлечь рабочих на постройку узкоколейной железной дороги.

Дорогу длиной в тридцать километров было решено провести от промысла к Каспийскому морю, где в Бек-Таше еще во времена хозяйничания в заливе «Дагестанских огней» построили пристань. Сульфат к морю перевозили на туркменских лодках. Это обходилось очень дорого. Лодки сплошь и рядом сутками отстаивались около бара, дожидаясь затишья. В бурную погоду бар бывал очень опасен, — все берега вблизи залива чернели от обломков разбитых лодок и шхун.

«Кочевники! — писал Хоробрых. — Советская власть постановила превратить вашу страну в цветущие поля и сады. В Кара-Бугазе мы начали добывать удивительную соль; из нее делают стекло и пищу для утучнения виноградников, хлопка и джугары.

Кочевники! Навьючивайте кибитки и идите к озеру Ала-Тепе, где вам будет дана вода и пища. Оставьте скитания по мертвым пустыням и ста-

новитесь рабочими, ибо пришли новые времена. Все смертно, и старая жизнь умирает. Не верьте длинным языкам стариков, злых от несчастной жизни».

Наутро Гузар снова помчался по кибиткам, а к вечеру следующего дня первые медлительные верблюды, навьюченные кошмами, гнутыми палками и детьми, торжественно прошли по бесплодным берегам в сторону Ала-Тепе.

По случаю награждения Гузара Бариль устроила собрание рабочих. Впервые на это собрание пришли робкие женщины. Они сидели сзади и боялись даже шептаться.

Бариль долго искала у себя в чемодане запасное пенсне, не нашла, расстроилась и опоздала на собрание. Когда она подходила к кибитке «Менелая», черный круг туркмен не шелохнулся. Старикашка Бекмет что-то рассказывал, и, должно быть, очень увлекательно, так как даже Гузар не отрывал глаз от его шамкающего рта.

Бариль подошла и прислушалась. Она опоздала к началу рассказа и услышала его с середины.

Бариль не любила легенд. Каждый, кто бывал на Востоке, с большой осторожностью относится к пресловутым восточным легендам. Досужие описатели связывают с легендами названия всех

озер, городов и рек Средней Азии.

Но легенда Бекмета была особенная. Он рассказывал ее, покачиваясь:

— …Говорит он Файреддину: «Вот люди хвалятся тучной пшеницей и сладким виноградом, кожами и мягкой шерстью, высокими лесами и жирной рыбой. А чем богат твой край?» Файреддин молчит. Ленин опять говорит: «Вот приехали все на съезд в Москву и рассказывают каждый про свое, а ты один молчишь. Скажи свое слово, друг, не пугайся. Чем живете вы в вашем краю, чего ждете от времени?»

Заплакал Файреддин: «Товарищ, что могу я сказать, старый туркмен из рода Абдалла, перед всеми вами? Чего мы ждем от времени, когда время ворует у нас последнюю воду из колодцев и засыпает песком вчерашние виноградники? Я из страны, что называется Усть-Урт и еще Кара-Кум. Богаты мы нищетой и жаждой, песком и солью. Ты думаешь, иолдаш, о счастье бедняков, а мы думаем о воде. Но нет воды! Аллах иссушил нашу землю на десять локтей в глубину, и даже дождь высыхает, не успевая достигнуть земли. Реки текут под песками, но вода в них горькая, как кожа персидского апельсина. Со времени Тимура вянет наша страна. Что делать, товарищ? Книзу

все земли заняты, кверху все земли заняты, и нет нам места на земле. Ты велик, и ты могуществен. Ты большой человек, у тебя чуткое ухо и острый глаз, — но чем ты можешь помочь нам, туркменам? Потому я и молчу на великом съезде».

Тогда Ленин засмеялся и ответил старому Файреддину: «Чего не может Аллах и не может Тимур, то могут сделать большевики, Файреддин».

Файреддин покачал головой.

«Если ты идешь с горбатым, — ответил он, — то не вытягивайся во весь рост, чтобы горб его не бросался людям в глаза. Если ты говоришь с человеком из Кара-Кума, то не смейся над ним и не обещай невозможного».

Так ответил Файреддин и ушел раздосадованный.

Но чудо совершилось. К осени дошел до кибитки Файреддина слух, что в Хорезм приехало много инженеров, пришли машины, похожие на железных верблюдов, из лодок выгружают цемент и большевики хотят пустить воду в иссохшее от тысячелетий древнее ложе Аму-Дарьи, называемое Узбой.

Узбой уходит в сторону от реки и простирается далеко, на десять дней хода каравана, в самую безводную пустыню.

Файреддин посмеялся над ребячеством большевиков. Они не знали, что в Узбое бывает дно из крепкого песка и бывает дно из такого песка, какой сосет воду, будто тысяча буйволов, не пивших три дня. Можно вылить в Узбой целое море, но песок в один час высосет его и оставит только мертвых рыб и горькую пену. Нельзя победить пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул.

Файреддин смеялся, а большевики копали канал и строили плотину. Дно Узбоя в тех местах, где был сыпучий песок, они заливали цементом.

И вот взошел день великого торжества. Светлая вода из Аму хлынула в Узбой, и песок не украл ни одного ведра ее.

Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, карагачами и инжиром. Нищая страна, сухая, как язык пса, издохшего от жажды, будет пить воду, как люди пьют вино.

Файреддин зарезал барана, угощал всех, плакал и подарил маленьким детям на забаву свою зеленую чалму, купленную в Мекке, где Файреддин пролил свою слезу на черный камень пророка. И теперь старый Файреддин служит распределителем воды на новом канале и ходит гордый, как верблюд.

Когда Бекмет кончил, туркмены молча взглянули на Бариль. Они ждали.

— Товарищи! — сказала Бариль, и горло ее стиснула спазма. — Товарищи, лучше Бекмета я ничего вам рассказать не могу.

Тогда Бекмет встал. Он низко поклонился Бариль, с трудом коснувшись сухими пальцами твердой земли, и сказал с достоинством:

— Напрасно ты сердилась на меня, женщина. Умные люди говорят: «Страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства». Вы родились быть героями, а я — глупый и старый певец.

Бариль вернулась в дом и долго сморкалась за перегородкой. Хоробрых притворно удивлялся и расспрашивал, где она могла схватить насморк. Расспросы окончились тем, что Бариль вылетела из-за занавески разгневанная и крикнула ему:

— Идите к черту! Вы хвастаетесь, что сделали экскаватор из керосиновых баков. Подумаешь, какая гениальность! Нужно было для этого учиться на инженера! Вы все не стоите одного старого вруна Бекмета.

— Товарищ Бариль, — ответил Хоробрых, — вы подрываете мой авторитет. Бекмета я назначил десятником. Кстати, вы знаете, что он был бродя-

чим певцом?

Вечером Бариль ушла далеко вдоль берега. Звезды, казавшиеся раньше сквозь стекла пенсне мелкими зернами, сейчас пылали в воде залива мутными фонарями.

Бариль вспомнила весь сегодняшний день и улыбнулась заливу. Он лежал безмолвно. Нити звездных отражений казались светящимся следом мирабилитовых кристаллов, медленно падавших на дно. Сотни серых бабочек, пахнувших полынью, кружились около Бариль и щекотали лицо.

Грубая ошибка природы

В лоции Каспийского моря, составленной в 1877 году, сказано: «Родниковой воды нет нигде на всем побережье от Мангышлака до Атрека, за исключением родника Балкуи, находящегося на высокостях в северной части Красноводского залива. Родник этот дает, впрочем, такое ничтожное количество воды, что о нем не стоило бы и упоминать, если бы он не был единственным на всем побережье».

К лоции приложены карты. На них вместо Кара-Бугазского залива сияет белое пятно.

В Большой советской энциклопедии сказано, что вода в пустынях Кара-Бугаза бывает только весной в мелких глинистых лужах. Из этих луж кочевники поят скот. Лужи быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на север, где вблизи Темира лежат травянистые степи.

Ученые пишут о воде из колодцев, найденных вблизи Кара-Бугаза, очень вежливо: «вода относительно пресная», «солоноватая», «неприятная на вкус», и, наконец, более решительно: «тухлая» и «негодная для питья».

Старинные путешественники пишут о цвету-

щих оазисах в этих местах. Их рассказы легендарны и неясны, как и вся история восточных стран, но в них должна быть крупица истины.

Наконец, Семенов-Тян-Шанский говорит о закаспийских пустынях как о странах, потерявших воду.

Вода была. Об этом свидетельствуют многочисленные мертвые колодцы, разбросанные в горах по берегам залива. На дне их сейчас нет ничего, кроме потрескавшейся глины.

Инженер Ронкин в 1927 году нашел несколько великолепных высохших колодцев около мыса Умчалл. Стенки их были выложены чисто обтесанными камнями. Около колодцев валялись каменные колоды для водопоя. Часть колодцев на южном берегу залива засыпана была во время войны иомудов с казахами.

Когда трест «Карабугазсульфат» пришел в залив, воды не было. Только на Северной косе нашли колодцы с небольшим количеством хорошей воды. Пресная вода в этих колодцах лежала тонкой пенкой. Воду из таких колодцев приходилось брать с величайшей осторожностью; если ее взбалтывали, она мгновенно засолялась. Такие колодцы около мыса Бек-Таш дают в сутки двадцать пять тысяч ведер воды.

И тресту, добывшему уже в 1931 году пятьсот тысяч тонн сульфата, построившему вблизи залива первый маленький поселок (даже с асфальтовым тротуаром), и будущему комбинату нужна вода. Необходимо исправить грубую ошибку природы, отнявшей воду у богатейших в мире залежей «периодического минерала».

Начались поиски воды. Вначале это дело казалось совершенно безнадежным. Даже от карт этих мест тянет сухостью и начинается жажда.

Кочевники знают, что в желтых песках вода есть всегда. Все дело лишь в том, чтобы из-под песков ее вывести наружу. Кочевник, умирающий от жажды, стремится дойти до ближайших желтых песков, где почти всегда вода стоит на небольшой глубине. Но глинистая пустыня смертоносна. В ней воды нет никогда.

На Умчалле лежат большие пространства желтых песков. В них уже на глубине семидесяти метров нашли мокрый пресный песок.

В горах Большие Балханы, в шестидесяти километрах к юго-востоку от залива, нашли источники прекрасной пресной воды, дающие двадцать пять тысяч кубических метров воды в сутки. Комбинату же понадобится восемьдесят пять тысяч кубических метров воды в сутки.

Большие Балханы почти не обследованы. Там воды должно быть гораздо больше. В этих горах, кроме того, очень легко задержать путем возведения небольших плотин весенние дождевые воды и этим увеличить запасы воды почти в три раза.

В старинных рукописях, записанных со слов водителей караванов, говорится, что в оврагах Карын-Ярык, в северо-восточном углу залива, находятся родники, где можно напоить сто двадцать верблюдов. Есть все данные, что в этих оврагах будут найдены обильные подземные источники.

Прошлое перекликается с будущим. Водители караванов из Кунграда на Эмбу оставили записи для своих товарищей — караванбашей, простодушно полагая, что караваны будут ходить тысячи лет. Сейчас эти записи расшифровываются, и сотрудники научных институтов, посмеиваясь, выясняют, сколько может выпить верблюд и каков поэтому дебит старинных источников. Наши химики, работая над искусственным обезвоживанием кара-бугазского мирабилита, установили, что в виде отходов можно получить столько хорошей пресной воды, что она значительно смягчит водяной голод как комбината, так и первого города, который вырастет в пустыне. Один квартал

этого города уже выстроен и носит название Кара-Бугаз-порт.

Но все же воды мало. Ее хватит для населения будущего Кара-Бугаза, но не хватит для комбината. Поэтому предполагается построить мощные опреснители. Это будет надежнее всего.

Недавно в Ленинграде начаты работы по применению для технических целей слабосоленой морской воды. Опыты идут удачно. Если они закончатся успешно, то надобность в опреснителях отпадет. Тогда для производства пойдет каспийская вода, а питьевой хорошей воды хватит с избытком — ее дадут те источники, о каких говорилось выше. Из-за проблемы воды начался бой между специалистами. Меньшая часть их морщилась при одном упоминании о Кара-Бугазе. По мнению этих специалистов, в Кара-Бугазе должна идти только добыча сульфата, а переработку надо перенести в Дагестан. Постройку комбината в Кара-Бугазе эти специалисты считают фантазией. Нет воды, нет вблизи топлива, нет зелени, дикая жара — все это кажется им непреодолимыми трудностями. К счастью, теперь таких специалистов мало.

Победило мнение большинства специалистов, считающих, что постройка комбината должна

вестись именно в Кара-Бугазе.

Наоборот, говорят отбросившие профессиональное недоверие специалисты, преодоление величайших трудностей, необходимость вырвать у пустыни воду, уголь, нефть и фосфориты говорят в пользу постройки комбината в Кара-Бугазе. Комбинат нанесет пустыне смертельный удар. Добыча воды, нефти, разработка угля создадут вокруг комбината оазисы, откуда начнется планомерный поход на пески. Оазисы будут расти, пески отступать, и край, потерявший воду, отнимет ее у пустыни обратно. А при наличии воды эту землю, залитую солнцем, можно довести до неслыханного расцвета.

Пока гидрографы ищут воду в песках Умчалла, в горах Большие Балханы, в оврагах Карын-Ярык, в урочище Бек-Таш и в древних документах, настоящую воду привозят в трюмах пароходов из Баку.

Трест переделал трюмы двух хороших пароходов Каспийского пароходства под перевозку воды. Но пароходство боится залива, как скорпион огня, и посылает эти пароходы в другие рейсы, а воду возит в пахнущих керосином трюмах «Фрунзе» и «Дзержинского». Каспару ничего не стоит оставить весь Бара-Бугаз без воды. Бывали

случаи, когда по вине Каспара водяной паек рабочим треста приходилось срезать с двух ведер в день до четверти ведра.

«Фрунзе» и «Дзержинский» — изумительные пароходы, сами не знающие, куда и когда они ходят.

Я дожидался «Фрунзе» в Красноводске десять дней, чтобы ехать на нем в Кара-Бугаз. Он же бродил в это время около Гасан-Кули, и никто в мире не мог сказать, когда появится в красноводских водах этот летучий голландец.

Капитан порта уныло сочувствовал мне. В конце концов в управлении порта я стал своим человеком.

Я даже подозреваю, что мое отсутствие ощущалось сотрудниками управления примерно так, как отсутствие сторожа-туркмена, сидевшего на пороге управления уже десять лет. Ко мне привыкли. Меня называли по имени и отчеству. Я был в курсе всех портовых новостей и тщательно изучил доску с грозной вывеской: «Предостережения мореплавателям». Там вывешивались бюллетени о погоде.

Я пришел к твердому выводу, в дальнейшем подтвержденному на опыте, что на Каспийском море бывает всего три штилевых дня в году.

Наконец ночью меня радостно разбудили: «Фрунзе» пришел. Я бросился на пристань, но ленивый вахтенный сказал мне, что еще неизвестно, пойдут ли они в Кара-Бугаз. Может быть, придется идти в Баку чистить котлы. К утру выяснилось, что «Фрунзе» идет именно в Баку.

Снова я ходил в управление порта, но с той лишь разницей, что вместо «Фрунзе» я ждал «Полторацк», затерявшийся у тех же загадочных гасан-кулийских берегов. Капитан порта, вздыхая, предупреждал меня, что «Полторацк» тоже может переменить курс и мне лучше всего поехать в Баку и ждать там, ибо в Баку ждать веселее.

Снова я изучал штормовые предупреждения и говорил за дежурного по телефону, когда тот отлучался. От этого телефона у меня две недели болела рука. Его приходилось вертеть, как шарманку, то правой рукой, то левой, когда правая уставала, и не раньше чем через полчаса сердитая телефонистка кричала в трубку:

— Чего вы звоните, как на пожар? Повесьте трубку.

Так пароходство обслуживало Кара-Бугаз. В 1930 году оно ввело в залив пароход «Ян» — базу для землечерпалки. «Ян» сел на мель, и снять его

не удалось. Он простоял на мели семь месяцев, и его разъело водой, как решето. Дыры в бортах заливали цементом, но вода тотчас же проедала их снова. Ржавчина отваливалась от парохода кусками.

Кара-бугазская вода не разъедает только алюминий. Железные суда могут спастись лишь непрерывным движением. Более или менее длительная стоянка тотчас же приводит к разрушению корпуса.

Пароходство прислало комиссию капитанов осмотреть знаменитый бар — бич Кара-Бугаза. Летом 1931 года бар обмелел настолько, что через него не могли проходить даже моторные лодки. Капитаны предложили бар прорыть, но против этого запротестовали химики. Бар, по их словам, является естественным регулятором притока каспийской воды в залив. Химики утверждали, что углубление бара неизбежно вызовет изменение притока воды, тем самым будет нарушен режим Кара-Бугаза, а это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на садке мирабилита. Тогда моряки предложили построить канал и шлюз для прохода судов в Кара-Бугаз, минуя бар.

Для решения вопроса о баре при Академии наук была создана особая комиссия. Она решила, что

углубление бара не вызовет перемену свойств кара-бугазской воды, ибо эти свойства вызываются не только притоком воды из моря, но и влиянием грунтовых вод, почвы, окружающей залив, химических процессов, происходящих в этой почве, температуры воздуха и ряда других обстоятельств.

Ранней весной 1931 года в Москве заседала конференция по Кара-Бугазу.

Глухие туманы лежали над городом. Сквозь туманы моросил ледяной дождь. В измороси и серости московского дня на трибуну выходили люди, опаленные кара-кумским солнцем, и говорили о необыкновенном заливе, бушующем и дымящемся в жестоких сарматских ярусах Усть-Урта. Сотни фотографий были разбросаны по столам. Казалось, фотографические аппараты хватил солнечный удар — таким меловым блеском пылали на снимках пески, небо, соль, залив.

Конференция по Кара-Бугазу была строго научной, производственной, но со стороны напоминала заседание штаба, готовившего поход на пустыню, объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым ошибкам природы.

Разрозненные записи этой конференции я возил с собой всюду. Они покрылись коричневой

пылью Эмбы, солью Кара-Бугаза, заржавели, стерлись, и теперь в кают-компании старого парохода я старался разобрать их, чтобы переписать наново. Пароход шел рывками, будто кто-то дергал его сзади за красный погнутый руль. Писать было трудно. Официант покосился на меня и сказал вполголоса уборщице:

— Калькулятор!

«Промышленное освоение Кара-Бугаза, — писал я, — создание на востоке Каспия нового мощного индустриального центра в значительной мере повлияет на весь хозяйственный уклад, на всю жизнь Туркмении. Девять десятых ее территории похоронено под песками Кара-Кума. Мы осуществим на деле лозунг партии об индустриализации окраин».

«Кара-Бугазский залив представляет собой море белого золота».

На этом моя работа над записями окончилась. Официант начал в сердцах гасить лампочки и с треском захлопывать тяжелые окна. Мне пришлось собрать свои записи и уйти.

Наш пароход привозил в Кара-Бугаз пресную шолларскую воду[8] и до сих пор был весь про-

[8] Примечания: 8

Шолларская вода — Баку снабжается водой из Шолларских источников в горах.

питан свежим запахом этой воды. Казалось, что пароход плывет не по морю, а по прозрачному пресному озеру и по звездам.

Обычная ослепительная ночь дымилась со всех румбов. Тепличный ветер долетал от берегов Персии, как из открытого на ночь окна цветочного магазина. Он приносил запах растертых пальцами листьев ореха, тяжелой листвы и сырых песков.

За кормой глухо гудел светящийся след от винта и терялся в полночной тьме. Там закатывались в остывающих песках громадные звезды. Свет их был на востоке ярче, чем на западе. Сухость пустынь сообщала ему напряженную резкость. На западе звезды мигали во влажном воздухе, в испарениях, и в них, как в стеклянных сосудах, переливалась сверкающая жидкость.

Со мной ехали Прокофьев, девушка-химичка из Москвы и женщина-инженер, седая и усталая, похожая больше на врача.

Девушка тревожно ходила по палубе. Морской ветер шевелил ее платье и успокоительно похлопывал кормовым флагом.

Нижняя палуба бросала на воду тусклые полосы света. Там звенели чайники, лился кипяток, смеялись дети. Там был крепкий сухопутный

мир. Там люди чувствовали себя на пароходе как в поезде. Они не прислушивались к глубокому молчанию штиля, плавно несшего пароход на запад, к берегам Европы.

Качки не было, но море дышало, то подымая, то чуть-чуть опуская тяжелый пароходный корпус.

— Вот мы и объехали весь этот край, — сказал мне Прокофьев. — Мы видели пески, бесплодную землю, пили соленую воду, узнали, что такое Кара-Бугаз. Все это так. Но достаточно ли у нас воображения, чтобы представить себе будущее этих земель? Интересно проверить. Спросим об этом наших спутниц.

Девушка-химичка ответила не задумываясь:

— Будет жарко, шумно и весело, как в Баку в праздничный день. Мне очень нравятся каспийские пароходы. Они удачно выкрашены в желтый цвет. Масса желтых пароходов будет дымить в двух новых портах, где их будут строить, — ну да, в Бек-Таше и Карши. Хоробрых получит первую премию на будущей сельскохозяйственной выставке за самые душистые и сочные в мире кара-бугазские дыни. Ветряные двигатели начнут высасывать из залива густую воду и наполнять бассейны. Академик Иоффе поставит первые солнечные машины, а мы с вами по вечерам будем

ходить в порт и пить под акациями вкусную воду со льдом и апельсинным сиропом. С Казанского вокзала начнут отходить поезда с табличками «Москва — Кара-Бугаз, через Ташкент — Красноводск». В заливе откроют курорт, потому что нет во всем Союзе лучшего купания, чем там. Хватит с вас и этого.

Женщина-инженер думала о другом.

— Вы знаете, — промолвила она, — я выросла на Востоке. В Кара-Бугаз я приехала, когда в кибитке начальника треста застучала первая пишущая машинка. С тех пор прошло два года, но уже сейчас залив не узнать. И вот я думаю, что такие вещи, как будущий комбинат, ударят по старому Востоку, по исламу, по всей этой окаменелой жизни, как гром. Комбинат научит грамоте, выправит мозги, вскроет и уничтожит весь ужас кочевого состояния. Была у кочевников песня, где говорилось: «Кочевник проходит через жизнь, как пыль. Никто не хочет знать его имени, никто не знает, сколько весит его горе». Вот со всем этим будет покончено.

Прокофьев молчал.

— Вы что ж, не можете ничего придумать? — спросила его химичка.

— Нет, — ответил Прокофьев. — Придумывать

не надо, так как действительность превзойдет все мои выдумки и мне самому станет стыдно. Я не обладаю фантазией. Я думаю вот о чем. Вы знаете, что существует некий страшный закон энтропии. Он говорит, что никакая энергия на земном шаре не исчезает, за исключением тепловой, но всякая энергия превращается в эту тепловую. Земля непрерывно теряет тепловую энергию в результате лучеиспускания в мировое пространство. Английский физик Томсон, открывший этот закон, заканчивает свою книгу о нем очень мрачными словами. Происходит, говорит он, неудержимое рассеяние энергии, и спустя некоторое, правда очень долгое, время на Земле наступит мертвый покой и она обратится в вечное кладбище.

Так вот, Кара-Бугаз и все эти проклятые людьми пустыни убьют закон энтропии. Земля бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое пространство, вот туда, — Прокофьев махнул рукой на юг, где вселенная дымилась и разгоралась звездным жаром, — а пустыни — Кара-Кум, Кара-Бугаз — мы должны сделать первыми резервуарами, улавливающими энергию солнца, как раз ту энергию, которую мы получаем из мирового пространства. Мы уравновесим потерю. Это

дерзкий вызов космическим законам, особенно в глазах непросвещенных людей. Здесь мы будем высасывать солнечную энергию, сгущать ее, превращать в электричество, в тепло, в свет, в какую угодно иную энергию, и этот край расцветет так, как, может быть, никогда не цвели самые пышные сады.

Одолевать пустыню тяжело, особенно когда человек думает, что он одолевает ее ради своего месячного оклада. Необходимо понять, что ваша работа в пустыне — дело славы, дело высокого племени новых людей, — а это ведь и на самом деле так, — и тяжесть с вас слетит, как пот после купания в море. Отсюда вывод: никогда не упускайте из виду далеких горизонтов. Помните, что скулят только близорукие. Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями — это уже страшно много…

Мы легли спать в каюте, наполненной ветром и свежестью моря.

Видения городов из сверкающего радугами стекла преследовали меня всю ночь. Города эти подымались из морей и отражались в зеркалах заливов нагромождениями хрусталя и теплых

неподвижных огней. Летние рассветы разгорались над ними. Рассветы пахли растертыми в ладонях листьями ореха, густой листвой, шолларскими водами, мангышлакской полынью.

Я проснулся. Прокофьев спорил с женщиной-инженером о свойствах стекла из кара-бугазского сульфата. Я вышел на палубу. Мы огибали Апшеронский маяк. Над Баку лежала свежая тишина ночи, а на востоке, над Кара-Бугазом, сметая звезды, стремительно раскрывала небо высокая морская голубизна, — над пустынями Хорезма подымался один из бесчисленных прекрасных дней.

1932

Черное море

Приедается все,
Лишь тебе не дано примелькаться…
Борис Пастернак

Поздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля. Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из

судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Плавучий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый, разъяренный, он видит тонущие в неспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они. Слышны

тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек, — я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон, — и вот книга о море, великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц, — ни в чем, что называется жизнью.

Небесная азбука морзе

Ураганам предшествуют мертвые штили и теплота.

Довэ. Законы шторма

Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень стояли над городом.

Город был похож на театральный макет, где с домов осы`палась позолота и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрящимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером, окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое

тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартернберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура» и пираты, шатаясь по океанам, веселились, как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызывать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты,

так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой Недоверчивый. Но однажды Гарт остано-

вился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил себе жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и неспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую

спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листвы платанов и голубоватых рыбачьих сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов — Саванны и Кастля — и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных им рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартирный хозяин — веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудаки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудаком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы

растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. А от старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя — комсомолка и планеристка. Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от своей библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен Севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, завиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, поме-

ченное 1854 годом и неизвестно как попавшее к Юнге. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона — того крепкого, как плевки, и безошибочного «сленга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежало офицеру английского флота Джону Эллиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Севастопольской кампании, английская эскадра.

Я приведу здесь перевод письма в переработке Гарта. Гарт считал, что им найдено точное описание морского урагана.

«В августе 1831 года, как вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.

Мне посчастливилось, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат „Стирлинг Кастль“.

Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индских ураганов и потому испытывает их

наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа в полночь ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неописуемо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достославного адмирала Роднея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — „Скарборо“, „Барбадос“ и „Феникс“ разбились о скалы, а фрегат „Генри“ был выброшен на берег в бухте Монтего. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы

вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил, что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вблизи земли они загорались белым светом, похожим на горение магния. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по пол-

минуты и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свете молний, было почти непостижимо.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя.

Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг на много миль внутрь страны.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра, привратника Кодрингтонской коллегии,

искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

„Стирлинг Кастль“ погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название „Каменная шкатулка“.

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и полумертвых морских птиц и рыб.

Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.

Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском полетели внутрь все оконные рамы.

Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.

Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон

потоки более холодного, плотного воздуха.

Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.

Очевидно, обрушившийся на Барбадос ураган нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.

Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.

Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.

Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.

Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, господином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.

Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения Земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости. Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгин. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел

несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись в паутине. Только чайки метались с испуганным писком и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным

дням.

Не решаясь заговорить, он потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Süd и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути, где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей.

— Любуетесь? — спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик добродушно смотрел на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана, — сказал он спокойно. — Я понимаю, почему вы им заинтересовались; парусные корабли, поэтические названия, гул бури — все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в

Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же? — спросил оторопевший Гарт.

— Погодите. — Юнге прислушался.

В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и взывал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом, — сказал наконец Юнге, — я бы перевернул землю вверх дном. Вот, взгляните, — старик показал на барограф. — Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься. — Юнге встал и заходил по комнате. — Ураган в Барбадосе! Блестяще! Я не верю, что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы.

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что поселит величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для че-

ловечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожать эти ураганы.

Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство.

Шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно, — сказал Юнге. — Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк. — Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос. — Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и дурного тона. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей, как это бывает у моряков,

вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы, — заметил Гарт. — Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков. — Юнге осветил лампой пыльные картины. — Облака! — воскликнул он. — Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды, почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция. Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антицик-

лонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах погоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел не двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим неспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте, — сказал Юнге. — А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают чудаком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и антициклоны — всюду те же: и в Вест-Индии, и в Желтом море,

и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Но нет надобности плавать в тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали, — напомнил Гарт, — рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому и подбираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская бора.

Гарт кивнул головой. Все, что рассказывал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издалека, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарта телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге. — Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое

пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были интереснее его напечатанных рассказов. Правда, в них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор Новороссийского укрепления.

В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель „Струи“.

Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева.

Как начинается бора? Над голым хребтом Варада показываются белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но никогда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.

Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает полную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.

Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.

Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.

Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.

Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре: „Матросы, обрубая лед, сменялись беспрерыв-

но, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.

Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких саженях. Иногда только в зените был виден клок чистого неба.

Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.

Двое суток мы находились в авральной работе. Мы сбивали лед ломами, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.

Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубили реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это нисколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно — пушки вместе со станками приросли к палубам, образуя глыбы льда.

Волны свободно ходили через корабль“.

Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули

все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.

С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.

Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль „Струя“ потонул среди залива, не выдержав тяжести наросшего льда.

Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.

В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:

„Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль, виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек“.

„В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах

корабля, растерзанного борой.

О, сколько дум и сколько чувств прекрасных

Не имут слов, глагола не найдут!“

„На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море“.

После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбачьих шхун, пароходов и даже военных кораблей.

Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.

При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохшими. Маяки светят ярче, чем всегда».

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевидно, старик читал ему выдержки из книги и газет и вообще говорил очень много.

Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал наконец Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить себе карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше,

чем воздух по обе стороны хребта приобретает одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге. — Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто, — сказал Юнге. — Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели прорoют. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись под ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю, — ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал у него смятение.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили? О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и

турках. В этом не было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышались голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, посетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

Ожидание бури

Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовой сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторм по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным плавучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змеев. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные

обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть город насквозь с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали рассохшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, колючей проволоки и высохших акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владетели этих рыбачьих и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покрикивали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, садившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке, — должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку спрыгнул, насвистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся от всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Казалось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадящей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство, вероятно, от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили, с жужжанием, в тень облаков.

На пустырях тоже валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к писку чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигналь-

ные мачты. Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен Севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые орудия и казематы мирно уживались здесь с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снарядных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не

сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто, — хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смоливший лодку, — тщедушный старик с косматыми бровями, — стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнущий на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь, видно, совсем недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья, залитого смолой. Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул, — Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое, — как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином, — посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами. — Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта. — Говорите крепче, потому я глухой еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, барабанной шкуре, — через него я оглох.

Гарт насколько мог громко повторил совет о керосине.

— Так как же! — ответил старик. — Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины было стремительным. Она распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел ее рас-

смотреть.

Первое, что он увидел, — это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла у старика воробья и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы.

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил: когда он подымался сюда, то встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке нового рассказа. Такое ощущение уже не раз бывало у Гарта. Оно всегда сопровождалось глухим волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке,

живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было немыслимо.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных и худеньких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил: свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий человеческой радости и уму, — именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел

на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь порой складывается совсем по-необыкновенному из-за сущих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да, — ответил Гарт. — Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу краски и кисти.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками. — Окончу тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик. — Все одно я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто останавливалась и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала женщина, когда они спускались к бухте. — Зоя Юнге рассказывала мне о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда, — согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домами и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами, — сказала Сметанина. — Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей

простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно, — повторила она после долгого молчания. — Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?

— Ах да, да, конечно, — спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она. — Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми, — ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж, — сказал про себя Гарт и вздохнул. —

Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Сви-

стели ветки акаций. Начинался норд-ост.

Мертвый город

Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом берегов Северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. Со стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на паль-

то. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина: «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — моряки зовут его «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта.

На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывая ногти, отмораживая руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха

мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой пробежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неутомимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури.

Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов,

таких пустынных и печальных, что сравнительно с ними даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее раздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «Жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посдыхали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы. — Другие капитаны по минам идут напролом! Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете, — сказал он матросам. — Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условив-

шийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крышке трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, ду´хи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды,

бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней, — они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту, на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь, — рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал прежде адмиральше Коланс. Эта решительная высокая

и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня тоже моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове. — Maman просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него, не раздеваясь, и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутылки с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив под себя руки, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, мелодия Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня воз-

мездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого там не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили.

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант, — сказал юноша. — Я музыкант из кино.

— Раз музыкант, так пусть сыграет, — злобно засмеялись бойцы. — Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашлось, — рассказывал Денисов. — Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы, кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце — прямо

руками, — будто мать нас провожает, плачет и идем мы добывать своей кровью новое счастье. Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта, — он в нас и стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда своего музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня однажды случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась воющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол.

— Что случилось? — спросил я, встревоженный его стонами.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки. — Всё! Деньги и доку-

менты. Всё отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровь улыбкой. — Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож под сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он попросил прощения за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

«Травиата» на кораблях

Все это было в Севастополе двенадцать лет назад.

Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных.

Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь

часто случаются даже зимой.

Я знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты гово-

рили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города.

Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки или пытались скрыть слезы, несвойственные этим, как они сами себя шутливо называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный

голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался, — казалось, Виолетта пела на родине Верди. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна — так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Венеция. Верди. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи, советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка — и слушатели, каким мог бы позавидовать Верди.

Все это рождало в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением удивительного времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего

ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись.

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине.

Сметанина произвела на меня впечатление человека ясного ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и неспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому

не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать, без всяких понуждений с моей стороны, все, что знал о Верди, и кстати о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете, — спросил Юнге, — что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Социализм — это солнце будущего. Il socialismo é il sole del l'avenire. Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его вдруг осветилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы облепили военные корабли. Огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыга-

ли на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминаций, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

Плыли мы через лунный залив,

Голоса наши тихо звенели…

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом, — сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы наконец наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего, — сказал я Гарту.

— Я знаю, — ответил Гарт. — Я давно отказался от своей невозмутимости.

Плыли мы через лунный залив,

Голоса наши тихо звенели...

— В своих прежних рассказах, — сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних», — я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит теперь, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел коман-

дующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, — праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял, — ответил я. — Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте, — неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дому. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было бы построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты»:

Налейте, налейте бокалы,

И выпьем, друзья, за любовь…

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой — письмами художника Ван Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать, — сердито сказал Юнге, — так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим, — мягко оправдывался Гарт. — Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как слабый электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытащенными рыбачьими сетями и грудами желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился

к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной, увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхэда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

Мужество

Одна смертная казнь может остановить меня!

Ответ лейтенанта Шмидта адмиралу Федосьеву

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно непохожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные

жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь, — сказал Гарт, — произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила, — ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые Горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти, — несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было
Еще нежней, то было бы твоим.
Меж нами даль, нас море разделило,
Но все ж тобой я должен быть любим.

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатан-

ной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что только Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братским кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил

Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки.

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время его истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно

и просто, как всегда здесь.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал, — дают приказ: «Замолчите!» — а мы не слухаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака цигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расползлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил

нету у меня об том вспоминать. Растравили вы меня, чудаки, — опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок-аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт был строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит

к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джеймсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: „Tinctura valeriana“, потому что как раз валерьянки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастиях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

— Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерьянкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти.

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова, — лучше бы я их не читал никогда в жизни:

„Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаш“.

Избаш — это сестра Шмидта.

„Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерьянку. — Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!“ — повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

„Вот страна, — думал я, — будь она проклята до скончания века!“ И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Было восстание на „Потемкине“, потом восстание на „Пруте“, но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас

начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как „любили“ этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:

„Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов“.

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? „Клянемся этим убитым в том, — сказал он, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав“.

Он поднял руку и громко сказал: „Клянусь!“ И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. „Клянемся!“ — крикнули мы.

„Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самое жизнь мы положим за сохранение нашей свободы“.

И в этом мы поклялись.

„Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда“.

„Клянусь!“ — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: „Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни“, — я пойду и буду благословлять его имя.

„Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России“.

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте

мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец „Три святителя“.

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы, и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил для меня как во сне. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет, — вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил в первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами чуточку рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово,

придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и на смертном ложе прочесть об этом заметку в „Известиях“.

Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну ладно, — рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небóга, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия, Шмидта после речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его „брат командир“, любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: „Буду обязательно завтра“.

Узнали об этом матросы — и как занялось „ура“ по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он

согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце „Пантелеймон“, бывшем „Потемкине“.

Чухнин, гладкая лиса, боялся „Пантелеймона“. Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: „Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!“ Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на „Пантелеймоне“ ударники. Вот и глядите, какие тогда были матросы, — ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб „Очаков“.

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на „Очакове“. Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я ту могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы

да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на „Очаков“. Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы „Свирепый“, „Гридень“ и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте „Эреклик“. Шмидт послал нас на „Свирепом“ в море сторожить „Эреклик“, а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на „Очакове“ подняли красный флаг и сигнал: „Командую флотом. Шмидт“.

Все пять миноносцев ответили сигналом: „Ясно вижу“ — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали „ура“.

Шмидт спустился на „Свирепый“ и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

„Свирепый“ подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: „Товарищи, мы

поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!“

Матросы кричали „ура“ и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюмы, и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа, — страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам „ура“.

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая „Пантелеймона“, не осмелел, чтобы восстать. А от „Пантелеймона“ — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову „Пруту“, плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на „Очаков“, созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался, — человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. „Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!“

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей: что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на „Очакове“.

Бароны всё были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: „государь император, присяга, вера, грязное мужичье“, а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела она их до сырой могилы.

— Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю, — ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу, — что такое? — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: „Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Не даром мы, значит, шли на смерть, не даром приняли страдание".

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает, — должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: „Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!"

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«„Когда я вступил на палубу «Очакова», — сказал Шмидт на суде, — то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла

дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, неспособного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, неспособного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления".

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть „Очакову" — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на „Очаков" побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт „Буг", — на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по „Очакову", чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с „Бугом".

Расчет на „Буг" был блестящ. Достаточно было,

чтобы в „Буг“ попал один снаряд, — и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера „Удалец“ взять „Буг“ на буксир и подвести его к борту „Очакова“.

Когда катер вел „Буг“ на буксире, канонерская лодка „Терец“ приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать „Буг“.

Тогда старший офицер „Терца“, бывший друг Шмидта по морскому корпусу Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда „Буга“, боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и „Буг“ пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу „Свирепый“ произвести минную атаку на корабли эскадры.

„Свирепый“ вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром

потряс Севастополь — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по „Очакову“ и миноносцу.

„Свирепый“ затонул под ливнем тяжелых снарядов. „Очаков“ молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. „Очаков“ горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда „Очакова“ начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: „Братцы, помогите! Братцы!“

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с „Очакова“ в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на „Очакове“, сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной, — сколько утонуло и было убито в воде — об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

„Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели «Очакова». — Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?“

Шмидта с сыном подобрал миноносец „270“. Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с „Ростислава“ подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с „Ростислава“.

На „Ростиславе“ мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить — им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку „Дунай“. Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце „270“ кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

„Дунай“ доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет: „тяжелое счастье“, — но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук, пионер. Ему я говорю обо всем. О Пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него и начинаю.

Шмидт говорил как величайший трибун. Он

заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось ваше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного „дела“.

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: „Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас“. Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: „Откройте двери!“ — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им

было жаль Шмидта. Просто у самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого блеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на „Потемкине“. В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.

Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную

силу. Поэтому, уезжая на „Очаков“, Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом сле-

зы. — Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера, — высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские, — и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первым вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет… — прошел по рядам матросов глухой шепот. — Это сестра Шмидта… Плачет по нас…

Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту, — говорила потом сестра Шмидта, — можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взыщите, — я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

„Предсмертная серьезность моего положения, — сказал он, — побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мной приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять

смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мое сердце, и я приму смерть“.

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму „Прут“.

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.

Все было кончено. По статье сотой Уголовного уложения Шмидт был приговорен к повешению,

а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — Часовой отвернулся. — Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он. — Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что происходит вокруг.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту „Прута“ подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не

связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки „Терец“. Позади них стояли солдаты. Орудия „Терца“ были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал „огонь“, пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно пропела труба горниста. Шмидт не отрываясь смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал

Антоненко.

Матросы с „Терца“ бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется…

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову, — она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались

глаза смертников, потом засы`пала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно».

На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

Разговор на корабельной

Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы.

Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

Unis pour la victoire,
Reunis par la mort —
Du soldat c'est la gloire,
Des braves c'est le sort!

(Их объединила победа, и снова объединила смерть. Такова слава солдата, таков удел храбрецов.)

— Неплохо придумано, — сказал Гарт равнодушно. — А то, что вы говорили насчет Кастля, — это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело. Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте, и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что

должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через знакомство с Дымченко, через мысли о романтике Шмидте, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбачьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск, — сказал Гарт. — Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да… Очень возможно, — ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал — должно быть, от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город

на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, пароходных труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадется какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами, не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало мне много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеяны

запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны.

Артемида-охотница

Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез, — стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты — теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще! — таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня, — пробормотал

Дымченко. — До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят как никто, и на тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался. — Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела!

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные, — лучше наших. На них я ловил цельный год, а недели две — не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые

грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу как бандит — ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол, — не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроши корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит — Гостеприимное море; а в древних греческих лоциях — периплах — Херсонес еще называли Херронисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а

Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался — должно быть, от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют поисти-

не землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе, — девушка, воспетая в величавых стихах Еврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гёте, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов…
Горела грудь, в слезах кипели очи:
Я чувствовал присутствие богов…

Так писал о Греции поэт Щербина. Он увидел ее впервые ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет, — сказал Дымченко. — Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немыслимо бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела — одна волна и волна, — и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немыслимая боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле.

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны.

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в каменья, как много годов до этого, как

бьет и по сегодняшний день.

И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплому морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно, конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать — ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало

рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпáл их на ладони и называл имена городов, где они чеканились, — блестящий список имен: Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как

химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил, — в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши — очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену своего жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима.

С гимназических времен я чувствовал непри-

язнь к христианству с его манной кашей добродетелей. Христос казался мне молодым толстовцем, изрекающим слащавые истины, а его бородатые святые походили на ломовых извозчиков.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, погружает не только

детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы.

Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки — ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище Мальчик.

Мальчик сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменил опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означа-

ет «кладбище».

Теперь племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но

ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. (Обычно люди дружат, лишь разузнав всю подноготную.)

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и громадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами, — монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски

— терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибоя шарами мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпа`ть песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки

морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о тех временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.

Ржавые корабельные гвозди

Два дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я зачитывался лоцией Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими лайнерами, изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне любопытную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без всякой видимой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бушприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплевывали, перекидываясь замечаниями, — делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и усиливал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея — ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне сразу же узнать у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло, — кричал Андрей, чтобы заглушить стук молотков, — да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну. Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая. В море далеко не сунешься, а

в бухте рыбы нет и нет, — чистое наказанье!

Однако темной ночкой нагнало, на наше счастье, кефаль. Забила она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу — меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и первым снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки`!

Рыбаки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила чисто декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу никакого внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слыхали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко. — Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо — один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь червь со всего берега — от

Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоронятся от него моряки и рыбаки как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот боится ржавчины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расползется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить «Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря, — эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря, — строились из дерева.

Цемента тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один какой-то год корабельные черви проточили плотины. Вода начала просачиваться и затапливать зеленые равнины страны. Были

собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил, что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов. В журнале печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о капитанах парусников, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля:

«Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палубу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными реляциями о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная даже неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих про-

клятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двустворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверленные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда моллюск входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает изжеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Вот тогда-то моллюск и становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в

длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо узнает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко ни подходили они друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел на берегу старую пристанскую сваю. Я отпилил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, тупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня всерьез заинтересоваться жизнью моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до

тех пор и как, возможно, смотрит на него большинство людей, — вот, мол, исполинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я узнал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько многообразной, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

Вода из света

Ночь оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось поневоле.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около вытащенных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похо-

жим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила нам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, вообще много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчанье воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть, оттого, что мои глаза

устали, мне показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула:

— Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях говорят, что действительность была похожа на сон, но сейчас это было неверно. Она была лучше сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно мерк. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни Млечных Путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фио-

летовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала лицо женщины, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» деревянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о фосфоресценции моря.

Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное — «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фолада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово

«Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба морской черт носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.

Морской календарь

В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по нескольку страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета „Абрек“», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочел из этих «Записок» несколько страниц:

«Второго апреля 1864 года мы вошли в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане, вблизи Таити.

Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.

В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.

Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.

Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, „морскими сердцами“.

Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.

Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.

Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, вода была очень теплая.

С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.

В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.

Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, полз-

ли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых орехов. Они выедали из них мякоть и нисколько нас не боялись, — даже тащили орехи у нас из рук.

Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.

К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Африки. Через год несколько туземцев-канаков вернулись на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.

Ко времени прихода „Абрека“ в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.

На острове мы видели трех монахов, несколь-

ко солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продавал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.

Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.

В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.

Король угостил нас джином. Сам он был пьян.

На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.

Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя „палоло“. Червя этого резидент назвал „морским календарем“. Это прозвище было придумано не без оснований.

Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно

в один и тот же день осенью все черви подымаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день океан вблизи острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.

Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру.

Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.

Дня за три до всплытия палоло с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.

Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.

Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.

Луна подымалась над островом во всем своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего

лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.

Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли».

Двойная весна

То, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роятся только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый мне моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его спустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень.

Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов что-то напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко. — Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять назад он поднял крик на весь Советский

Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было — никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек! Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Всё херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времен года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и

октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем поднимается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих

одноклеточных существ — не то растений, не то животных, — заключенных в хрупкую кремневую раковину.

Формы диатомей так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, на осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомей, в планктоне плавает множество существ, обладающих всеми признаками растений и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной, — я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее,

растет, на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупалец, покрытых синими точками. В щупальцах содержится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и морских животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин

и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты ревут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить наступление на море второй весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немыслима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя, нагретая вода лежит слоем в десять-двенадцать метров толщиной на глубокой, холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Но вот дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает море в неизмеримые бассейны хо-

лодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы, — их называли кораллинами, — и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филлофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной, йодистой водорослью — филлофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на

границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли водорослей подымаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.

Рассуждение о красках и бронзе

Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнущие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету, — все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать, — сердито говорил Синьяк неопытным зрителям. — Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны в манере пуантелизма, как уже говорилось — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии. Но вполне возможно, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и размышлять.

Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души», — сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь

основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые просторы воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.

Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренным ступеням к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю ра-

боту, — сказала Сметанина, зажигая свет в комнате.

Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу „Свирепый“».

На втором рисунке был изображен совершенно

иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся пристальнее. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам, — ответила она и смутилась.

Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шли Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была

надпись: «Vive les sowiets et la mer!»[9]

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джеймсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец я увидел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшира и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану».

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки,

---

[9] Примечания: 9
Да здравствуют Советы и море! *(фр.)*

изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я наконец.

— Будущий Севастополь, — ответила Сметанина. — В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

Я не спорю — в этих проектах много роман-

тики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют людям любовь к своему городу и тем самым к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспектива, — чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть прекрасен так же, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним как с печальной необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные ду-

мают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, нельзя подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тилю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого кладбища судов разбить цветники. Дети будут играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, видавшие виды в морях.

— Ну что ж, — сказал я. — Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — рассердилась Сметанина. — Никаких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича. Но вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить, — ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит. — Сметанина в упор посмотрела на меня. — Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя вздорными и убивающими душу мыслями. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случиться только в тропиках, на девственных островах и в экзотических городах, полных тайн, отважных моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил сильно и упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали, чтобы спасти его?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять

человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты, — сказал я.

— Ну конечно, — спохватилась Сметанина. — Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину. — Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение моих собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть, — сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите, — продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений, — так я скажу за вас.

— Как хотите, — промолвила Сметанина.

— Вам хорошо известно, — сказал я, — что почти все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну хорошо, они будут. Но это пока несущественно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими

проливами. Их пересекают полноводные реки. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера.

Но интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, их можно представить себе так: приморский город с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в зарослях проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть

опилками. Дети хохочут и ни в чем не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет.

— Они будут, — упрямо повторила Сметанина. — Они будут, но, конечно, не такие старинные. Без газовых фонарей, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам, — ответил я, — хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так: Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни

как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да, — согласилась Сметанина.

— Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно, — сказала с облегчением Сметанина.

— Нет, — ответил я. — Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать, — ответил я. — Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал это блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, невыдуманного Севастополя. В этом была нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все,

что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего, — сказал я, закуривая. — Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах, — сказала Сметанина, — но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство, — осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода, сливаясь в море, журчала по обочинам тротуаров, как журчат у нас на севере лесные родники.

Веселье и голод

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую только были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир

был слышен издалека. Именно слышен. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Но людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в не существующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот целиком, если его топить мусором.

Радио буксиру было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелого» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — кочегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в

своих топках, дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутливую теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты».

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

«Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и веху, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова никак не соответствовала представлению о неспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у престарелой и забытой знаменитости.

Баранов был немолод, но строен. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Беспрерывно я узнавал то от него самого, то от окружающих

всё новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркаролы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется, не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Весьегонска до Армавира, — где бы

он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать перед смертью вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудаком» и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня из сострадания выдала нам кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы и печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что слова не печатались на ней, а выдавливались, как в книге

для слепых.

Старые газетчики в первый же день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газэта «Мрак»! «Мрак» — газэта!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре… двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни, — от истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков,

корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболь. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, — крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и — вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики — банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы,

любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило этих писателей в жизнь, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку,

покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от «любителей литературы».

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не подходящие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей

командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой.

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных и необыкновенных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он. — Способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко — Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом; полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

Скрипка мастера Равиковича

Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни — небогатую нашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем голоса сирен.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на

нас и отнял смычок.

— Это пустяки, — сказал ему смутившийся Баранов. — Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик. — Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку? Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с больными руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак — вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии…

— Я был в Италии, — сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния. — Дай вам бог счастья! Вы, случаем, не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне, — невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и заискивающе заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве

можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий, — ответил старик. — Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме рассохшейся скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,
О друг мой, в честь твою,
Всего земного шара
Я песни пропою.

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть. — Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого ста-

рика. Но между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня — его соседка, и еще профессор Московской консерватории, — я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция, — так он сказал, — и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы, — спросил я его, — что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет, — сказал он, — я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли!

Скрипач помолчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила: «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле». — «Что такое? — спрашивал я. — Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей, — говорила мадам Павлович. — Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты, и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик, — ответил я, — а скрипач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». — «Вот как! — сказал он. — Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, „Так громче, музыка, играй победу!“?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А „Интернационал“ ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь, — а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я, — тут вся кровь ударила мне в голову, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, „Интернационал“ я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете драпать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров,

Чернобыль. Не путайся у нас под ногами — и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся, — сказал он. — Ой, какой вы неосторожный, молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и мои мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя. И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком. Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.

С почтением *Моисей Чернобыль,* 59 лет».

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да, — сказал Баранов, — перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу. — Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились на Севастополь. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки, — сказал напоследок Баранов. — Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело, возить тюбетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь, почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение, — я вас прихвачу с собой. Слыхали про «Днепр»?

— Слыхал, — крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». С этим пароходом было связано одно из замечательнейших происшествий, когда-либо

случавшихся на Черном море.

Горох в трюме

Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и

реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно каждый четвертый пароход.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в ЭПРОНе (Экспедиция подводных работ особого назначения) несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном и ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигналь-

ный конец, чтобы его подымали. В ответ сразу закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажало шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что как-то заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух.

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной

рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобивости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом иной, советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца». Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять — семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой

обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки».

Из тяжелых историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатой палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны Южных и Северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакивать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало мнение о мониторах как об исключительно грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян

командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам, — знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Но человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды.

«Русалка» была монитором американского типа.

В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до

полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь.

В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствующий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля, на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Ру-

салка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорсскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорсского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они окончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость и глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со

скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели „Русалки“». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию.

Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись самыми нелепыми способами, например с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубину четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Словом, все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Русалки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские

водолазы. Они же восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать — она вся скрылась под бушующими волнами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, генуэзским башням и прибрежным домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах

капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать, — говорят они, — у берегов, где каждый год появляются новые приметы: силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет моря и суши и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря.

Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмелые, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают привычные контуры берегов в никогда не виданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама, около Феодосии, в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз, при всякой погоде. Каждый раз

он представал в неузнаваемом и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедицией ЭПРОНа, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла

бить его о камни так, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают». Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого». — Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытаращенными, злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на

команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман. — Шо такое зерно? Пустяк! Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет — океанские парохода́ рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»:

— Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра», перед тем как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как ведут себя под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой плотной коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция ЭПРОНа пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм вернулся на своих машинах со Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанскому настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. А чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих Анатолийских гор, остававшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компании «Смелого» Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота:

В черный дождь и туман
Уходил в океан
Наш фрегат.
И тогда закричал капитан:
«Черт мне брат!

Вгонит в рифы тайфун, —
Все равно приплывем в Камерун!»
Наплевать!
Двадцать пять
Стариков-моряков
Побожились давно,
Что нам больше тебя не видать,
Дом родимой страны,
Даль родных берегов, —
И пойдем мы ко дну
Под холодную, злую волну.
Двадцать пять
Моряков-стариков
Побожились об этом давно…
Нам тонуть или жить – все равно!
Нам на все наплевать
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песни. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море, жулики-арматоры — все это разрушало

наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Изо рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартом и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

Оцепенение полета

— Ну, — сказала Зоя и похлопала рукавицами, — идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфные столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге, — все это косо повалилось направо.

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, но не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом.

Когда машина выпрямилась, Зоя оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, скрывая от взгляда кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевывая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося внизу. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Монотонно гудел мотор. Синий свет заполнил

кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку:

«Налево — Байдары и Форос. Смотрите. „Земли полуденной волшебные края“ (Пушкин)».

Я написал на обороте: «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой.

Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани кон-

трабандисты. Черному морю он был обязан своим лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам вглубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые генуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Манганари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркенитского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света, — Черное море, — оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к широким горизонтам и смелым обобщениям, породил пытливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная армия стремительно заняла Крым. В этом порыве, я думаю, немалую роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать, — страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок: то они сжимались со всех сторон — и тогда сады делались густо-золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку.

Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявши-

еся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный дым исполинского пожара подымался из земных глубин.

Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбнулась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла — тьма ночи находила все более густыми волнами. Так прошло около получаса.

Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судаком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт», —

подумал я. Я пытался определить, где он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел пыльное электрическое зарево — открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией, — значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полоску в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в

сторону, огни заметались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар о землю — и мы понеслись, подскакивая и подымая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились, и наступила прекрасная земная тишина, — тишина ночи, полная запаха чабреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама спрыгнула на землю.

— Отойдем подальше и покурим, — сказала Зоя. — Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильный сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к

нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным, — засмеялась Зоя в темноте, — я бы так не полетела.

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибой.

— Вот и приехали, — сказала Зоя. — Это наша берлога.

На террасе, с лампой в поднятой руке, стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

Мать

— Ну что, — спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки, — удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется, — ответил он. — Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно, — сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово „лежит“ к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд. Самыми богатыми жителями были два

контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название „Фонарь“. Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбачью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: „Старик подмигивает!“ Такая была традиция. Раз „старик мигает“ — значит мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня, и мать. Выгонял из дому и кричал: „Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы“.

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчал, рубил топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с

синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли, и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький я сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел „Отверженные“ Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец, хотя многого и не понял.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Матросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и Февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, в деникинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там белая контрразведка расстрели-

вала людей.

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал, — ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: „Товарищ!“ Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся — вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он; может быть, надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо

было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная армия. У белых начинался, как тогда выражались, „вселенский драп“, иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт „Рион“. Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на „Очакове“ командовал миноносцем „Свирепый“, — маленький старик, простая душа, — стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на „Рион“. Шел спокойно.

„Рион“ собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем

случае остаться на „Рионе“ и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девятисот. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести тридцатой офицер сказал мне: „Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал“. Я показал ему на какую-то женщину на пристани: „Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на две минуты“. Он говорит: „С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!“

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на трехсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. „Рион“ отвалил, но взрыва не было.

У меня похолодело под горлом, — неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы, — и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах

вылетели стекла. „Рион“, весь в пару, сел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не спасся. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал „Рион“, и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Свирепые горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах горели, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один

может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали просто Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: „Иди скорее за мной“. Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся: у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались. Он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами,

как за ширмами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый, — меня словно не заметил. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду, — ответил я и пошел к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю, — сказал он, — то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убираться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь.

Голодный, с избитыми ногами, я добрался наконец до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь, — пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать. — И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть, — глаза все время слезились.

В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру — весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура-баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил сховаться?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину, — отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, что решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены, — сказал отец. — Под пулеметами работаем. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спи-

рает.

— Старик, — говорит, — куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке — все собаки подохли от голода. Темно — не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они, — говорит мать. — Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помнил еще с детства. Был он грек из города Воло. Человек отважный и верный, старый контрабандист.

Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем, — говорит Анастас. — Минут пять назад „они“ тут прошли. Время горит. Айда на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст Бог, обойдется.

Ради нее я Бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нельзя. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было — пришлось грести что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под „фонарь“ — так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но „фонаря“ не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило

несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли, — пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас. — Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая, — может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил. — Нащупали! Сидай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не почувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбачьего дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме, — лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубахе, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда вы это? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи. — Я показал на пролив. Там в осен-

нем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет, — пусть передохнет.

Девушка настояла на своем — меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими „колокольчиками“.

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала только вереница невысоких

чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощание руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из „батальона смерти“. Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскорости после этого случая. Утонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть, — неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

Кара-Даг

Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.

Джемс Кук

Мрачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет, — у нас нет верного глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал их на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрусталей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших название ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи

— утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом на нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие области. Каждая из них обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, с гулом заливая пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Из пещер вода выливалась шумными, пенистыми водопадами, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем недавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы не могли к ним подъехать, но нам показалось, что

это человеческие черепа. Очевидно, мы попали в бывший приют контрабандистов.

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты, — не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что даже крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину

от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы разошлись далеко и образовали большую арку. Там жило громкоголосое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Эхо придавало любому звуку громовый оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он щелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде. В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов.

Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от вершины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы стояли одинокими колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он прорвал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножия одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Как заманчиво было бы передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи чудесных ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу

спины серебряных пеламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недосягаемых высот.

Все это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так, верно, не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не содержащее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как изобразить амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть похожее на то жужжание планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных

воздушных потоков, рвущихся вверх из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязали себя к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решет-

чатый пол и смотрели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая — для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба. Краб с грохотом потащил за собой якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертело.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы Дива и Монах, водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Со-

юзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нереид.

Выслушав Гарта, Зоя окончила свой рассказ о Бертело.

Этот француз, учитель географии, устал от тюбетеек, кизиловых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертело приехал туда. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Суровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертело поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертело все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертело напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

Горная роса

Из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартом пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть развалины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые ореховые деревья протягивали черные ветви над черепичными крышами. У подножия деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле тусклыми зелеными пятнами. Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени

вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где, кроме собак и дозревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и наконец нашли. Они были печальны и запущенны. Разбитые надгробья тонули в бурьяне. К надгробьям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи орошения восточного Крыма.

Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей, — сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город.

Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов.

Это был человек вне профессии, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много пользы для своего дела из знакомства с живописью, и художников, обогативших

живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, способный проследить неразрывную связь несовместимых на первый взгляд явлений, может создавать подлинные ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в Средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Выводы напрашивались сами собой. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в сравнительно недавние времена.

Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков-кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, свидетельствовавший о наличии подземных пустот, — все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов и стариков-кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете, — сказал Левченко, — какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я видел, что от его раздражения

против непрошеного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я свалял дурака, — сказал он мне и засмеялся. — Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуще-

ствить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе — космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется, — вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

Подземная война

И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Эдуард Багрицкий

Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили, правда, не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, — рассказывал Левченко. — Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к

себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни

и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одной из катакомб

мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его Обер-крот. Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и какому-то особому чутью, чем по компасу.

В первое время нам удавалось прорываться на-гора`, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдоба.

— Роют, — ответил раненый. — У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце, — и ни голоса, ни крика, ни выстрела, — одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир, — тихо ответил раненый. — Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня

стало нам слышно…

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно, — шепотом сказал раненый, — роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю, — белые закладают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать вглубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые

галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться избавление.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой и свежий весенний воздух разрывал отекшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он наконец разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не стало хватать. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились вглубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли, — нас отравляли углекислым газом. Белые все-таки начали лить в подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в эти дни последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел наш Обер-крот Назимов. Он сказал, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат даже без ветра листья осины.

— Надо проверить, — сказал я. — Ты стал совсем слепой.

— Проверим, — ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан, — сказал он мне, когда мы сели, — думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал, — ответил я.

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому, — ответил он, — что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А

сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка.

Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я — и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-крот? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас

перебьют, как котят.

Голова у Назимова опять затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так… — сказал он и остановился, — если мы сделаем так… Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников, — ответил я. — Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мною?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше…

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом и они стихли. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых

товарищей. Узнал я это из записок одного белого офицера.

«Последний отряд партизан, — писал он, — целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес громко сглотнул его прямо в воздухе, не сморгнув глазом.

Сказочник

В Старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гриневский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестя-

ща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матрос-

ские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно.
В южный край —
В светлый рай
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шутливые:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!
Позвольте вас на салинг взять,
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене, — портретом Эдгара По.

Мы молчали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым точно сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать наконец запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти

— жена и ее старуха-мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина станет хорошо известным и будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен, — сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу, — что наше время — самое благородное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в

небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.

Ночь на шаланде

В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре. Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал, к своему другу — метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем Мархотского узника.

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказывания боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до возвращения Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынива-

ние от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Смелого», изрыгавшего, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма.

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору. Туман этот моряки звали «бородой». Появление его обычно предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду». Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и, как всегда зимой, особенно сильно дымили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой — и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно — крепить понтоны к миноносцу. Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове».

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес подымаемого корабля, — корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как

пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема обычно производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность — разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гартом были в каюте шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму «Смелого», неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со «Смелого» кормовой

флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец, — «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелого» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, закрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал:

«Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушитель-

ного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму, и появилась первая течь. Ее забивали паклей и клиньями.

Чтобы успокоить кочегаров, «старики» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гарт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкинутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная шаланда стояла у самого

мола.

— Время было летнее, — рассказывал Медлительный, — и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с наших водолазов, отчаянно веселый парень — Колька Гаврилиади, — в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где пустит два-три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю цигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи

Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурлила вода и вылазит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиади — парень небольшой ростом, черный как жук и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и подтверждайте, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет и притом короткий, или, по-вашему, поморяцкому говоря, — человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете, — кричу я сердито, — что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь и они делаются как у того индюка?»

Гаврилиади показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиади и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.

— Петя, — сказал он вкрадчиво, — вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хотит верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело, — спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Денисов в ответ на вопрос, что будет, когда и она оборвется, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.

Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переоделся, взял гавайскую гитару, — вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,
Прощай, Ланжерон и маяк, —
По случаю справной погоды
Уходит на ловлю рыбак.
Рыдает на моле Маруся,

И чайки стрекочут над ней,
Я скоро в Одессу вернуся,
А ты меня жди и жалей!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный. — Бесстрашный народ. Нам и жить, и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял нас на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была

вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.

Самоубийство кораблей

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых

моряков, привлеченных к этому спору.

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардей-

ские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили немедленно поднять украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих

кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз,

проклятий, свист пара и грохот лебедок.

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.

Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной сто-

роне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Заветного», не успевших проскочить под обстрелом, — открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами,

военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет Народных Комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет».

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет Народных Комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота, и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.

— В ночь на восемнадцатое июня мы, — рассказывал Баранов, — потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и

грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятия неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить — в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было

около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина, шурша, понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка.

Миноносец пускал в дредноут мину за миной, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали.

Трудно понять не моряку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец „Керчь“».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.

Почетная грамота

Из Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость: дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «Почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперебой зазывали нас в свои шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось

раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями. — Не старик, а чистое дите. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие. — Привычка у него до моря настоящая. Он море скрозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером.

Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо

Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он. — Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность.

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых, треснувших стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову.

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря, — сказал Баранов. — Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя и не серчал. — Дымченко заулыбался и искоса посмотрел на Баранова. — Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы,

морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться невежливо. А теперь послухай, что я скажу.

Вот подарило меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь, — ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселой, а умирать не страшно. Только жалко, что мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку и пруты. И подходит до меня молодой красавец — матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко». — «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорит, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет». — «Верно?» — спрашиваю. «А как же, — говорит тот матросик. — Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места. Прямо — родной сын. И после того, как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того ви-

на за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит, — должно, болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь, — ответил Гарт, — хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась, — ответила она. — Я хотела сказать примерно то же, что Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой,

дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство. Кажется, это называется счастьем.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех.

Севастополь, 1935

Мещерская сторона

Обыкновенная земля

В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в

лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то гра-

дусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира.

За Гусь-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещерских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, — надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно, существование наше, — повторил дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры

для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к хол-

мищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется

слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не

больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещерского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские болота — «мшары», или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу!

Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на его глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом

по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел

большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над

мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело, — и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встре-

тилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют

собой мещерские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не усну-

ли, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещеры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещерском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещере множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят вглубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за кос-

мы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа

его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещеры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещеры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещера — остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабель-

ных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-

то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим,

как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страш-

ной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещере почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озе-

рах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем вер-

но. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещерских челнах. Они похожи на полинезийские пиро́ги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — тра-

вы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под

кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика-колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная

луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо

— узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами.

Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся

на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И

прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда

поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Еще о лугах

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрыв-

шуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая

клубника.

Старики

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хле-

бают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было Борода на Жердях.

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё, — сказал Степан. — Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас, почитай, никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного

хлеба.

— Житьишко наше было плохое, — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке, — дед постучал корявым пальцем по лбу. — Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночастье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорит — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

Родина талантов

На краю Мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана

в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы

были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа

семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесли продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, — вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало

сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает ма-

тери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапли-

вают Мещеру. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь *Вася Зотов*».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещере, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по

усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом

и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только

зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не

забывается первая любовь.

1939

Повесть о лесах

Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!

Языков

Скрипучие половицы

Дом рассохся от старости. А может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом. Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора, — это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: рассохшийся

дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка-люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

«Прекрасная оркестровка!» — думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там — то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей — кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное тренькань деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего

дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное — только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона! В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и

закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах...»

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги — в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, — этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России — ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни — вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место — оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку — вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется — и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он

невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя

было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил цигарку из самосада.

— Играет? — спросил, подымив цигаркой, Василий. — Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на

необразованность лесника. — Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое, — согласился Василий. — А ты бы все-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы что ж, не понимаем? — рассердился Василий. — Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка. — Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

— Вот, — сказал с укором слуга, — девчонка босоногая и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

— Я не в трактир пришел, — ответил бранчливо Василий. — В трактире встретимся — будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

— Да ну!

— Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

— Ты чего вяжешься? — обиделся слуга. — А то я и ответить могу!

— Жилетку ты носишь бархатную, — пробормотал Василий, — с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

— То-то! — сказал Василий. — Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трощенке. Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая из Харькова!.. Слыхал про такого?

— Купцов много, — уклончиво ответил слуга. — Ежели бы еще он был московский… да первой гильдии…

— Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал обормотов, что спаси господи! А этот — с виду приличный господин. В золотых очках, и бородка седенькая, гребешоч-

ком расчесанная. Чистая бородка. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церковный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, говорит, волкодав леса свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть — пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор, до последней осины. Так-то!

— Серьезный мужчина, — заметил слуга.

— Хо-озяин! — злобно выкрикнул Василий. — Шея у него из одних мослаков, у анафемы!

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать.

— Служишь ты у хорошего господина, — раздумчиво сказал Василий, — а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь — а в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно

бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

— Вона! — насмешливо отозвался слуга.

— «Вона»! — передразнил его Василий. — А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому? — спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым. — Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд! Дойти до Сената.

— Будет Сенат с таким делом вожжаться!

— А не будет — так до царя-императора!

— Ну а как царь не поможет?

— Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.

— Мечты! — вздохнул слуга и затоптал папиросу. — С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы еще поглядим!

— Ну и сиди, дожидайся! — рассердился слуга. — Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

— Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил цигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! — подумал Василий, поднял голову, прислушался. — Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя»! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!»

Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал

на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. — Встань! Что с тобой, Василий?

— Спаси! — прохрипел Василий и начал через силу подыматься, опираясь рукой о ступеньку. — Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Петр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали

звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

«Успею ли? — думал Чайковский. — В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнился тучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, больными веками. Поговаривали, что губернатор — либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатились по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь.

Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, до скрипа накрахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать — изящного, седеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку, — тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

— Существующие законоположения, — медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, — к сожалению,

не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

— А что, собственно, вы находите в действиях Трощенки преступного? — осведомился он вежливо.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? «Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой»? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

— Конечно, — сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая, — лесное

хищничество — вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Но, лодыри!» — и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва плелись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги, где хочет. Под заклад его сочинений… Это решение несколько успоко-

ило Чайковского.

— Не гони, Иван, ради бога! — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, — в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье…

Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

— Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? — Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: — Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших

минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: «По совести говоря, не знаю». Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной работе, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «гения». Чайковский вспыхнул, покраснел — он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово — и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги».

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать — не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: «Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов...» Ветр с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие

неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет — здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее… кому? Тому молодому, застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам: Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал.

После переправы, садясь в коляску, Чайковский сказал кучеру:

— В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился… как его… Трощенко?

— Надо быть, там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднять.

— Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в

репьях, и пес, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирать колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

— Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», — шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, — ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко

спросил:

— Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поет древесина! А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну, и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита — золото сильно притягивает.

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная…

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу… — Трощенко помолчал. — Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

— А за сколько вы купили этот лес?

— Это дело десятое. Мой товар — моя и цена.

— Хорошо! — сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. — Я согласен.

— Что-то больно легко соглашаетесь, — промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. — Прошу!

— Спасибо. Только что курил.

— Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут.

— Царствие Божие тоже будет. Когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю.

— Я вам выдам вексель.

— Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!.. — протянул Трощенко и закурил. — Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал — ушел, а следа-то и нету! — Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. — Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра — дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

— То есть как? Вы же назначили цену!

— Обследовать еще надо. Лес обследовать.

По-настоящему его оценить. Да, пожалуй, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается — на ходу!.. Нет! — сказал он резко. — Пустой разговор! Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

— Да вы что, — сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами, — в своем уме?

— Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях живу.

— Вы просто маклак!

— Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! — огрызнулся Трощенко. — Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

«Всегда я так! — подумал Чайковский. — Вспылю, наговорю резкостей и сорву все дело».

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбе-

гались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, — сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты! — вздохнул кучер, подбирая вожжи. — Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст…

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только

что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачно-желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, — от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость! — бормотал он. — Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия

и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотавшиеся отцы»!..

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь — все это состарило его сразу на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.

Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли

она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя — значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы.

Слуга сразу ожил:

— В Москву, Петр Ильич?

— Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней…» А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь как сплошная гостиница, где за все — равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи — надо платить в срок и по дорогим счетам.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко — резче, чем следовало, — захлопнул крышку, встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал, — никого! И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

— Та-а-ак! — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без устали, без срока.

«Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна, — подумал Василий. — Отступился. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении».

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенке.

— Хозяин здесь?

— А тебе чего? — глухо спросил Василий. — Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?

— Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

— Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафе-

ма? Так я тебе и втолковать могу!

— Ты что, очумел?

— Уйди от греха! — тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенку. — Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

— Ты не того… — пробормотал Трощенко. — Не очень… Болван!

Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

Мечтательница

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом — еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях…

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашеные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, рас-

крашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

— Анфиса, глаза испортишь! — кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

— Сейчас, — невнятно отвечала Анфиса. — Только дочитаю до новой главы.

— Да ты мне вовсе и не нужна, — примирительно говорил Николай Никитич. — Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее

за краем земли.

«Мечтательница, — думал Николай Никитич. — Ох и хлебнет же она горя в жизни. Подумать страшно. Ох и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой — городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Чуть подует ветерок — и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже подпухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить — внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

— Непонятно мне, — сказал Николай Никитич

Нине Порфирьевне, — в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат.

— В вас она и вышла! — сердито ответила Нина Порфирьевна.

— То есть как это? Не понимаю, — удивился Николай Никитич. — Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

— Садовод-то вы садовод, — возразила Нина Порфирьевна, — а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

— Это для услаждения глаз, — неуверенно объяснил Николай Никитич. — Вы поглядите на эти колеры — от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

— Как называется? — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

— Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика-цветовода, когда был

в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

— А какой же осязательный результат? — неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

— Не пойму, чего спрашиваете?

— Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

— В жизни ни единого цветка не продал! — торжественно ответил Николай Никитич. — Только дарю.

— Эх вы! — сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. — Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

— Так то искусство… — робко возразил Николай Никитич.

— А театр — не искусство? — спросила Нина Порфирьевна. — Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад, надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

— Что ты, дочка? — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. — Никак, заболела?

— Нет, — ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

— Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув,

упало в темноту на песчаную дорожку.

— Что с тобой? — тихо сказал Николай Никитич. — Что это ты плачешь?

— Папа! — Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу. — Старичок ты мой милый!

— Ну что ты… — растерянно бормотал Николай Никитич. — Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

— Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

— Поживем — увидим, — ответил Николай Никитич. — Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно, надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

— Непонятная нынче молодежь… — тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

— Брось, дурочка, — сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. — Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом — надо было собрать старику ужин.

Разговоры за чайным столом

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел, — это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами» — мальчишками и девчонками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

— Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

— Да уж посмотрел…

— Тащи вещи на таратайку.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу,

несмотря на то что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

— Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, «эмку».

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

— Я уж и надежду потеряла, что ты явишься, — говорила Нина Порфирьевна. — Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда.

Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

— Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи:

школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана… Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и боль-

шой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

— Как здоровье, Марьевна? — прокричал Коля.

— Шибче говори, — отозвалась Марьевна. — Шибче! Я с летошнего года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов портулака, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

— Анфиса! — крикнул Коля. — Неужто ты?

— Я, — низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. — Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

— На все лето. Буду работать на овражной станции.

— А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купанья.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

— Вот папа обрадуется! — сказала Анфиса. — Он у меня совсем стал старенький.

— А как сад?

— Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис». — Она засмеялась. — Пойдем сейчас к нам.

— Ну что ж, — согласился Коля. — Я только

выкупаюсь.

— Ну иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Ну и жара, — подумал Коля. — Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо

сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал — не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах — «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами — пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали» так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал

из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

— Теперь, конечно, — говорил Николай Никитич, — засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

— Вот, — говорил Аренский, — дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская

песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

— Вот я, к примеру, — говорил Николай Никитич, — очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной

институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

— Хвалю! — сказал он. — Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады

бы разводила. Мало на земле растительности — от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес — так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

— Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

— Прощай, Анфис! — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в

приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь — весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем — подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

— Абрам Борисович, — говорил Смышляев, — это же не постоялый двор! Надо что-то делать.

— Вы, очевидно, полагаете, — пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее

одним глазом на свет, — что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же чернозем! — крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. — Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

— Подойди сюда! — приказал Абрам Борисович.

— Ой, батюшки, страх какой! — сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку.

— Вот капли, а вот полосканье! — сказал Абрам Борисович. — Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

— Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

— Покажи, а то не выдам лекарство!

— Неужто не выдадите? — насмешливо спросила колхозница. — Человек старый, а молодок завсегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи.

— Вот! — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. — Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, — он показал на смешливую колхозницу, — и еще чувствую себя

нормальным человеком.

— Уж вы всегда так! — пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:

— Нигде, молодайки, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

— Ну, знаете, это уже чересчур!

— Простите, Абрам Борисович, — пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле. — Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов, это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

— Работать полагается весело, — наставительно заметил Смышляев, — и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного

горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля… — Смышляев помолчал. — Кого бы дать вам в подручные?

— Я сам найду помощника, — ответил Коля. — У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.

— Ну и чудно! — согласился Смышляев.

Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль…

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

— Тебе холодно? — спросил Коля.

— Нет. Это так…

— Загрустила?

— Нет… Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

— Завтра начинаю работать, — сказал Коля. — Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

— Один?

— Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

— Возьми вместо деревенского ребятенка меня, — предложила Анфиса. — Я справлюсь.

— Работа тяжелая.

— Я сильная. Вот, смотри! — Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. — Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

— Хорошо, — согласился Коля. — Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

— Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затянули,

Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни.

Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

Овраги

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни — под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена — веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом

от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

— Иди сюда! — крикнула она Коле. — Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

— Что такое? — спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

— Лиловый сон!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые

густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание, — столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю

гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

— Как же мы теперь отсюда выберемся?

— Это что! — хвастливо сказал Кузя. — Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень — и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

— Это ты брось, — заметил Коля. — Какие теперь разбойники!

— Сам я их не видал, врать не буду, а слыхать — слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу — гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись — только меня и ви-

дели те разбойники. Один свист от меня остался.

— Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым — и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

— Что это? — испуганно спросил Кузя. — Никак, гром?

— Не похоже на гром, — неуверенно ответил Коля. — Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

— Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

— Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

— А у тебя есть отец.

— Это не то, — промолвила Анфиса. — Отцу

многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить… обо всем…

— А со мной?

Анфиса покачала головой:

— С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «Почему?» — но сверху хрипло закричал Кузя:

— Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

— Анфиса, скорей! — быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

— Скорей! — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва — далеко ли еще взбираться, — Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают

вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза — темные, напряженные — смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

— Что? — спросил Коля.

— Темно… как ночь! — крикнула Анфиса. — Мы успеем… до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? — подумал Коля. — Какая ночь?.. Ах да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далях.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» — подумал он и застонал

от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

— Что ты? — крикнула Анфиса. — Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

— Тут шалаш, землянка! — прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

— Какие молнии! — сказала Анфиса. — Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

— Гроза будет затяжная или короткая? — неожиданно спросила Анфиса.

— Не знаю, — ответил Коля.

— А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

— Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью, — ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла

в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

— Зачем? — испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. — Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники,

заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел, — дело было серьезное.

Старая яблоня

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции, — только беречься, не поднимать тяжестей, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза, — определил Николай Никитич. — Ох и будет же хлобыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный

поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» — взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план — прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему

почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

— Подмывает! — крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую

землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку.

— Анфис! — крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу.

Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад — посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотре-

ла на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

— Как раз по нему.

— Коля! — позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван: косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

— Коля, — спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, — пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней… — Нина Порфирьевна помолчала. — Теперь Анфиса будет жить у нас.

— Не надо! — прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

— Ну ничего… — Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. — Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев

сказал:

— Многое я испытал, но такой грозы еще не видел.

— Я хотя и привык, — добавил Абрам Борисович, — но, между прочим, каждый раз волнуюсь.

— Народ наш — мечтатель, — заметил Смышляев. — Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья — от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

— Дело всей жизни! — вздохнул Абрам Борисович.

— Да, овраги... — задумчиво сказал Смышляев. — Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

— Недурно! — рассердился Абрам Борисович. — Когда же это кончится?

— Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в

рощи. Размывов больше не будет.

— Сказка Андерсена! — пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: — Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

— Пусть побудет одна, — вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. — Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу — самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию, — и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

— Это у меня от матушки, — ответил Смышляев. — Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом — мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было

как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

Речные фонари

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих, болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению — будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо — и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход,

и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, в какой уж раз, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во

весь голос. Всегда они у него идут по «затухающей кривой». Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, — прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она долго не таяла. Она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное — очень светлое и плодотворное — состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и

время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты счастие! Ты радость прежних лет!
Весна моей мечты далекой…

Прозаик — по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтам он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому — неожиданно и броско — передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение «навстречу заре» — вовсе не затасканная, старая метафора. Если вглядеться в

чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

«Черт возьми! — подумал Леонтьев. — Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!»

Единственное, что он сейчас ощущал, — это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными

за спину руками, — известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

«Что она читает?» — подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами — такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, — и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось — на обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой. Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо — тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми

струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.

И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи — небывалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это, в конце концов, было не так уже важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На

лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

Дорожная книга

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Она волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир «Кочегар» с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

— Шалит река! — виновато говорил бакенщик капитану. — Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекат меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве угонишься! Чуть оглянулся, а она — пожалуйста! — завалила уже песком весь фарватер.

— Нарочно в Залесье задержались, — с отчаянием сказал капитан, — чтобы проскочить этот

проклятый перекат засветло. И вот — на́ тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

— Твоя собака? — спросил капитан бакенщика.

— Моя. Дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму!

— Что-нибудь да есть, — сказал капитан. — Не без причины.

— Известно, не без причины! — радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, скорее вины нет. Не может же он

каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше, воды или песку! Вот, месяц назад, села на мель беляна у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

— А вокруг беляны-то, — спросил капитан, и бакенщик даже поежился: вот он, старый разговор, — той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла?

— Это верно, выросла! — с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило:

— Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

— Почему пустые?

— Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается,

шут ее знает!

— Что ты путаешь! — рассердился капитан. — Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось — и дожди те же, и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

— Правильно!

— А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом, — капитан кивнул на песчаные берега. — Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

— Лес, конечно, был, — ответил неуверенно бакенщик. — Ха-а-роший лес! Семь верст до небес — и все лесом.

— Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса — не надо нам никаких плотин. Понятно?

— Понятно, — пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в

театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели, — от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

«Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать» — таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям.

Стипендии ей не хватало, и она кое-что подрабатывала: помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но всё искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет — то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах

олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски, — все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и наконец начнется спектакль — то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала: решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно.

«Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград», — говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами, — ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от

речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко — больше усмехался.

— Сидим? — спросил Леонтьев Анфису.

— Сидим!

— Люблю речное плавание, — хитро сказал Леонтьев. — От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область».

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало — ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и

смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

— «Рылеева» не видали?

— Следом идет! — отвечали с мостика.

— Там у меня зять механиком!

— Чего?

— Зять, говорю, механиком!

— С чем вас и поздравляем, папаша! — кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой

пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты — антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет.

Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Деврием начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тян-Шанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, «заштатных», но даже все

села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов «России». Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

«На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшая в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком

его сочинений. В 1788–1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал „Утренние часы“ и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по доносу козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы „Алеко“ и ряда других произведений».

Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать:

«В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был „вершать“ разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужи-

ка, который закричал „караул“ и сказал за собой „государево слово“. Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья как он укажет, то он будет „летать, как журавль“. Крылья были сделаны „по указу великих государей“. Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь „раскручинился“, приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество».

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ — неспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк.

Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе — ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые, и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы,

каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера — каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к то́му «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головнин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие.

«А мы? — думал Леонтьев. — Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников — уроженцев этой же области».

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов…

Для этой работы нужно создать содружество

писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет — захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем — с семнадцати лет — я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».

Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

— Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? — спросил он Анфису. — О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова — Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

— А отец? — спросила Анфиса.

— Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.

— Как же он дал вам образование? — удивилась Тата.

— По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне — Кержак. Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, «черные бури».

Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

— Он умер? — спросила Анфиса.

— Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезáл из газет и клеил на стенку: очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда… Да, — повторил, помолчав, Леонтьев, — невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце — красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались

тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба, — сухо, мертво, как жестяные.

Да… Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! — говорили. — И так дыхать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши Господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!»

Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! — говорят. — Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит, мол, надо отслужить молебствие о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней

все село.

— Прямо Средние века! — возмутилась Тата.

— Да, — ответил Леонтьев. — Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: «Помолимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей, — с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: «Миром Господу помолимся...» Кадит, искры из кадила

сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал Господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»

— А что же это было? — испуганно спросила Тата.

— Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей — и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно — и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как

только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликал беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник бубенцом.

Тата засмеялась.

— Да!.. — вздохнул Леонтьев. — Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали — да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги — искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть…

Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

«Не боги горшки обжигают»

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира — молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга — реальность.

«Работа исполинов!» — думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик какая-то суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука — толстощекого мальчика с сон-

ным лицом.

— Можете себе представить, — трещала старушка, — сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.

— Чего вы так волнуетесь? — заметил инженер. — Добро бы по делу ехали.

— Ну знаете! — воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. — Каждый думает, что его дело — самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

— Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.

— Буксир! — крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины — инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый

павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

— Этот лесничий, — сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию, — совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

— Ну как? — спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

— Что «как»? — ответила Тата. — Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

— Подбросят, — пообещал Леонтьев. — Там лес, говорят, заповедный.

— Я толком и не видела настоящего леса… — грустно призналась Анфиса. — Наша область безлесная.

— А вы откуда?

— Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже

в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

— Да у Марии Трофимовны! — подсказал пожилой шофер. — Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.

Анфисе нравилось здесь все: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

— Где же ваш лес? — поинтересовалась Анфиса у Баулина.

— А вон он синеет!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.

— Что ж так? — спросил шофер. — Вода у вас будто по карточкам.

— Ох, деточка, — вздохнула старуха, — покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное

наше село.

— А где все? На работе?

— Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

— Что ж вы пески такие развели! — шутливо попрекнул старуху Баулин.

— Ох, деточка, — опять запела старуха и заправила под платок седые волосы, — пески у нас великие! Как солнешный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и все сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот — не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет и ползет — хоть переноси деревню на повое место.

— Сами виноваты, — сказал Баулин. — Сосняк рос на песках — вырубили. Начали скот на порушке пасти. Скот всю землю истолок — вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.

— Ты меня не вини, — испуганно сказала старуха, — это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче всё разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить?

До советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал — не разбери господи, чего и кричит. Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.

— Наша работа, — сказал Баулин. — Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

«Да! — думал Леонтьев. — Что может быть луч-

ше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи… Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золотистыми от заката… И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычанье коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета».

«Обо всем этом я и буду писать, — думал Леонтьев. — О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».

— Головы! — внезапно крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.

— Вот и лес! — сказал Баулин.

— Анфиса! — крикнула Тата. — Смотри, что делается!

Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу.

Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся — летят в неизвестную страну.

— Как здорово! Ах, как здорово! — восхищалась Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала:

— Хорошо, Сергей Иванович!

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

— Перекур! — сказал шофер. — Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним — Леонтьев, по-

зади — девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

На верхней площадке вышки их встретил объездчик — веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.

К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной и на платке лежали коржи из ржаной муки.

— Угощайтесь, — предложил объездчик. — Малина наша, лесная.

— Спасибо, потом, — торопливо ответила Та-

та. — Сначала посмотрим.

Она подошла к перилам вышки, села на нестроганый пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.

Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.

— «И нет конца лесам сосновым…» — неожиданно сказал Леонтьев. — Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездчиком быть, лесовиком!

Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:

— Ну что ж, пожалуйста! У нас временно есть свободное место.

— На девятом кордоне, — подсказал объездчик. — Заместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота…

— А что ж! — ответил Леонтьев. — Пожалуй, сговоримся?

— Сговоримся, — согласился Баулин.

Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И может быть, она… Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она

не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала.

Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.

Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.

Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что простругали рубанком. Внутри пахло стружками.

Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила:

— У вас мыло земляничное? Или детское?

— Детское, — ответила Тата.

— Дадите умыться?

— Бери, мойся.

Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.

— Вот это девочка! — засмеялась Тата.

А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.

— Эй, Манька! — раздался издали сердитый женский голос. — Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала!

— Сейчас, маменька! — пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. — Вот спасибо! — поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.

— Слушай, Анфиса, — сказала Тата, все еще смеясь, — что кругом за прелесть! Умирать не надо.

В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним — фотография крестьянской избы. На скамейке около избы

сидела старуха — очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.

Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.

За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета — Чайковского и красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.

— Мария Трофимовна — лаборантка в нашем лесничестве, — ответил Баулин. — А вы, оказывается, проницательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха — мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас Аграфена — бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.

— А Чайковский при чем? — спросил Леонтьев.

— Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке — по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя… знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.

— Романтическая история! — заметил Леонтьев.

Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками?

После обеда пошли в лес, в сторону девятого

кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:

— Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.

Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженой дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.

Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот — копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.

— Я все-таки не совсем понимаю, — сказала Тата, — в чем смысл заповедника.

Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно рас-

кинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.

— В чем смысл? — удивился Баулин. — Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.

— Как? — спросил Леонтьев.

— Вы удивитесь, конечно. Называются они «лесами эстетического значения». Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.

— Леса эстетического значения, — повторил Леонтьев. — Интересно!

Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.

— Тут карасей развелось видимо-невидимо, — заметил Баулин.

— Вы знаете, — сказал Леонтьев, — я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.

— Старый спор! — усмехнулся Баулин. — Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.

— Я этого не говорю.

— Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербур-

гом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

— Вот энтузиаст! — сказала Тата. — Разве человек может исправить географию?

— Не только может, а просто обязан.

Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград — Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи.

Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере — там он неотделим от хмурых пространств, — влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.

Это уже совсем не та Россия, что описана в тол-

стых томах девриеновского издания.

— Да… — сказал Леонтьев. — Мне бы только дожить!

— До чего? — спросила Анфиса.

— До окончания одной книги. Понимаете?

— Не очень, — ответила Анфиса.

Но Леонтьев ничего ей не объяснил.

В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край, в туманы.

В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе, как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой.

На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища.

— Темнеет, — сказал Баулин. — Пора домой.

Анфиса подумала, что пора не домой, а пора

остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката.

Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.

Мать и дочь

Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенево — родина Марии Трофимовны.

Мария Трофимовна ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны.

Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой.

Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подолы и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками — колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану

и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу.

По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было видно «половину России». Действительно, вид был широкий: за лугами блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес.

Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза.

В усадьбе, где жил когда-то Чайковский, невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену — единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной.

Аграфена начала волноваться за несколько

дней до концерта, дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели.

Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной. Сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем: любимую работу, дружную семью и многое другое, но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще, но это «что-то» все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это «что-то».

Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда.

«Звезда полей, — думала она. — Путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она

идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой городок и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния.

Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает: здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды.

Ведь это же ей, ей он сказал: «Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет».

Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце оттого, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви. Потому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив… Если бы он был жив…

Аграфена вполголоса спросила: «Ты что не

спишь?» Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте.

Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем «что-то», что и было, должно быть, счастьем.

Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским.

Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня.

Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела, — сережки ей очень шли.

— Вот помру, — сказала Аграфена, — останутся

эти сережки тебе. И ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя: дареное при жизни дарить — обидно это тому, кто дарил!

На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной с алыми розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза.

«Глаза строгие, — думала она, — а сам-то был такой уж добряк, что другого такого не сыщешь».

Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах.

Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь.

Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной — мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения

и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее.

«Этого ты хотел? — спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского. — Да? Этого? Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнея. Потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано, — стремление к совершенству».

С концерта возвращались поздно. Была, вся в звездной игре, холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным — не то что загадочным, а новым.

Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера, со стороны Рудого Яра, долетел протяжный и непонятный звук, как будто там трубил лось.

— Никогда еще я так не отдыхала! — сказала Мария Трофимовна. — Тебе не холодно, мама?

— Неужто ж я не привыкла? — ответила Аграфена. — Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься, Маша, хоть на вид ты и спокойная. А это, говорят, худо: от этого люди меньше положенного срока живут.

— А иначе и жить не стоит, мама, — ответила Мария Трофимовна.

— Да оно, пожалуй, и так, — засмеялась Аграфена. — Без интереса, без любви — куда уж хуже!

Глухомань

Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз.

«Так-так, так-так!» — торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк.

Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы — где-то далеко-далеко — проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес.

Голова была совсем свежая, спать не хотелось.

«Ну вот, — подумал Леонтьев, — сбылось наконец то, о чем я мечтал!» А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы.

Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне — никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец,

чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий, и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле.

Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников: соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора.

Да, сбылось!

Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования — без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте.

В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал ее оттуда и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый

челн, — Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде.

Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной.

Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать.

Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников.

Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось.

Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить: получится пушистая и белая столовая соль.

Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетенные из лозы вентеря, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая по-

чти невесомая и красивая вещь!» — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано «на совесть». Хороший, должно быть, мужик этот Прохор Стерлигов!

Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки.

Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела.

Леонтьев вытащил из печи ухватом чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения.

Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот.

«Робинзон и Пятница!» — подумал Леонтьев и усмехнулся.

Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами.

Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане.

Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину, все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безыменные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверно, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги — весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывала, все прятала тихая темнота.

Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере — желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета. Но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса.

В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти

шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как ни мучился, передать множеством слов.

Он подумал и написал:

«Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь единственно о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать!»

Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать не задевая кота. А прогнать кота он не решался.

Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань.

Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем, по существу, не любимый, а это очень плохо. И, печально усмехнувшись, подумал еще,

что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка создал.

На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой.

С первого же дня он начал работать: прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста.

Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал.

Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз, — и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара.

Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока.

Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской и, говорят, писатель, а обходительный человек и, глядя по рукам и

комплекции, мужик сноровистый и здоровый.

Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на «светлый кордон», а на «самый глушняк». Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку, — больно уж он был духовитый.

Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал:

— Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете.

— Ну вот, — чуть не рассердился Леонтьев, — уж и заскучаю!

Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать.

С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок.

Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев

увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили?

Леонтьев подошел к дому.

На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья.

Старик Леонтьев узнал: это был лесник с соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе: Стерлигова с ними не было.

— Здорово, хозяин! — бодро сказал низенький старичок. — Все ходишь, а тут гости тебя дожидаются.

Женщина крепко пожала Леонтьеву руку.

— Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты… и новые правила пожарной охраны.

— Спасибо, очень рад, — сказал Леонтьев и смутился.

— Кстати хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница. И почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно.

— Я тоже так думаю.

— Скучаете?

— Нисколько.

— Что ж, это хорошо, — промолвила Мария Трофимовна и замолчала.

Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся.

Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар.

— А мы, милок, — сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца, — несколько заплутались. Даже удивительно! Весь этот лес я насквозь знаю, а тут — такая оказия! Не иначе как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться.

— Будет тебе врать, Евтей! — сказала Мария Трофимовна.

— Зачем врать! — обиделся Евтей. — Ежели бы ты лешего встрела…

— А ты встречал?

— Милая, — огорченно воскликнул Евтей, — да я их всех в лицо знаю!

Мария Трофимовна засмеялась.

— Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь! — сердито сказал Евтей. — А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок. Вроде меня. Только у меня черный волос еще кой-где остался, а он весь сивенький.

Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась.

— Они, лешие, любители ночью к кострам подходить, — спокойно объяснил Евтей. — Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет: «Ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее. А то долго ли до беды!» Заботливый старичок! Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизм они жалуются.

— Что за прелесть старик, правда? — тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна.

— Кости, говорит, ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гущам пугать. Сказать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его — вежливо, понятно, спросишь: «А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон?» А он, понятно, отвечает:

«Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза! Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю — они все ягоды оберут, до последней, семечка не оставят». Ты, конечно, слухай его, но не прекословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему: «У меня, говорю, как я есть человек, на руке пять пальцев. А вы, лешие, шестипалые. Что это означает?» А он говорит: «Это означает наше различие». А я говорю: «Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управляюсь ловчее, чем вы с шестью». Он, конечно, рассерчал. Ка-а-ак ударит посошком по костру! Ка-ак загукает! Я вскочил — и давай лататы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешает невесть сколько, чтобы меня, значит, пугать. То шишкой запустит в загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладает. Я тоже старик тертый.

— Да тебя, Евтей, записывать надо! — воскликнул Леонтьев.

— Меня записывать — бумаги не хватит. Я вот

так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей — и самому весело. Когда человек смеется, он зла не сделает.

— Это правильно, — сказал Леонтьев.

Евтей обернулся к Марии Трофимовне:

— Слышь, что человек говорит! А ты меня коришь: «будет врать-то» да «будет врать»! Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет — гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему.

После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла: «И свежий лес шумит при звуке ветерка…» Захлопнула книгу и сказала:

— Как-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет здесь Лермонтова.

— Конечно, когда захотите. Вы любите его?

— Больше всего на свете.

Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.

Встречный огонь

День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле.

Ночь не принесла прохлады. Почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. «Заболел я, что ли?» — подумал он.

Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром. Надвигалась гроза.

Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не ударяли в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом.

Лесные чащи напряженно гудели. С сухим треском обламывались сучья. Протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора.

Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький

мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя.

Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку, в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел:

«Немедленно сообщите в лесничество! На двенадцатом квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза».

Леонтьев в первую минуту растерялся: бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае если ветер изменится, огонь может перебросить и к нему, на девятый кордон.

Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову: с лесных болот большими стаями летели дикие утки. «Спасаются», — подумал Леонтьев.

Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге.

Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось: в конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым.

Леонтьев побежал. Он пробегал сто — двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью десять километров в час.

Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним — второй, третий…

Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул:

— Скорее! В кузов!

Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину.

В машине тесно сидели рабочие, лесники, были навалены лопаты, пилы, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву.

Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву:

— Пожар не верховой! Дым желтый. При верховом бывает черный.

«Тем лучше», — подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар — это верховой, когда деревья горят целиком, от вершин до подножия. При таком ветре, как сейчас, верховой

пожар так стремителен, что на языке лесников называется «ураганным огнем».

При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют «беглым». Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь.

— Что ж так мало людей? — спросил Леонтьев знакомого лесника.

— Уже все колхозы поднялись, все население, — ответил лесник. — Они тут будут часа через два.

Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву.

Уже вечерело, и сумеречное небо подернулось багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал.

Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не

остановит.

— Остается одно, — сказал, помолчав, Баулин, — встречный огонь.

Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое «встречный огонь», но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей.

Баулин отдавал распоряжения коротко и спокойно.

Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки вал.

В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил. Вал быстро рос.

Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою.

Потом сразу, одним ударом, из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал.

— Береги-ись! — протяжно закричали издали.

Баулин приказал надеть противогазы.

Женщин отослали в глубину леса, под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали.

Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал:

— Уходите в лес, к озеру. Туда, где все. Вам здесь нечего делать.

Леонтьев отрицательно покачал головой.

— Нельзя рисковать. Если бы вы были обыкновенным человеком…

— Я и есть обыкновенный, — глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза. — Оставьте меня в покое.

Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки.

Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе.

Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару.

Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц.

Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом.

Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подожгли вал.

Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя и треща, ударило в небо.

Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробегала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла.

Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно

сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.

И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено.

Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас?

Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно. Лесники ходили с фонарями.

Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет.

— Сергей Иванович, — оживленно сказал Баулин Леонтьеву, — а огонь-то подходил и к вашему участку! Если бы не просека, та, что вы расчистили, — сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились!

— Не могу понять, — сказал Леонтьев, — почему встречный огонь погасил пожар. Раздули

такой костер, что, кажется, пылал весь мир.

— Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет… А теперь идите домой, отдыхайте.

— Сейчас. Вот покурю и пойду.

Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились. Кожа на лице саднила. Руки были в смоле и ожогах.

Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И говорят, огонь загнал в Линёвое озеро трех медведей; они еще сидят в воде и ревут от страха.

Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара.

Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна

сказала всего несколько слов: похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках и почему кашляет — не повредил ли на пожаре легкие. У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку:

— Не прячьтесь, приходите. Я буду вам очень рада.

Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел.

«Так-так, так-так, так-так!» — стучали ходики, отмеряя время.

Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке. Она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями.

— Куда идешь, дружище? — спросил офицер.

— В Пронск. А что?

— Да ничего, — ответил офицер. — Там у меня старики свой век доживают. Увидишь их — скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали.

Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул:

— Вы кто?

Офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь.

— Скорее! — закричала Мария Трофимовна. — Подымите его!

Они вдвоем подняли офицера — он был легкий, как мальчик, — и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти.

— Вы что ж, любите его? — спросил Леонтьев.

— Больше всего на свете!

Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос: «Куда идешь, дружище?»

Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно

проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока наконец не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым.

Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел:

Проселочным путем люблю скакать
в телеге
И, взором медленным пронзая ночи
тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень…

— Великан! — сказал Леонтьев и положил книгу на место.

К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна.

— Проведать вас решили, — сказал, смущенно улыбаясь, Баулин. — Как вы тут после пожара? Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете.

— Пустяки. Немного горло першило. От дыма.

Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему

в лицо строгими глазами и сказала:

— Я приехала за книгой… за Лермонтовым.

Ровные стружки

К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке, в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку.

Он несколько раз бывал на строительствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шоферам, и не обдирали без нужды деревья.

Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея.

Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь, — то рвалась газетная бумага, то са-

мокрутка расклеивалась и махорка высыпалась на землю.

Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил:

— Стучат наши дятлы!

— Стучат, — соглашался Леонтьев.

Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль.

— Здорово тешешь! — говорил Леонтьев.

— По-касимовски! — отвечал Федор. — Главное, хороший струмент надо иметь. А обтесать — дело десятое.

— Глазомер еще нужен, — замечал Леонтьев.

— Как и во всяком деле, — соглашался Федор. — В твоем занятии тоже без глазомера ни черта не получится.

— В каком это занятии?

— В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать,

как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы, не отыщешь.

— Тоже труд великий! — вздыхал плотник Илларион — худой, болезненный, никогда не снимавший бараньей шапки. — Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни.

— А в чем оно заключается, — хитро спросил Евтей, — предназначение жизни?

Плотники на минуту перестали тесать, вопросительно посмотрели на Евтея.

— То-то! — сказал Евтей. — Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Илларион, видать, мелешь — сам не понимаешь что. Какое, например, мое предназначение? Щи хлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?

— Тебе виднее, — пробормотал Илларион.

— Вот и видно мне, — сказал Евтей, — что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что же полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и неученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно! А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и

спрашиваю: для чего?

— Каждому это известно, — сердито ответил Федор. — Любому дураку ясно. Что ты нас спозаранку учишь! — Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал: — Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, а ему, видишь, побаски, развлечения! Профессор какой! Иди лес свой стереги. А мы и без тебя управимся, без твоей науки. Небось полено расколоть не может, а суется указывать!

— Это ты еще не подрос — так со мной разговаривать, — спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал. — Я те покажу, как дрова умею колоть.

Он обернулся к Иллариону:

— Давай топор!

— Чего ты?

— Топор давай, говорю! Надо спесь с Федора малость сшибить.

— Это как? — спросил озадаченно Федор.

— А вот так! По часам. Часы есть? — спросил Евтей у Леонтьева. — Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешет. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа.

— Это ты брось, друг, — строго сказал Федор. —

За каждое бревно я в ответе — не ты. Ты мне здесь игру не устраивай! Здесь не ярмарка.

— Значит, смущаешься? Не осилишь?

Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея:

— Ох и распетушился ты, дед! Прямо наскакиваешь.

— Я не таких плотников, как ты, переплевывал, — сказал Евтей и снял старый пиджачок. — Знаменитости из себя не строй.

— Проучить тебя надо, вот что! — гневно ответил Федор. — Только потому и берусь. Ну, давай! Становись!

— Вот-вот! — закричал Евтей, засучивая рукава рубахи. — Давай!

Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор.

Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Илларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея.

Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал:

— Так-то, касимовские! Так-то!

Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна.

— Крой! — кричали рабочие. — Крой, Федя! Не отступай!

— Нас не перекроешь! — хрипел Евтей.

— Ну и чешет старик! Вроде мотор!

Рабочие хохотали.

Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой, — он не отрываясь смотрел на часы.

— Стой! — закричал Леонтьев и поднял руку. — Стой! Время!

Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул. Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку.

— Вот, товарищ начальник, — сказал, отдышавшись, Евтей и обернулся к Баулину, — глядите, кто больше да лучше стесал. Ваше слово решительное.

Все притихли.

— Чего там смотреть! — хрипло сказал Федор,

ни на кого не глядя. — И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный.

— Давай руку! — воскликнул Евтей. — Я хоть и стар, а кое-чем располагаю.

Евтей и Федор протянули друг другу руки.

— Вот и хорошо! — засмеялся Евтей. — Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни! Ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч.

— Ладно уж! — согласился Федор. — Приходи-ка к завтрему. Еще раз померимся.

— Прийти можно. Мне вот охота и с Илларионом схватиться.

— Куда уж там! — смущенно пробормотал Илларион. — Мне бы свою норму обтесать — и то спасибо.

— Неужто меня не осилишь? — спросил Евтей.

Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал:

— Это как сказать… Может, и осилю.

— Куда тебе, Илларион! — снисходительно заметил Федор. — Против меня ты куда слабже. Не срамись.

— Это как сказать! — повторил Илларион. — Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой

с малых лет.

— Растравил старик плотников, — сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи. — Такой задиристый, черт, никому не даст покоя!

Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить.

Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и журчанием воды около коряг. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса. Река уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах над омутами густо цвел меж сосен розовый вереск.

Долго шли молча — Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя: вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может

сделать ему замечание.

Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала:

— Что ж это вы? Не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил. Вроде как Федора.

Леонтьев пожал плечами и промолчал.

— Посидим здесь на берегу, — неожиданно сказала Мария Трофимовна. — Какая тут теплота! И тишина…

— Сказочная река, — сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной.

— Да… сказочная.

Мария Трофимовна помолчала.

— Вы скоро уедете?

— Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается.

— А почему бы вам не остаться? Поживите у нас в лесничестве.

— В Ленинграде дела.

— Странно, — промолвила Мария Трофимовна. — Совсем вы не похожи на делового человека.

— Да я и не деловой, — засмеялся Леонтьев. — Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал

еще и половины того, что хочу… и могу, — добавил он неуверенно. — В конце концов, писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем.

— Значит, и мне? — спросила Мария Трофимовна и улыбнулась.

— Отчасти и вам.

— А я думаю — наоборот, — ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами.

— Я не совсем вас понимаю, — сказал Леонтьев. — Что «наоборот»?

— Как же не понимаете? — вполголоса, почти шепотом, ответила Мария Трофимовна, все так же глядя на Леонтьева. — Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?

Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал.

— Конечно, любили, — сказала Мария Трофимовна. — Да и как вас не любить! — добавила она и покраснела.

— За что? — спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился.

— Ни за что. Просто за то, что вы есть на свете.

Мария Трофимовна быстро наклонилась к

Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега.

Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон.

Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел — ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне насовсем.

«Вот и все! — сказал про себя Леонтьев. — Эх ты, чуткий, хороший писатель! Неласковый ты человек, вот что!»

Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа, медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. Ему стало легче на душе, будто, наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.

Ленинградские парки

Квартира профессора ботаники Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове, в Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в Ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы.

Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами.

Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича, с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру.

Яркий свет превращал кабинет в уголок цвету-

щего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм.

Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулке.

Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости.

Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола восьмисотлетнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано: «Год открытия Америки», «Смерть Ньютона», «Правление Петра Первого», «Пожар Москвы в

1812 году» — и так далее, вплоть до таблички «Октябрьская революция». Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году.

Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка.

Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов, заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков.

Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады.

Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса.

Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану.

Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах

в городах, и восстанавливают целительный кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать.

Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей «жить по-человечески».

Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города, эти скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается совсем рядом.

— Биологический возраст человека составляет в среднем полтораста лет, — говорил Петр Максимович, — а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город.

Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый «отвратительный» город

в мире.

Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет. А кроме того, туманы! Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год четыреста тонн сажи.

Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь и называется «английской».

Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось страшно за этого человека.

У нас этого не должно больше быть и не будет. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы.

Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление.

Это было забытое дело, опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича.

Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска.

Он показывал своим ученикам «в натуре» великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманных насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем — наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим, — иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которо-

му мы обязаны появлением великих творений искусства.

Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы.

О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках — созданиях человека? Чем они хуже девственных, нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе.

Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего Коля занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны.

Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился.

Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город в окрестные

леса. Приходилось определять густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, «пылезащитные свойства разных древесных пород».

Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений.

Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было.

Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде. Где она будет жить? В гостинице дорого, да и трудно получить место, а родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло.

Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна тридцати гектарам.

Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на двести километров. Эти цифры сами по себе говорили о

том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев и кустарников задерживала еще гораздо больше пыли, чем сосна.

Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города — в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в пятьдесят раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах — в тридцать раз меньше, чем на Елагином острове.

Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коле подали на почтамте телеграмму.

«Приехала десятого остановилась квартире писателя Леонтьева Фонтанка 28 жду *Анфиса*».

Откуда взялся этот писатель?

Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало: худой, загорелый и почему-то все время улыбается.

Он отправился на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом ставшем ему родным городе, он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни, сердце его было пусто.

Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил.

За дверью залаяла собака, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев.

— А! — радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз. — Наконец-то! Коля Евсеев? Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте.

Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах.

Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались.

— Ну вот, видишь… — сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках. — Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим.

Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь.

— Ну как ты? — спросил Коля.

Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью

заскреблась и заскулила собака — она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой.

— Я очень рада, — сказала Анфиса.

— Чему? — спросил Коля.

Такса чихнула, стукнулась мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить — проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь.

— Всему, — ответила, возвращаясь, Анфиса. — Ты знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград.

Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая.

— О господи! — сказала с досадой Анфиса и опять впустила таксу.

Такса подошла к тахте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса сердито заворчала.

— Почему же ты не решалась? — спросил Коля. — Я так тебя ждал!

— Правда? — радостно спросила Анфиса.

Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась

на Анфису и заскулила.

— Ну и характер! — с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу.

Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть.

— Ну, погоди! — пробормотал в коридоре Леонтьев. — Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!

— Знаешь что, — предложила Анфиса, — пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит!

В передней смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных.

Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду.

А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала.

На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Нет, — сказал Коля, — здесь жить невозможно.

— Это только в первый день, — ответила Анфи-

са. — Потом она привыкнет.

Они прошли в Летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство.

Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться, а Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить.

Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила:

— Ты понимаешь?

— Да.

Есть минуты, когда сразу меняется значение

слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое как «ветер», «улица», «да», «нет», говорило о любви. О том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы.

Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку, к Леонтьеву.

Леонтьев давно их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик.

В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки.

Солнце садилось в лугах. Пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров.

Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой.

Сейчас, в Ленинграде, Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки — и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока наконец не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет.

Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес.

Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее «нянюшкой» и подсмеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев «не хочет входить в свои лета».

— Так вот весь свой век, — горестно говорила старушка, — чемодан то укладывает, то раскладывает. Ездит и ездит, бог с ним совсем! А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объ-

ездчиком. Уж и не знаю — верить ай нет?

— Правда, служил, — подтвердила Анфиса. — Я там была, знаю.

— И к чему это мученье! Мало ему книги писать, так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток.

На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Багалею.

Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвои. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась.

Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни.

— Ведь психология, по существу, мало меняется, — говорил он, сердясь. — Любовь, ревность и все прочее повторяется из века в век. Получается рутина.

Леонтьев усмехнулся.

— Вы не согласны? — запальчиво спросил Петр Максимович.

— Конечно нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы.

— Да тысячи тем! Для всего. Для рассказов, повестей, романов. Даже для сказок.

— Вот не думал! — нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, сказал Леонтьев.

— Именно для сказок. Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена? Белки! Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков. Но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете.

Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой «надо снимать шапку».

Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала

с Колей в Пушкин.

Коля хотел показать Анфисе тамошние парки.

День был прохладный, уже осенний — «в полсвета». Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые.

Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка, и увядающие сады, и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали.

Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее неколебимое спокойствие.

До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину.

Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить.

К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости.

Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними

рядом и заговорит о садах, Лицее, поэзии.

Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение.

Она спрашивала себя: что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами?

Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно: что этот бронзовый Пушкин, и полукруглый фасад Лицея, и Камеронова галерея, меркнущая в багрянце листвы, и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд — все это связано чем-то общим, единым, и если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное.

Так, ощущая все это, но не находя своим ощущениям названия, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего.

Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами.

Сады стояли как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева,

всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, которое слышишь ты один: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой…»

Где-то очень высоко еще угадывался последний — густой и лиловый — блеск небосклона. Но тьма уже завладевала садами окончательно и полновластно.

И в этой темноте остался наконец один только звук — звон воды, льющейся из разбитого кувшина бронзовой девушки.

Встреча с читателем

Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество, к Баулину.

Не было, пожалуй, такой области в стране — от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда, — где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью.

У Леонтьева была обычная человеческая слабость — затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. И на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной.

Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге — через Москву, а на пароходе — через Свирь, Мариинскую систему и Череповец.

В дорогу он взял несколько книг, которые мог

читать и перечитывать бесконечно: письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений.

За Вытегрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Исчезли последние горожане. Пароходом завладели лесные люди: заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, выволочке леса — трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах.

В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко.

В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел маль-

чик лет четырнадцати, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски.

— Учишься? — спросил Леонтьев.

— В шестом классе, — ответил мальчик, не оглядываясь.

— Много читаешь?

— Да как придется. Я летом больше читаю. Зимой некогда.

— А кого же ты из писателей любишь?

— Я всяких люблю. — Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева. — Пржевальского люблю. И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго.

— А из теперешних?

— Горького, — ответил мальчик, — и Леонтьева.

— Кого?

— Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на пароход да и поехать подальше. А вы не ленинградец?

— Да, — ответил Леонтьев, — ленинградец. Но что-то не слыхал я про такого писателя Леонтьева.

— А я вам сейчас покажу, — сказал мальчик и убежал в дом.

«Вот так случай! — сказал Леонтьев про себя и засмеялся. — Встреча с читателем!»

Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала.

Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде.

— Прочтите непременно, — сказал он. — У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уже трудно. Она весь день сидит в саду и читает… Вы в Белозерске живете?

— Нет. Я проездом. С парохода.

— Жалко, — сказал мальчик. — А то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатьевичем и решили насадить школьный сад.

— И что же, насадили? — тихо спросил Леонтьев.

— А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите! Березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали. Футбольным мячом. Ну мы их и поколотили! Всем классом. Теперь они только на выгоне и играют.

Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры.

Что-то сжалось у него в груди, он вздохнул, встал, протянул мальчику руку:

— Ну, спасибо! Мне надо идти. Живи хорошо.

Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда, — думал он. — Лучшей мне, пожалуй, и не нужно».

Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего, такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез, — они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна.

— Что случилось? — спросил Леонтьев.

Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала:

— Да вы что ж, не знаете? Война началась!

— То есть как? — спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка — признак растерянности.

— «Как, как»! — с сердцем крикнула женщина. — Только что Молотов говорил. По радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу.

— Та-ак! — сказал Леонтьев, глядя на женщину. — Значит, из-за угла?

Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал:

— Пойдите умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так…

— Господи! — сказала женщина и густо покраснела. — Я как услыхала, вовсе обеспамятела. Бросилась к тете Даше. У нее Миша в армии. Уж вы меня извините…

Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменилось — даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее,

внешнее воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании: и тихие улички, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим уличкам, и блеск утренней листвы, и мычание коров.

В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград.

А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их и устроить им комнату.

Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию.

Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера.

Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился.

— Вот не ожидал, — сказал он, — что вы с такими предрассудками! И вы и Коля для меня свои люди, хотя и знакомы мы — всего ничего. Этот дом — ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться!

Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила.

Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля.

— Надо выстоять, — сказал Леонтьев. — И сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно.

— Да, — ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами. — Да, Сергей Иванович, — повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами.

Аграфена

С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда и не с кем.

«Дурная я, старая! — бранила себя Аграфена. — Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот уж верно: чем старее, тем дурее».

Пришла война. Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была.

Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада.

Аграфена захворала: ноги ослабели, стали как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками.

Фашисты пришли на серых машинах, с черным оружием, будто они вымазали его болотной

грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи: с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были как ведра — широкие, низкие, гремели на ходу.

В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Онуфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес. А дальше — больше, уже валили его целыми кварталами, и так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия. А потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть в Германию.

Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них невесть что — коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали

за вздернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его внакидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал Аграфене.

Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами. Вот-вот начнет сыпать первый снежок.

Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала: темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака.

Аграфена решила: если услышит близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами.

Но на этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уже приметила. Один был худой, горбоносый — не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно́, коротко,

и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи.

Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник: генерал получил от фюрера награду — железный крест — и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара.

— Да где же он, этот ваш генерал? — спросила Аграфена. — В нашем селе никаких генералов нету.

— В лесу, — сказал горбоносый немец. — В старой вилле, что есть в лесу. Там квартирует теперь генерал.

— Ой, — сказала Аграфена, — чегой-то вы все врете, путаете! Тот дом давно стоит заколоченный.

Солдаты ничего не стали объяснять, но снова потребовали самовар.

— Да вы его мне распаяете! — рассердилась Аграфена. — Небось сроду самовара не ставили.

Солдаты молчали.

— Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому

генералу самовар. И обратно самовар заберу. Вам поверишь — наплачешься. Улетит самовар — ищи потом ветра в поле.

Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом горбоносый сказал:

— Пожалуйста. Прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар. Как в кино.

Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно, держа за ручки, несли самовар.

— Пашка, — тихо спросила Аграфена, — неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?

— В каком доме? В музыкантском?

— Ну да.

— Третьего дня въехали. Я сам только сегодня узнал. Там, должно, штаб. Генерал живет, весь седой, морда как у мерина. И офицеры при нем.

— Ладно, — сказала Аграфена. — Теперь помолчи.

Шли осиновым перелеском. Неизвестно откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого уцелевшего на ветке осинового листка.

Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались.

— Зо! — сказал солдат в тесном мундире и покачал головой.

Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил.

— Смекаешь? — спросила Аграфена Пашку.

— Смекаю, — коротко ответил Пашка.

Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток.

Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь.

И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила.

Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат.

«Что за притча!» — подумала Аграфена. Все свое, знакомое: и низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр

Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и стог сена, почернелый от дождей, — все свое! И вот идут по этим местам, топочут своими сапогами-ведрами фашисты. «Далеко залетели, голубчики, да посмотрим, где сядут!»

Генерал Штумпф, высокий, с седыми, стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами — следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола. На стол нельзя было даже положить руку — тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило.

Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и, так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопаснее.

Генерал был доволен еще и тем, что в расположение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком

матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них.

Генерал отвел Бальцену лучшую комнату в лесном доме, ту, где, по преданию, жил когда-то известный русский пианист Чайковский.

Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и кстати ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии.

Генерал Штумпф знал, конечно, что это «кстати» было главной целью появления Бальцена.

Бальцен объехал всю Северо-Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался наконец почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен — человек не только деловой, но и храбрый.

В лесном деле Штумпф ничего не понимал и

относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь — это да! Это были военные материалы. А дерево только и годилось для ложи винтовок.

За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно.

— Итак, мои господа, — говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров, — вы, оказывается, не подозревали — да, не подозревали! — какую пользу вам дает древесина. Да! На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготовляются из древесины. Да, из древесины, мои господа! Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса! Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют Лорелеи, расчесывая свои волосы.

Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся, — человеку в его ранге смеяться было неудобно.

— Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего

дерева.

Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим приходилось считаться.

Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяку.

Но и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уже слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал:

— Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцен, когда утверждали, что сведете все русские леса.

— Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек! — с достоинством ответил Бальцен.

— Не вы, а мы! — сказал с угрозой в голосе Кнюпфер. — Мы косим их снарядами и танками, как траву.

— Спокойно! — строго произнес Штумпф.

Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может

произойти неприятность.

— Мы навалим сосновые бревна до самого неба, — прокричал Кнюпфер, — подожжем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцен, чудовищную котлету!

— Из чего? — спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье.

— Из штатских мозгов!

— Вы плохо шутите, — сказал Бальцен и обернулся к генералу: — Не правда ли, мой генерал?

— Шутки не входят в обязанности моих офицеров, — ответил скрипучим голосом Штумпф. — Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит как может. Не обижайтесь, господин Бальцен. Фронт есть фронт: люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий.

Штумпф понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. К черту все! К черту этого Бальцена!

Поднялся шум. В разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар.

Шум все время менялся. Сначала он походил

на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями, кто-то кого-то удерживал, кто-то требовал: «Прочь руки! Пустите меня!» Бальцен несколько раз крикнул: «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «хайль», и шум сразу перешел в беспорядочный гомон обычной офицерской пирушки.

Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом.

— О, генерал рад! — сказал он.

Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку и они выпили по стаканчику.

Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль — бог с ним, с самоваром! — а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме.

С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги,

заколоченный, тихий, и его не заметят, не тронут!.. Что тут поделаешь! Как бы еще не спалили спьяну. Ишь сколько понаставили керосиновых ламп. И как они пылают!

В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем. Все полы замараны, затоптаны.

А бывало, при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплому дереву.

День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах.

Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые: то одну ромашку, то кипрей, то подмаренник.

А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра

Ильича сирень.

До чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки — будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет: «Эх ты, сероглазая!» — и обязательно чем-нибудь отдарит.

А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит, и роса с нее польется прямо на рояль…

Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо.

— Генерал лично хочет сказать вам спасибо, — торжественно сообщил горбоносый немец. — Он сильно доволен.

Аграфена запахнула шаль на груди, встала, побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть!

Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза.

Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле туш.

Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась… Что ж это, господи!

Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног — колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам.

— Ах ты охальник! — тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.

Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо, такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину.

Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть и сердце уже знало, что надо делать.

— Ах ты охальник! — громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира. — Пащенок! Скотина фашистская!

Она рванула офицера за ворот. Офицер упал. Круглый табурет покатился по полу.

Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами.

Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет.

— Ах ты, скотина фашистская! — так же громко повторила Аграфена.

— Не здесь! — крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд.

Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол.

— Пашка! — крикнула она и захлебнулась. — Пашка, беги!

Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма, послышался запах гари, приближалась, должно быть, сама смерть. «А я вам, Петр Ильич, сирени нарвала», — не то подумала, не то вслух в последний раз сказала Аграфена и затихла.

Когда Пашка услышал крик Аграфены: «Пашка, беги!» — он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков.

Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени.

Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться — должно быть, гранаты.

Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Баушка, — шептал он и захлебывался слезами. — А баушка!»

Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало — должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы.

Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и гас смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться: фашисты часто видели его вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют.

Лесной дом, должно быть, сгорел дотла — уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер.

Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв с лугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот. Потом опять все стихало.

Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Досижу тут до утра, а там посмотрю», — решил Пашка, сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему пала снежинка, потом вторая, — уже шел реденький, мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник.

Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем.

Разрывы приблизились. Снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно

разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило наконец угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки.

«Чего это горит? — подумал Пашка. — Горит во всю ширь. Нет у нас таких больших сел».

Он вглядывался в пожар, соображая, что же это горит, и радуясь. Громыхание боя приближалось, становилось явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь?

Странно было лишь то, что бой шел как бы сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес да освещенные огнем корявые корни поваленной ветром сосны.

Зарево разгоралось, огонь уже поднимался высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление.

Земля тряслась, песок сыпался Пашке за шиворот.

Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было; очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд.

Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота.

Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село.

Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев — озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали.

На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом, по прозвищу Покуль. Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали.

Дед завидел Пашку и сказал офицеру:

— Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе,

у Аграфены, покуль тут хозяевали фашисты. Его спросите.

Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами.

— Здорово, Пашка!

— Здравствуйте, — неуверенно ответил Пашка.

— Где Аграфена Тихоновна?

— А вам зачем?

— Хочу ее повидать.

— Нету ее, — ответил Пашка и засопел. — Убили ее фашисты…

Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед Покуль вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра.

Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул:

— Рассказывай, как было. Не бойся.

— А вы кто? — спросил Пашка и потянул носом. — Сродственник ей, что ли?

— Нет. Я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский.

— Машу знаете? — спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке. — Быстроногая была девчонка. Сноровистая. Вся в мать. Да, покуль мы здесь землю ковыряли,

покуль то да се, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала. Лесовод!

Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной: как забрали солдаты самовар; как пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели.

Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.

— Да, — сказал он наконец, — простая русская женщина Аграфена Тихоновна…

И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера.

Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас: будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть.

«Есть женщины в русских селеньях…» — вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи.

— «Есть женщины в русских селеньях…» — повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день.

С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в

армию, и до этого дня он вспоминал лесничество. И решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда.

С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишенные ветвей.

В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты свели его весь, до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес: необыкновенной мощи, чистоты и прелести.

Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все это было особенно ясно выражено в этом лесе.

Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери — красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки.

Это воспоминание преследовало его как удиви-

тельная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью.

Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор.

В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны: село Бартенево.

Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу, за рекой, тянулись луга, а по взгорью подымался лес.

Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма.

Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рва-

ные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами щелкали снегири.

Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне.

— Они в сундучке у нее, — охотно сообщил Пашка. — Я видел. А ключик за божницей.

В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней — чистые сорочки, потом ленты, фотография Аграфены с Машей — вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке — серьги.

Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл.

Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма.

Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти

Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой.

Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтовой адрес. Он хотел прибавить, что ждет ее писем, но почему-то не решился.

Третье письмо он написал Анфисе.

Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне.

Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей.

В письме к Анфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены, почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами:

«Берегите себя. Я привязался к вам всем, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то, так и быть, я буду вашим посаженым отцом. Вам

с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь — не знаю. Где Коля? Вот дерусь, забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь — чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверия к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю».

Железное время

Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

«Вернутся ли они? — думала Анфиса. — Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?»

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет

великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт.

Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград.

Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверно, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна оттого, что ей нечем накормить иззябшую и едва держащуюся на ногах Анфису.

— Смотреть на тебя не могу, — говорила Нина Порфирьевна, — какая ты стала худенькая. А у меня только и есть что хлеб и чай. Правда, и сахару немного.

Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас, совсем по-диккенсовски, засипел, запел, потом начал булькать,

бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанная в три одеяла, смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом.

…Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в

маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно неподходившие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы…

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание…

Однажды она рассказала об этих своих мыслях

Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли!

Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям.

Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку: просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея. Где он, куда эвакуировался?

Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь, к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове.

Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова поля.

Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались

покинутыми: ни одного человека не было видно на палубах. Заиндевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали.

Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В Летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца.

Если тревога заставала Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке — под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами.

Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады непроницаемой для взрывов средой.

Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором.

В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.

Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.

— Откройте, — сказала Анфиса. — Я к Петру Максимовичу.

— Тяните дверь к себе, — ответил глухой голос.

Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.

— Петр Максимович! — вскрикнула Анфиса. — Да разве вы в Ленинграде?

— Не вижу кто, — сказал Петр Максимович. — Кто вы такая?

— Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.

— Пойдемте, — сказал Петр Максимович. — Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться — безбожно зады-

хаюсь… Я рад. Очень рад!

Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.

— Тут у нас тепло, — сказал Петр Максимович. — Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.

Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.

— А я не уехал, — сказал Петр Максимович. — Заболел крупозным воспалением легких и так и остался, представьте себе!.. Я вас совсем не вижу.

Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.

— Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте… Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.

Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.

— Так, — сказал он. — Значит, вы живете у

Леонтьева. Жаль.

— Почему?

— Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.

Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.

— Золото! — засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. — Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.

— Какие семена?

— Быстрорастущих деревьев. Здесь, — Петр Максимович показал на ящики, — весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.

Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого

дошел до комнаты полновесный удар.

— Всё по Васильевскому! — заметил Петр Максимович. — С утра палят и палят.

Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.

— Представьте себе, — сознался он, — я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.

Он закурил, весь окутался дымом и спросил:

— Вы терпеливая?

— Очень.

— Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слова молвить.

Он помолчал.

— Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы… И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.

— То есть как? — удивленно спросила Анфиса.

— Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они

тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.

— Леса? — спросила Анфиса.

— Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода.

— Ну что вы! — сказала Анфиса.

— Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.

В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:

— А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!

— Вам очень, должно быть, трудно, — заметила Анфиса.

— Нет, не очень. Я еще и в детском интернате

работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше всё ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите… — она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле, — слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках! Хоть и топим, а холодно… Да они все, старики, такие! — неожиданно заключила Полина Максимовна. — Про семена Петр Максимович вам рассказывал?

— Рассказывал.

— Тут семена есть наши, древесные, — почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна, — а вон те, в той комнате, — это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это знаете какая ценность! Сколько выра-

щивали, работали, берегли… А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!

— Не удержалась? — спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. — Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!

Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.

— Я никому не скажу, Петр Максимович, — сказала Анфиса. — Поверьте мне.

— Я знаю, — ответил Петр Максимович и открыл глаза. — Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась… Полина, — сказал он погромче, — не волнуй-

ся, милая! Вскипяти нам лучше водицы… Так вот, — Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался и он совсем не засыпал, — минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья, — он показал на цинковые ящики, — пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое «гонкое» дерево, растет со сказочной быстротой — по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.

— Петя, — сказала из соседней комнаты Полина Максимовна, — да не мучь ты ее, ради бога, свои-

ми лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.

— Ничего, она будущая жена лесовода. Ей это нужно знать.

Анфиса напилась кипятку с кусочком сахару, разрумянилась и повеселела.

Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.

Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича — блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий.

Она вышла к Бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что было слышно шуршанье снега, задевавшего на лету за рваные листы кровельного железа.

Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на

него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении двух столетий. Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов. А может быть, остановился на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город — провозвестник социалистических времен.

Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер и она одна бредет по нему со своими не додуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть!

Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени. В снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций.

Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов. И вскоре весь город и все пригороды

уже гремели непрерывным орудийным огнем.

В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую и упорную канонаду — должно быть, по ту сторону вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слыхала.

«Неужели наши прорвали блокаду?» — подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь, по Дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза.

Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.

Ожидание

В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее были всегда холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар.

Сестру звали Марией Трофимовной.

Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь.

Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг.

Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу.

Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогревающемся саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев ползут стрелки молодой травы.

За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. По-

степенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался.

Да… в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под Стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины.

На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать.

В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу — томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле.

— Ну как? — спрашивала она. — Легче?

Коля кивал в ответ.

За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни с сеном. Начиналась весна.

Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она второпях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул

руку, взял книгу.

На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел подпись: «Ваш С. Леонтьев».

«Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?»– подумал Коля. Да нет, мало ли Леонтьевых на свете. Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей:

— Вы извините, я уронил письмо.

— Ничего, — ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата.

— Сергей Иванович Леонтьев, — сказал Коля. — Хороший человек, писатель. Это он?

— Вы его знаете? — Сестра быстро села на кровать, в ногах у Коли. — Откуда?

— Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент Лесного института.

— Удивительно! — сказала сестра. — Я тоже лесовод.

— Почему же вы работаете сестрой?

— Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач — знакомый. Взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего тридцать километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объезд-

чиком? Два месяца.

— Слышал. Он лесной человек… Это при вас приезжали в лесничество две девушки?

— Нет. Я была в отпуску. Но мне рассказывали. Вы их тоже знаете?

— Одну знаю. Мы из одного города.

— А вот этого Лермонтова, — сказала без всякой связи сестра, — Сергей Иванович мне подарил перед отъездом.

— Извините, — сказал Коля, — но откуда вы получили письмо? Где он сейчас?

Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки.

— В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет — там у меня мать погибла.

— Да… — сказал Коля. — Тяжело.

— Знаете что, — сказала сестра, — не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу… Как удивительно, что вы его знаете!

— Только вы не уходите, — попросил Коля.

— Нет, не уйду, — ответила сестра, отвернулась к окну, задумалась и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался.

Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза.

Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли.

«Что это? — подумал Коля. — Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет… Как кричат галки! Ведь это весна. Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня Благовещенье и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье. Благая весть…» Он ждал ее. От Анфисы.

Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо.

— Что с вами? — спросила она. — Вам нехорошо?

— А что?

— Вы кричите во сне.

— Не знаю. Приснилось что-нибудь.

— Ну, спите, — сказала Мария Трофимовна. — Набирайтесь сил.

Она вышла из палаты. А Коля тут же крепко уснул.

Городок был в шестидесяти километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах.

На следующий день после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла.

Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях, в одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло и раненые перестали беспокоиться.

В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переоделась у себя в комнате и вышла на улицу.

Ложились сумерки, но огней нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров.

Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было, но повторится ли опять? Увидит ли она его?

Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что, пока не прошла река, нельзя снимать шубы. А она сняла свою старую, надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась.

Для кого надела — неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной и тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как было бы хорошо!

Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека.

Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда просну-

лась, часы пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания.

Тяжелее всего были не боль и не слабость, а утомительное состояние полусна-полубодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что — во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом, в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза — желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал — неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет.

Закроешь глаза на минуту, снова откроешь — видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают, куда-то торопясь, облака, и нянюшки гремят посудой. А через минуту снова ночь, и мать, Аграфена, стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим плечам.

Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию

входит знакомая песня: «Во поле березонька стояла...» Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама, — говорит Мария Трофимовна, — ну, мама же! Как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!» — «Дурочка ты, — шепчет Аграфена, — разве я сердце свое могу замкнуть на замок?»

А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи: то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес!» — говорит Аграфена.

А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева. Но он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается.

«Михаил Юрьевич, — тихо просит Мария Трофимовна, — помогите мне, милый! Подайте руку».

Кто-то подает ей маленькую загорелую, крепкую руку, но поздно: вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание.

Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда

Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы.

Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве, среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только крякал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал:

— Беспорядку много в этом деле… в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скриплю, старый пень. Нет на меня управы! Я бы с ней обменялся в охотку, да меня, видишь, никто об этом и не спрашивает.

Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал.

В тумане спрятанного солнца

Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна.

Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром.

Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал:

— Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю. На сотни лет.

— Ничего! — ответил Коля. — Вырастим леса и раньше.

— Это точно, — согласился солдат. — При теперешнем развитии нашей мысли.

В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый

туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов.

Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо и что, как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск.

Город оживал на глазах. Жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы.

Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город.

Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми, выгоревшими погонами, с почти пу-

стым вещевым мешком, висевшим через плечо.

В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был наполнен запахом моря; с залива чуть тянуло утренним ветерком.

Коля вошел в знакомый двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали пустые гильзы от зенитных снарядов.

В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся.

Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками.

— Ты, Анфиса? — крикнул Коля и побежал к ней.

Она никак не могла встать. Она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске.

— Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек! Что же ты ничего не писал?

И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.

Короткое научное сообщение

Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним.

Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался, — тот, по мнению шофера, был чудак. Сев в машину, по дороге в Кремль он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления ни две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы.

Шофер был обижен. Машиной восхищались все, а этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал:

— Эта машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый «бьюик».

— А что такое этот ваш «бьюик»? — сердито спросил Петр Максимович.

Шофер усмехнулся:

— Такая марка.

— Все эти марки одинаковы, — проворчал профессор. — Отравляют воздух. И портят людям нервы.

Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором.

— Против этого я не возражаю, — сказал шофер. — Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине, в Калужской области, места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно.

— Это почему же?

— А потому, что если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и — пожалуйста! — собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете семь часов ехать. Да еще с пересадкой.

Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами.

Пока профессор находился в Кремле, шофер

успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел, так же как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень Ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, проносившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип.

— Хорошо! — вздохнул шофер.

Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию.

В студию так в студию! Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно: какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру.

Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались.

Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все от-

дал бы за эти взоры, за эти милые глаза…» Только после этого он неохотно выехал со двора.

— Ну, как в Кремле? — взволнованно спросила Анфиса.

— Превосходно! В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь.

Анфиса засмеялась.

— Вы рады?

— Какое там рад! — ответил Петр Максимович. — Я не рад — я счастлив.

В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер — высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай.

— Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю, — сказал режиссер. — От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить.

— Какое же беспокойство! — возразил Петр Максимович. — Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу.

— Да? — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. — Это замечательно! Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слыханное ли дело: из-

вестный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране… — Петр Максимович заерзал на кресле, — простите, но я говорю совершенно откровенно… ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским «Дядей Ваней»?

Петр Максимович кивнул.

— Образ доктора Астрова, с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера.

В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился: что за глаза у этой девушки! Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета.

— У меня прекрасная молодежь, — сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью.

— Вижу, вижу, — пробормотал Петр Максимович. — Радуюсь.

Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю.

Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь в общем хороша! Это бесспорно.

Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить.

— Прежде всего, — сказал он, — я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Во втором ряду встал смущенный молодой человек.

— Вы бывали в наших лесах? — спросил его Петр Максимович.

— Да, — ответил юноша; звали его Женей Горбачовым. — Но, конечно, мало.

— Так вот, — сказал Петр Максимович, — я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя два месяца в настоящем заповедном лесу.

Юноша вспыхнул, заулыбался.

— А как же мы? — испуганным шепотом, но так,

что было слышно во всем зале, спросила Тата.

— Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего…

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское: «лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых…» или «Роняет лес багряный свой убор…». Извините, что цитирую только Пушкина: стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти.

Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего двести — триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только

мы попадаем в леса из душных городских домов.

Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам — лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги: росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.

Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развевается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные, или черные, бури.

Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей

липы.

В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека — теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем.

Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом:

«Людям, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги».

— ...Сегодня я был в Кремле, — сказал, помолчав, Петр Максимович. — Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в двадцать миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубили и обратили в пустыри пятьсот тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили

превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и дубравы Украины. В Орловской области они вырубили все рощи, воспетые нашим Тургеневым.

Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее пяти тысяч способов ее применения.

Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстрорастущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев: сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема «преодоления времени», иначе говоря — ускорения роста деревьев, в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными.

Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих — таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы.

Это всё подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа

является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами.

Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает!

Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит наконец в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры исчезает усталость.

Великая сила жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды, во сто крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе.

При взгляде на них человек начинает понимать

все величие мироздания, начинает понимать, что значат заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю.

Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он — мертвец и сухое полено…

Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет.

Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула:

— Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали! Какое удивительное дело он себе выбрал!

Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся

и ждал его.

Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачова, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал, в Химки.

Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он «показал марку». Машина понеслась, как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах.

На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды — нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари.

Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра: должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход.

— Что играют? — спросила Тата.

Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари.

Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными.

Когда Женя Горбачов разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову.

Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный, и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису.

Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею, коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой к колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала:

— Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?

Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал:

— Вас нам как раз и не хватало.

Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал:

— Прямо из Берлина. Только что демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече со всеми вами. И вот — можно поверить, что наша старушка Земля не без чудес, — все случилось так, как я думал.

Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря.

— Кончено испытание, — промолвил Леонтьев. — Ну что ж! Выпьем, что ли, за хороших людей! И за леса, конечно!

Гонкое дерево

Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве: о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых Брянских лесов.

Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что, пока дело не начато, лучше о нем не болтать.

Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу краснобаев! — говаривал он. — Ох уж эти мне златоусты! Наговорят с три короба, а как дойдет до дела, так туда-сюда, пыр-мыр — и ничего не получается».

Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что, даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним.

План восстановления Брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не

встретил возражений.

Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, «по-настоящему» — большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос.

С давних времен Брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные боры превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, бонитета.

Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину.

До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем и на европейском рынках дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет Брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен.

Еще до революции на обширных порубках в Брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб. Овчинка не стоила выделки.

Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские боры на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия.

План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в Брянских лесах.

Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев.

Место для скорорастущих было удобное: средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости.

Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех, вместе с Колей.

Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту.

Вблизи лесничества протекала река. Ее залив-

ные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина — любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой.

Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени: студия готовилась к выпускному экзамену.

Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки, звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева и Петра Максимовича. Последнего она соблазняла разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов.

Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою «дорожную книгу». В письмах к Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма.

Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план — нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расползается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах

справиться с внутренней логикой вещи.

Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятным упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них (и, очевидно, как раз то, что им и нужно было делать), и производили на Леонтьева впечатление хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы. Но это не помогало.

— Ну и профессия! — говорил в сердцах Леонтьев. — Чтоб ей пропасть!

Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. «Все равно, — говорил он, — буду есть мякину, а литературу не кину».

Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через две недели.

Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом.

Больше Леонтьев ничего никому не расска-

зывал, и Коля, естественно, его ни о чем не расспрашивал.

После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры. Но после этих трех дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго, положив на ладонь, рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола.

Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество, к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы вчерне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда.

В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья «гонким деревом».

Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и «экзотов» — скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея.

Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами. Особенно сосна Муррея.

Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство

великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать — двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет.

Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны, вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена.

Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в вышину на девять метров.

Но самым замечательным из «быстроходных» деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине, в Канаде, она поднимается в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до тысячи лет.

Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной.

Скорорастущие «экзоты» были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов.

Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород — ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины.

Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста.

Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе.

Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям! Почему же лесовод не может посвятить любимо-

му человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, стольких же забот, как и работа над книгой.

Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые, слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги.

Кипрей

В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачовым.

Коля поехал встречать их в городок на большой реке — туда подходила ветка железной дороги.

Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням.

Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вощины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша: в кино «Аврора» шла новая картина «Машенька». Коля усмехнулся: подходящее название для кино в таком городке — «Аврора»! Богиня утренней зари!

Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в Доме колхозника.

Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил, гогоча, заспанный, недовольный гусь.

Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу.

Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон.

Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал — Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку.

Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала:

— Как все-таки мы много путешествуем, Коля!

— Никогда я не был в таких глубинных местах, — заметил, оглядываясь, Женя. — Очень все интересно.

Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля.

— Доедем! — успокоил его Коля. — Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу, около

плашкоута. Выпьем чаю, закусим.

В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску; он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар.

И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в безвестном городке с деревянными домами, с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой, — романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги.

Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине.

Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем.

Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом.

Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару.

Коля распряг мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми, замшевыми губами. Слепни исчезли.

Очень хотелось пить. Они напились воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу, из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники.

Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилища внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб — желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель — черный, с золотой полоской на брюшке, — сел на цветы кипрея и деловито загудел.

— Как здорово! — промолвил Женя. — Такой пень можно рассматривать без конца.

— Этот старый, перегнивший пень, — сказал Коля, — при умении можно прочесть, как книгу. Он весь в иероглифах.

— Как это? Какую книгу?

— Книгу о круговороте жизни в природе. И еще о многом. Вот, смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на гарях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на гарях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на гарях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало: кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и их слабые корни.

— Слушай, Коля, — сказала Анфиса, — это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька! На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях. Хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать! Надо его растормошить.

— Каждый может это знать, — ответил Коля, —

но передать по-настоящему может, конечно, только поэт.

Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту.

— Вот Петр Максимович, — сказал, помолчав, Коля, — говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники. И кстати, в лесах будут жить хорошие люди — пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.

...Жара начала спадать. Небо медленно заволоклось тучами, по лесу прошел ветер.

Коля запряг мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу.

В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох.

— Дождь! — сказала Анфиса и вытянула руку.

Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто-ча-

сто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, а от спины мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое рядно и накрылись им, как палаткой.

Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри.

Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу.

— Ты куда? — спросила Анфиса.

— Тут лесная сторожка рядом. Надо переждать.

Около лесной сторожки их облаял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги.

На крыльцо вышел худой лесник.

— Назад! — крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его.

— Дождиком прихватило? — спросил лесник. — Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу.

Вошли в избу. В ней никого не было.

— Хозяйки у меня нету, — сказал лесник. — По-

мерла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте.

— А кто же у вас корову доит? — спросила Анфиса.

— Самому приходится, — неохотно ответил лесник.

Лесник делал все медленно, не спеша: достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол.

Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила:

— Кто это у вас там?

— Где? — встревоженно спросил лесник.

— На печке.

Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание.

Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать цигарку и, помолчав, сказал вполголоса:

— Дочка там у меня. Маша. Хворая.

— А что с ней? — так же тихо спросила Анфиса.

— Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая. Людей боится. Ране я на людном кордоне служил, да вот из-за нее перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят.

— С чего же это она? — спросил Коля.

— Да-а… — сказал, не расслышав вопроса, лесник, — была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы — никаких тебе малиновок не надо! Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу. Партизанили. Маша, понятно, при мне — куда ей деваться. Побегла она как-то на Покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жмется. А там видишь какое дело: фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все! Не выдержала. С тех пор так и пошло: от людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я неласково вас встретил. Все опасаюсь, как бы ей хуже от людей не было. Но, замечаю, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уже не боится.

Лесник обернулся к печке, сказал:

— Маша! А Маша! Ты выйди. Это люди хорошие. Они с добром к нам приехали.

— Здравствуйте, — прошептала из-за занавески

девочка.

— Здравствуй, Маша, — ответила Анфиса. — Слезай, иди к нам. Будем чай пить вместе. У меня гостинцы для тебя есть.

— Я босая, — ответила девочка.

— Ну что ж, что босая? Я тоже разуться могу.

Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису.

— Вы ее больше не кличьте, — сказал лесник, — а то опять напугается. Она, может, сама придет.

Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами, потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала:

— Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и пилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой.

— Какой ваш?

— А вон тот! — Девочка показала на старые ходики. — Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует — всех зарежет.

— Ты брось, дурочка, выдумывать! — строго сказал лесник. — Ни к чему это все!

Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, по-

гладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим, мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться.

— Ну чего ты? — сказала Анфиса. — Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать!

Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней.

— Отошла, — сказал лесник. — А со мной бы — нипочем. Вот беда!

— Лаской ее можно вылечить, — заметил Коля.

— Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что.

— Я за ней дня через три приеду, — сказала Анфиса. — Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет… Поедешь со мной, Маша?

— Поеду, — едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами.

— Да… — сказал лесник. — Незнамо как и бла-

годарить. Женское сердце — оно все одолеет. Это уж истинно!

Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь верхушек деревьев, взошла луна. Свет ее блестел в лужах.

Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена.

Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же: лес и лес и блеск лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.

Старые серьги

Леонтьев сговорился в городке с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество, к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком.

Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве.

Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил:

— Огонька нету? Я свой коробок подмочил.

Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивало.

В темной струящейся воде что-то поблескивало.

— Головли, — сказал человек с медалями. — Нету клева. Шут их разберет, какая им насадка

нужна! Подойдут, понюхают и уйдут.

— Хорошо здесь у вас!

— Да, — согласился человек с медалями. — Это точно, хорошо… Далеко идете?

— В лесничество.

— Ну и развернулись там наши ученые! — с гордостью сказал человек с медалями. — Леса сажают по всей округе. Да как? Через двадцать лет тут будет рай сущий. Это точно!

Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилище и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу.

— Шалишь! — сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце.

Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала:

— Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?

— На что?

— Сметанка у меня есть.

— Езжай! — сказал человек. — Привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь.

— Что ты! — ответила женщина. — Шутишь как несообразно. Кобыла колхозная. А мне ушицы

охота попробовать. Я ее очень обожаю.

Женщина задергала вожжами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше.

Кончался август. В лугах облепляла лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной: крапивницы и лимонницы.

Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства.

Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть ему очень понравилась.

За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел: тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем.

Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий маслюк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница, сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал.

Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано.

…Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит.

На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руке она держала кошелку с грибами.

— Тебя как звать? — спросил Леонтьев. — Феней?

— Нет. Я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете.

— Ты откуда?

— Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?

— Похожа ты на Феню. Потому и назвал,

— А откуда вы ее знаете, Феню?

— Знаю.

— Вот и неправда! — засмеялась девочка. — Она «сахар» сказать не может. Говорит «шахар». И вовсе на меня не похожа.

— Да ну! — удивился Леонтьев. — Значит, это не та Феня.

— Одна у нас Феня. У нее нос рыжий. От веснушек.

— Ну пойдем, — сказал Леонтьев и поднялся. — Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?

— Часа два, — ответила Настя. — Я быстро хожу.

И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись набок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами.

— У нас в лесничестве теперь новая девочка живет, — сказала Настя. — Маша, лесникова дочка. Она с отцом жила на кордоне. А ему трудно. Она больная, Маша. Будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество.

— Зачем?

— Чтобы, значит, вылечить ее.

— Ну и как?

— Ничего. Полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит — не догонишь.

— А кто же эта молодая тетенька?

— Артистка! — ответила с гордостью Настя. — Я

вырасту, тоже пойду в артистки. Плясать буду.

«Анфиса! — подумал Леонтьев. — Конечно, она».

Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль.

Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса.

— Это здесь фашисты лес валили, — сказала девочка. — Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева — я забыла, как его зовут. Оно духовитое. И мы тоже лес сажаем.

— Кто это «мы»?

— Ребята. Мы старших иногда обгоняем.

Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться.

— Ты беги, — предложил он девочке. — Дорога прямая, я сам пойду.

— Ладно. А то мне поскорее надо.

Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту

была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью.

Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне.

Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта. Из нее пахнуло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла.

Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втоптанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу.

Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят и что никакие танки и бомбы не остановят движения нашей жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара

толклась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка.

Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое: мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул:

— Эге-гей!

Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки.

— Черт знает что! — сказал он, когда они подбежали к нему. — Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!

Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи.

Анфиса выбранила его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили.

Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватит не то что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется

пока отложить на ближайшее будущее.

Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червонного золота, что все вокруг пылало.

— Пора идти, — сказал, вставая, Коля. — Тут кругом болота. Будет туман.

Они встали.

— Ну как, — спросил Леонтьев, — вы поженились?

Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула.

Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали две простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой серьге загорелась яркая капля воды.

— Это что? — тихо спросила Анфиса.

— Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке Фене?

— Ну да, конечно, помню, — еще тише сказала Анфиса.

— Это они. Нагните голову.

Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких,

зардевшихся от волнения ушей.

— Это вам, — сказал Леонтьев. — Не от меня. От Аграфены, от Марии Трофимовны. Потому что вы — одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи.

Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек. Она была очень бледна.

Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге.

Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал.

— Ничего, — сказал Леонтьев. — Успокоится.

Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом.

Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто, на первый взгляд, ничего необыкновенного в ней не произошло.

Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно даже было все осмыс-

лить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам.

«Может быть, золотой век уже рядом», — подумал Леонтьев.

Перед этим сознанием меркнет все — все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное.

И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя, во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся за середину, придет жизнь молодежи — и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей.

Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд — все, что наполняет жизнь смыслом и радостью.

В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда — в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым

поколениям и к новым, счастливым временам.

1948

Золотая роза

Моему преданному другуТатьяне Алексеевне Паустовской
Литература изъята из законов тления.
Она одна не признает смерти.
Салтыков-Щедрин

Всегда следует стремиться к прекрасному.
Оноре Бальзак

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немно-

гое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

Драгоценная пыль

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над

Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с трескучим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно

существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете, — говорила мать Шамета. — Но все, у кого они завелись в до-

ме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник — бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть, — ответил Шамет. — Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные ар-

тиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за поношенной челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли, — престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатым желтым ртом

— тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. — Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охап-

ках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем забыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полю-

бил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома, — быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом. — Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к

Шамету, обняла его за шею и заплакала. — Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет. — Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, — погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

— У меня, — торопливо сказал он, — есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые

копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, — проворчал ей напоследок Шамет, — то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю, — ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка, — недовольно протянул молодой актер и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна. — Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет. — Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и вы-

ковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть

слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность поношенного урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил Бога, чтобы

он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже

прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть», — подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка — Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, — все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом

выковываем из этого сплава свою „золотую розу“ — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

Надпись на валуне

Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.

Салтыков-Щедрин

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки

воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом,

сосны придвигаются к нему вплотную, и, когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке том сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках

превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта

надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле как пустоцвет и не передать людям с полной щедростью всего

огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом Мультатули. По-латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между

Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но… «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негоциантами.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными, — конечно, добрыми христианами, — ссылаясь, в объяснение своих поступков, на учение Христа о любви к ближнему. Ему ни-

чего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком,

даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до тех пор еще не ясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга — «Письма любви» — была написана с потрясающей силой. Эту силу Мультатули давала исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр, — писал Мультатули. — Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми

в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благопристойного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг — тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник — художник Винсент Ван Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» — своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника — рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше

всего, — красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, для того чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал, — свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои

картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заме-

нить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики, — ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

Цветы из стружек

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяже-

нии долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!

Тихо падает дождь на полях.

И в края, где горит дымно-алый осенний закат,

Пожелтелые листья летят…

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красивости:

И опалами блещет печаль о любимом Саади

На страницах медлительных дней…

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море — Черное, Балтийское или Средиземное, — а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзоти-

ка тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная —

страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.
Ты – нежная. Ты счастье мне сулила
На суетной земле…

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, — застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось

думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

Первый рассказ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович», еще не старая, игривая, но

очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев-сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер Игнатий Лойола (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидело двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел сгорбившись и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы, — он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с

Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов, — сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек. — За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна…

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли ра-

зума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося. — Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор. — Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор. — Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной, — спокойно, даже одобрительно сказал Никифор. — Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося. — Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной, — печально

ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях

парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою

Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. — Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина

с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она. — Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчины не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку,
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня. — И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — восклик-

нул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, — глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой как жена, и он был такой веселый, Иоська, — светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься

и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они, как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер. — Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня. — Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас

как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, — сказала она. — Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, — говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур,

в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, — должно быть, благодарила Бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер. — Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, так будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами, — какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до

позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изыс-

канные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое

время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда

человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в ста-

рости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

Молния

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе, — ответил Джинс, — исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же вре-

мени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и

вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно он зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание» замысла происходит совсем не так, как это представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротеку-

щей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с

«вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту, — разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие несомненно звучат сейчас в его душе, — совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует

объяснению оных». «Критики, — сказал он вдобавок, — смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше, — совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой

ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук, и, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов.

Тоскливый сон прервать единым звуком,

Упиться вдруг неведомым, родным,

Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,

Чужое вмиг почувствовать своим…

Тургенев называл вдохновение «приближением Бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесплодно, не одарив собою людей.

Бунт героев

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами-«бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях ста-

роста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и ихний характер знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая

мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и мощно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как и Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину

срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

> *...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,*
>
> *Все под пером своим шутя животворящий...*

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: „Я вишу у дверей — звони веселей!“ „И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой“. Их зовут „дарвалдаями“. Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна.

Тусклая луна за облаками, — страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить… Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то всё приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В

этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик, — все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, — говорил Алексей Николаевич Толстой, — не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным,

поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

История одной повести «Планета Марц»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали Звездочетом и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец. — Ты видишь что-нибудь?

— Да, — ответил я. — Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсиане — и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец. — Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, — сказал я неуверенно. — Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул Звездочет. — То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко

вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля, — с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй, — согласился отец. — То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это без-

образие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул

и сказал:

— Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня на пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, заверну-

тую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она. — Пречистая Богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку

у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую, каменную стену в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я. — Построили ведь китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы, — ответил отец. — Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжали жить в

глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

Ливенские грозы

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я писал тогда мой первый роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных

плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая — Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная, — когда разговаривала со мной, то все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому, — только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под кру-

тым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал свой роман! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень

часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену. — Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса. — Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии

увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она. — Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас, — сказал он за дверью мертвым голосом. — Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Сло-

бодку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег, — тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я. — Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь едва светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним.

Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал — сон у него еще не прошел. — Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины.

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о

ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая

свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от советского правительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить, — тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. — Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сиде-

ла за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к басмачам. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго — он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет

народных комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли, — сердито сказал Шацкий. — Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он. — Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет народных комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет народных комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и

использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю „к счастью“ потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету народных комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ста-

вить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом, и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: „Кромы — всем ворам хоромы, Ливны — ворам дивны, а Елец — всем ворам отец“.

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и

спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, — страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать, — говорил он. — Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок моих детских переживаний.

— Если бы люди, — говорил Шацкий, — потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна. — Успокойся! Войны больше

не будет. Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий. — Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела его, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Старуха все еще лежала. Старика не было дома. Полина пошла проводить меня до города.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный

дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху,

которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но что писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным содержанием.

Изучение географических карт

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безымянные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно, — говорил отец, — и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно резко запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался бы для нас совершенно обыденным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа, — блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный

цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти все, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Наконец пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в

астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно — «Гелиотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Гелиотроп» напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбачьих плавучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевитой воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-ро-

зовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвациева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки, — у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и

Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании.

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать.

Вот очень короткая, рассказанная скороговоркой история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были на моем пути.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожалуй, небольшая — собранного материала

вошла в повесть. Большая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это способно с огромной силой ударить по сердцам, но при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

Зарубки на сердце

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Батюшков

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни», — не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представле-

ние о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают

необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь, Настя, жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано.

В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная,

с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом, — люди, события, отдельные частности и подробности, — это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за

угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина — и Елизавету Ксаверьевну Воронцову

— женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю: почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно-тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, — воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном

сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает, — забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считаные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад, — в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мать!

Вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.

Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал

потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница была далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей рукой, — приказ о том, что на нее надеть после смерти, — и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная, на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к ее корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но конечно, далеко не все увиденное и передуманное тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это и происходит постоянно.

Сплошь и рядом для небольшого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя,

которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и об его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным

басом старинные песни английских матросов:

Прощай, земля! Корабль уходит в море,
И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франка о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

Алмазный язык

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.

Гоголь

Родник в мелколесье

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием. Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъектив-

но. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, — в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые

люди, у которых что ни слово, то золото. Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались

маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. — Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть, — согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова, — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. — И вот скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, — и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего

не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек — простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый «родник». Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

Язык и природа

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение

с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны

непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице-царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и завалива-

ются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома́!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют

«хлебозар».

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершина поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык, — поис-

тине великий и счастливый народ.

Груды цветов и трав

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряный свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к при-

роде, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной, географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей, — ответил Юрин. — Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряный свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) находилось недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных, лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха, — должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помал-

кивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица-дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о «воздушной трявоге».

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. — Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту орву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги»! Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадысь, — сказала другая девочка, — двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик. — Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь сопливый! — прикрикнула Нюрка. — Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно воскликнула хрипловатая. — Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит

и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает, — ответила Клава. — Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом. — Дай карандашик, дурная!

— Ах ты так? — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. — Несчастье мое! На что я тебя породила!

Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая, — сказала Клава притворным, сладеньким голосом, — не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот как я действуй — учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка. — Попробуй поучи его! Он те дасть!

— Как не поучить! — возразила Клава. — Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Куруслеп, — сказал мальчик.

— Да не куруслеп это, а медуница. Сам ты куруслеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Мядуница, — поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята! — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот, глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав.

Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг густо заревел мальчик. — Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос. — Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик. — Пусть мне дасть поудить!

— Куда полез? — крикнула Нюрка. — Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.

Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал:

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он. — Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да, — сказал он, помолчав, и вздохнул. — У каждого цвета свое наименование… Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую до-

рогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица-дочь…

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есениным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.

Словари

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь — для этого у меня не было необходимых познаний, — но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором

трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружали такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), репейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более, что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное, отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти незаметен. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в стозвучной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых

всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях,

грозах, заре, свее и именах разных трав и цветов, — тоже возобновленные в памяти «записи для словаря».

Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было — «глухомань». Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же, как и слово «глушняк») от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то

согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья, бабочки и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пе-

режил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед

рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар. — Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий
Темен с давних времен.
Нож булатный за пазухой
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед начинает косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами, после того как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей Богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Осенняя пора — очей очарованье».

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер сиверко, бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку!

Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей-мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все деревенские — и не только деревенские — новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской

галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо дана Ока.

Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

…поемистой, дубравной,
В раздолье муромских песков
Текущей царственно, блистательно и плавно
В виду почтенных берегов.

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее, чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, малопонятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока

она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности, — например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоем» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоем».

Очень благозвучно и слово «Стожары» — так в этих областях (да и не только в них) народ назы-

вает созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоем, и Стожары, и льзя, и глагол сентябрит (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым, — от одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики кипели до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «На што она мне, эта квитанция! Я заплатил — значит, давай мне закуску, и все!»

У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать заподлицо оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было немыслимо.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих

ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов. В них были собраны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились

некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследова-

ния, так же как и язык людей многих других профессий.

Случай в магазине Альшванга

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть,

тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег ни разу не выпал, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью…»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и

нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболя почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной

молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал,

что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что, — сказал Благов. — Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно, — наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи.

— Что значит «пройдусь»? — спросил я. — «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски

вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду, — сказал Жора, — что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ, — ответил я. — Для очередного номера.

— Поимейте в виду, — снова сказал Жора, — что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите Бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика

в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень, — ответил я. — У вас есть сахарин?

— Есть, — ответил Жора. — В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я. — Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость

и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал, — ответил я. — Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь. — Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки,

крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь. — Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.

Как будто пустяки

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного литератора — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом

рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных на первый взгляд обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной творческой плодовитости.

«Осень подходит, — писал Пушкин Плетневу. — Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа,

сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гёте, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.

Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема.

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновенья, которое он никогда не старался вызвать насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной

ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай, — сказал он, — не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну, — сказал я, — выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «„Пострадал старик, пострадал!“ — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я. — Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня. — К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай, — сказал Гайдар, — раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты знаешь куда! — сказал я. — Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была

неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он. — Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс советик![10]

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он и работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

---

[10] Примечания: 10
До свидания, господин русский советский писатель!

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры, — наставительно ответил Гайдар, — кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал, — сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар. — Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи, — помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную

жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно,

как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила, — при любых условиях.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, космическая тишина

остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и воплощения. Проза должна быть, по его мнению, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться, правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствова-

нию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовался».

Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя.

Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно живо.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеи-

вался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и

лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!

Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница. — Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака

и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя Божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он. — Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он. — Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак. — Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я…

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак. — Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано, — говорил он. — Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал, — пишет Иордан. — Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это, в конце концов, не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написанных страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его», — говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание, — ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли

в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен!

«От бедности, — говорил о себе Достоевский, — я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без всяких поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему — накатом. «Если накатит, — говорил он, — то я пишу быстро. Ну а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже писал свои песенки

в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка.

Вообще все в лесу — каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками, — все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превраща-

ется после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная, неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо.

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомимых и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескиванье свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчанье ведра и шаги человека.

Но, во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей

на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад, — это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

Старик в станционном буфете

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы

и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик. — Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик. — А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети! Пети! — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь,

умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Просишь, стерва? — спросил он. — А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек. — Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал

немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек. — Какой независимый, скажи пожалуйста.

— А, брось ты его! На что он тебе сдался? — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.

Старик ничего не ответил. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица. — Я на вас не разорюсь…

— Палдиес! — сказал старик. — Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд

Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — они у него слезились от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если ее передать без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого

стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заваливают свои сочинения грудами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом

так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

«Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв и легкие волосы у него на голове поднялись».

«– Покуда спала, к нему пришла смерть… — сказала Даша, плача, Телегину. — Пойми же — у него волосики встали дыбом… Один мучился… Я спала.

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

«– *Здорово, тетя Паша!* — сказал, входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть *головой.*)

– *Здравствуй, Алеша,* — приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела

на Алексея. — Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

– Говоришь, всю неделю?

— Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету? — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.

– Нет. Он на производстве.

– Ну, тогда я пошел. До свиданьица, тетя Паша. Бывайте здоровы.

– До свидания, Алеша, — ответила тетя Паша. — Будь здоров.

Алексей *направился к двери, открыл ее* и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой.

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно не обязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность

по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствования людей, их психику, которая по сравнению с нашей была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — о человеке и его состоянии, о событии или, наконец, об эпохе.

Белая ночь

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу, должно быть в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызы-

вают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами, — тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой.

В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенность материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка.

Я считал, что, как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с

изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от несильного блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, своеобычные нравы — все это давало обильный материал для книги.

Прежде всего я набросал ее план. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но, сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под

руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты, — живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях, — чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину; хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться

как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть, каким-то своим особым учительским чутьем.

— Вы как, бывало, мои дуры-гимназистки перед экзаменом, — сказала она мне. — Так забьют себе

головы, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел.

Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране кладбище было, — ответил старик. — Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья.

Я подошел к нему. На гранитной сломанной

колонне виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль-Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня.

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что

касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чая и сахара, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел.

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик, «радикалами».

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля-Евгения Лонсевиля.

На девятый день были найдены упоминания о

Лонсевиле в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиля Марии-Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок-архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Улегся плотно и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника Французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся вдребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как

магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья-лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов, очень тесно связанных между собой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то что

он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи-плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз, — кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач,

не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и, когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В сред-

них широтах и на юге я как-то никогда не замечал ее. А здесь казалось — она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Заонежьем.

Животворящее начало

Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении. Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началом искусства, его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения

загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?». Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что такое воображение?

И если бы мы в этом случае заговорили о «солнце искусства» или его «святая святых», то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем

вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А для чего? — спросит нас собеседник. — Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все.

И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего,

что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже – запах океана.
В каждом камне – веянье пустынь…

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается

неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилии. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат, — досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха-нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык.

Он был уже немолод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него

не было ни родных, ни друзей!

Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица-дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение Мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на рее.

Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этот рассказ.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной

из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение

снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

— Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но Бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился Мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева Мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь, впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго. — Не может быть, чтобы этой страны не существовало. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, Провидение! В конце жизни ты поселило во мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что во-

ображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемого в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и

вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории Средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все, — сказал

Эйзенштейн. — И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал

Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволяющих себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!»

Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. Например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет, — сказал ему Марк Твен, — если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Геккельбери Финну. Финн на этом па-

мятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему не ставить памятников литературным героям? Например, Дон Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный свитер и памятник Бэле, — то весь вполне естественный ход ассоциации покажется бредом.

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристал-

лами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души, — ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса… Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни

было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой темной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумье и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне неясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, что-

бы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть, и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что как магнит притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты, — сказал Тургенев, — недаром говорят

о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но „только песня зреет“, прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, — еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют „приближением Бога“. Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге, — тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они

были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются

и прячутся, как улитки в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

Ночной дилижанс

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на

дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор, и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была

сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям, это был странный поэт. В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один

раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке-судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен. — Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на

мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница

помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры не обратили на это внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен. — Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?

— Итальянцы не способны что-нибудь предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно, — спросил Андерсен, — ваше пре-

подобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес, — возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый, — ответила дама и лукаво засмеялась, — сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен. — В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится, — сказала дама. —

Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев. Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он

щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно совершенно ничтожного, городка за ту плату, какую они предлагали. Жен-

щины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице. — Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — садитесь. Благодарите Мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки, — сказала дама. — Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать, — сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте, — кто

вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель, — ответил, не задумываясь, Андерсен. — Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шарлатан. И пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в этакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас, — ответил Андерсен. — Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли — все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры,

просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса, — помолчав, спокойно сказал Андерсен. — Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце, — так же спокойно продолжал Андерсен. — Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы… — смущенно пробормотала Николина. — Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна, — охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник. — Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее как сейчас, — ответил Андерсен. — Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь, — сказала дрогнувшим голосом дама. — Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне, — добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня,

как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария. — Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии… А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это, в конце концов, все равно.

— Сударь, — застенчиво сказала Мария, — я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Найдите его, — воскликнул Андерсен, — и он вас полюбит!

— Мария! — радостно сказала Анна. — Так это же тот молодой художник из Вероны…

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать, — сказала дама. — Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я

живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей, — уверенно ответил Андерсен. — Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна. — Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на

его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт, — ответил Андерсен. — Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необык-

новенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник. — Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошеные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница. — Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо,

а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными. Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась, — сказала она просто и виновато улыбнулась. — Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины,

каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении, — уверял он себя, — любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда

больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канова, — ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться, — пробормотал Андерсен глухим голосом. — Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы, — глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли. — Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест, — сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт, — сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену, — бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но

если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она. — И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы

сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

Давно задуманная книга

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить и несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался, — людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессребреники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю

Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала, вся в звоне труб и пороховом дыму, «Марсельеза».

После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый на свой страх и риск провел через

узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем

не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея — тихой уличке, заросшей муравой, — и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг.

Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота, — была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна, — белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого

озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик. Вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен.

Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил.

Чехов

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними

исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой: все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие, — и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав целую книгу, если не две, а то и все три.

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в ялтинском Доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции — все предлагала нам сама жизнь.

Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас

же терял.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду…», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговины Флор».

Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех,

кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха-работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпáлись от каждого веяния или,

вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее, — снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов:

— Р-р-р… нга-нга-нга! Р-р-р… нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же постарался отогнать эти мысли, но го-

речь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не было, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась

и ничего не ответила.

После этого я много раз навещал чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я по рассказам моряков знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разобрал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила

бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревоживший только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминаний о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Но все же его слезы видел, например, писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на Урал. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству — чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже

тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «России всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, пустынны. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратил время здесь, в Крыму, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка за-

девшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь.

Запись «Цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Две последние записи очень коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Но ничего неясного в этих записях для меня нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромен, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство,

что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с бóльшим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах», — вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств — силы воздействия на душу читателя.

Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе.

Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

Александр Блок

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный (по выражению Блока) звон» пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем труднее верится в самый

факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших полулегендарных, а то и вовсе легендарных людей, таких как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор не понятый Лермонтов — мальчик, успевший сказать во время своей жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его исступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, прочно существу-

ет в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать».

Среди «бренных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из Божьих чудес» — свободное русское слово.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока-человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и

воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой признательностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком, — людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов

и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто оттого, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, это был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, наносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же, у берега пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркульной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот мы и пришли, — сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благородную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смер-

ти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Абервраке.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхи-

щение. Все было сказочно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут „Мельпомена“. На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще один характерный отрывок из письма: «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю, — замечает Блок, — русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Абервракa на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 000 франков.

В этом форте все было романтично: и полу-

разрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Родные отговорили Блока от покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым о старом форте, — мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей-дочерью, прозванной недотрогой, покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтический. Прекрасно также описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,

Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества; мне чуждо его ощущение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю, и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитанья, запах золы, бурьяна и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. Но эта Русь умирала. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе

Ты, убогая финская Русь!

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки…
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и меря намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В

ресторане», поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого ая,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои…

Стихи Блока о любви только крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, согласованное с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего сколько-нибудь удачного определения.

Достаточно прочесть одну всем известную

строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка…
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до Первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временные расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь – жизнь прекрасна…

Я стремился следовать этому совету Блока. И

я ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, быть может, только более ясным до будущих поколений нашей страны.

Ги де Мопассан

Он таил от нас свою жизнь.

Ренар о Мопассане

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служило двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чут-

кое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу, сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартелеми.

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор, — говорил он, — и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-

страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что, если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил наконец в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Бóльшего он

не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и наконец прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и

отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер назло себе, назло Мопассану отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок.

А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении, он, недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь

для него! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями.

Иван Бунин

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.

И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто

болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовами — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами.

Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (да-

же «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку-мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно,

устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«…Город… гордился своей древностью и имел на то право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались „земли дикие, незнаемые“, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч…»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, об-

разностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали; пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету…

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на ро-

дину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «Воздушный корабль» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие совре-

менности не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, — многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях

напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне — вся Русь! Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, побирушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети.

В толпе — Лев Толстой, а невдалеке от него — Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тле-

ющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, — счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», — записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом,

по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки.

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон…»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы цветы на картине Ван Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как

бы доносит до картинной галереи равномерный ветер с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, — и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню…»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной

и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, о Палестине.

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству… Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удиви-

тельное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит — «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу кругообразных, непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно

выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть, — ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удиви-

тельно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание…»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать

свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое.

Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая

встреча маленького мальчика с городом:

«Всего… поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов — только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то всё поля, поля, беспредельный океан хлебов… Это… Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, — так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у

скульпторов, — «лепка людей». У немногих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок… был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивал и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута…»

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было

в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи села Становая, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему „верх“, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему… И не раз испытывал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой… Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострецам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: „Постой-ка на минутку, купец…“»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, — первобытно подвержен русский человек природным влияниям! — и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью…

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых „земля на сажень трескалась“: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев…»

Говоря о Бунине, невольно делаешься чело-

веком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепелов», и дыхание спящей любимой девушки, — «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на свете».

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую

бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству.

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и пере-

даче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Максим Горький

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что, если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует «чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так я не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски.

Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего

поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду — на весь облик человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и

шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орга́н.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то, так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и

стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, — выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива, и даже на Шпицбергене, росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об

этом можно было бы, пожалуй, подумать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

Виктор Гюго

На острове Джерсее в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго

придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.

В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружью, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер называется Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,

О котором молились века,
И душа позабудет укоры,
И усталая дрогнет рука.

В Люксембургском саду у фонтана
Вы пройдете по дальней меже
Под широкой листвою платанов,
Как Мими из романа Мюрже…

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.

Маленькая роза в петлице (Юрий Олеша)

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас.

Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начи-

нало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож

на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик. — В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров, — слово «гратис», обозначавшее,

что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал, но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич, — говорит он, — поглядывайте, чтобы

во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке „Три толстяка“». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и

победоносно.

Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот, — сказал Олеша и кивнул на палку и котомку, — когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги… Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со

мной по пустым коридорам гостиницы, выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша. — Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели»

многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет, — сказал Олеша. — Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я сказал, что город изменился с начала войны, замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно. — Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, ска-

жем, и о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку?», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!».

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатают-

ся и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтраубъ».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это

звучит как «еще до Рождества Христова» или «еще до Всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор: Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло, — ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но

пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

Михаил Пришвин

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома, — в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба — звали его просто «Михалычем». И очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается ве-

личайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья,

без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, — очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск — богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, — погружаясь в

разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами, — это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», и «деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не

подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом, и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета У-2, который прилетает в луга опылять от комарья мочажины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да я, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со

своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы, — Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть при-

щурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и, уж конечно, прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется

он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой-подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«– Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал.

— Не все, — ответил я, — но есть немного.

— Вот я бы — так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот так! Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку.

— Ну а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил, — ответил он, — все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, „коротко“! — удивился подпасок. — Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись…

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо, — ответил он».

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «…Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, — и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

Александр Грин

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книги в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать копеек — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому,

когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди нескольких намеков на улицы. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками.

Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом. Пение вдали и его эхо в оврагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую

тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань — грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана. Ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс!»

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и

перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компáс.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писа-

телей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

Эдуард Багрицкий

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя, или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя себе представить этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

И у нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в одесском порту. Он только что написал «Поэму об арбузе» — удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные

дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Поэму об арбузе».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шхуны.

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская «Донна Анна» или пушкинское «Для берегов отчизны дальней…» — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения.

Из порта мы пошли на Греческий базар. Там

была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. С раннего утра мы не ели.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть

такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и уже с порога закричал проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий. — Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет, — ответил Багрицкий. — Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле, — может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда наконец у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, — я не говорю половину, — несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, — говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душой…

Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите, — сказал Багрицкий серьезно, — даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлы-

ми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пять — десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил один в издательства и редакции, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

Он был обложен книгами, чужими рукописями

стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками сжимая морскую воду.

Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер «левант» над родным

Черноморьем.

Искусство видеть мир

Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.

Александр Блок

Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.

Джон Рёскин

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульп-

туры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебречь ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не дал им ни одной живой черты.

И действие этих рассказов, повестей и романов

происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда. Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынул снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. А предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот,

кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь. — Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что

заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунто-

ванного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место, — доверительно ответил художник. — Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел.

Я сказал, конечно шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник. — Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как

сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете, — добавил он с тревогой, — что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня, — говорил он смущенно, — но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, вполнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний.

— Мать честная! — воскликнул художник. — Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник. — Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы сказал — такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся.

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И в частности, ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников, — сказал я, — чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся, — ответил художник. — Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник. — Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник. — Такую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта, сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что, — с огорчением сказал он. — Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет,

милый вы мой, — наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть

это и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Моне приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие

красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее.

Помимо «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед

которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им.

Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян?

Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Глав-

ного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры.

Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия, — все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего нельзя было выбросить и ничего прибавить без того, чтобы не нарушился смысл повествования

и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения, — будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой век. Он наступит.

Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал.

О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны. А тем самым немыслима и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом

говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что «беллетристика должна укладываться (в сознании читателя) сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в овладении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает удивительным свойством.

Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенства, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань»

и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

«Где граница между прозой и поэзией, — писал Лев Толстой, — я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одной и потом пуститься на произвол другой? В мечте есть сторона, которая выше действительности. В действительности есть сторона, которая выше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь слова «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает

человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда он сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

В кузове грузовой машины

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге была горячая и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры».

Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и жажда.

После одного из таких налетов водитель неожи-

данно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю, — ответил я.

— И я вспоминаю, — сказал, помолчав, водитель. — Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже, — ответил я. — Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.

Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Чер-

ное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ваня мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха.

Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожог». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец-петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением,

как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов.

За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников-иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком.

За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь

на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

...Быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей
Идти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.

Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мра-

ке,

Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко

видно все небо.

Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас, — только преддверие настоящих лесов. В них входишь, как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

(Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается,

а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая не бензиновым чадом и пороховыми газами, — может быть, следует говорить «взрывными» газами, — а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься, — сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета.

Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И наконец

последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березняком, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка.

Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр, — глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные

щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев, — все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой…

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватываю-

щей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый, звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с ней и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не довесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой.

Напутствие самому себе

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог.

1955

Маленькие повести

Судьба Шарля Лонсевиля
Глава первая

Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом.

Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки…

В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую

женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лонсевиля. С ней он прожил всего две недели, потом начались походы.

Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался — за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен.

Лонсевиль сначала жил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск.

Путь был уныл. У Лонсевиля осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми, пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой тухлой воды.

— Рад стараться, ваше величество! — хрипло

прокричал рабочий.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем!

Глава вторая

Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берггауптману[11], англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: «Не зна-

---

[11] Примечания: 11

Обер-берггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке.

ешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену — ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Как можно забыть дом Гёте, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы!

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля — мысли об удивительной стране, где он нахо-

дился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода — ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек.

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой.

Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга, — англичанин плохо знал французский язык.

— Я докладывал императору о вас, — пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля. — Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старания и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный, — горячо ответил Лонсевиль. — До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. Все в этом англичанине — вплоть до припухлых век и редких бакенбард — казалось отлитым из

чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны, — сказал он, перебирая бляшки, — что жестокость необходима. Вы — джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.

Армстронг придвинул бляшки Лонсевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб, — разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика-рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы — британец. Вы — сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку, — Лонсевиль взглянул на крутой лоб Армстронга, — как можете вы терпеть порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов, — промолвил он сухо. — Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый удобный карронский способ литья чугуна[12] в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера

---

[12] Примечания: 12

Карронский способ литья чугуна — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.

доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

Глава третья

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни.

В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса! — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскойн?!

Пробы эти назывались «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер — последнее ядро торчало

из дула — и стреляли, полагаясь на милосердие Святой Девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе непрестанно.

Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции рай для легкомысленных вельмож и прелестных женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже

самой ничтожной, человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.

На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Костыля, — Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побаивался посвятить Лонсевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников — англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Берг-коллегия[13] согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскойн ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги — от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевилю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено

---

[13] Примечания: 13

Берг-коллегия — ведомство, управлявшее горной промышленностью в XVIII веке; была учреждена Петром I.

по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в «бесноватом англичанине», — его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.

Гаскойн пожимал плечами, соглашался: «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений — будем ее украшать!»

То было время, когда великие зодчие — Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин — создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым

деревень. Порфир блестел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы — громадная буква *Е* — высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства — очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжеловат, грубо шутил,

толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате.

Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чу́дно живется в веселом городке Эдинбурге!

Глава четвертая

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье

лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а? — спрашивал один из чиновников.

— Да, не вредно бы, — отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозили выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не потребляли ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилю, что у него «вывалилась кишка», и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная «жила» и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии

Трините:

«Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой.

Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по

дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения: на их ягодицах синели тонкие алые шрамы.

— Неужто в России бьют плетьми даже чиновников? — спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты, — ответил Мартынов равнодушно. — К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас почитай вся контора из сирот. Их, конечно, порют: они не дворяне.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевиля трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой

запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе ши`шельником[14]. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры. Солидные, бело-русые, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на Рождество да на Пасху давали нам на неделю выход. Платили, милок, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год да на малых ребят по двадцать рублей в год, — у меня их двое. Считай, восемьдесят рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так — получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу, — вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на Пасху и слышу — поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло.

---

[14] Примечания: 14

Ши`шельник — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья.

Он — в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что почитай по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме, — сгорел теперь тот дом, — а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг — шасть — медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами — грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили: поелику зерцало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонка того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские, — промолвил Мартынов. — И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

Лонсевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны.

В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет — письмо от Марии.

— Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай! — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина.

Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта.

Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка.

— Судьбина наша чугунная, — пробормотал Мартынов, — и конца ей никак не сыщешь. Вот, милок француз, ваше высокородие, какие наши дела.

Глава пятая

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свиреленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно

врезались в пушечные стволы. Работа в «свирельных» мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на глаз, без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевиля, объяснял, что

мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».

То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевиля. Карфагенские министры пили романеечку, а Дидона плясала «барыню», помахивая платочком. При этом она визгливо пела:

В нашем зеленом саду
Девка рвала лебеду.
Она рвала,
В фартук клала,
Приговаривала.

Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,
Тот пускай придет сам.
Кому хочется,
Тот сволочится.

Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу гувернера Бараля, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска? — Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей. — Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерства?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка», — подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком.

Но испарина не проходила.

— Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой. — Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти.

Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачулей.

— Ах, не то, не то! — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь «Марсельезы», высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день.

У выхода Лонсевиля задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевиля под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не

правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь, — сказал Лонсевиль, — вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля.

— Чем вы ознаменовали начало работ новых

машин? — продолжал Лонсевиль. — Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей. Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетьми рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой, — Лонсевиль слегка поклонился Ларину, — я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

Глава шестая

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевилю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это слово звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонецких пустошей?

Неверие Лонсевиля раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года.

Народное возмущение! Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени — оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга, подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний. Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать, хотя бы наспех,

все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.

На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов — слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть пыль с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща — золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим — и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки гене-

ральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю. — Костыль поглядел на шапку: генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои, — Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке, — вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу — клейма В, О и З.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского се-ната.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижах был?

— Так точно, был, — тихо ответил Костыль.

— Климку Соболева помнишь?

— Запамятовал, ваша светлость.

— То-то, запамятовал!

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит Костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади.

Громыхнула первая пушка — началась проба.

Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.

Глава седьмая

О приписных крестьянах Лонсевиль занес в свою тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре I к заводу приписали крестьян Вытегрской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему не годными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных.

Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться само-

му и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста — четыреста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все — от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого начальника завода голландца Генина[15], поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках.

Жить было обидно и подло. И день и ночь над головой свистели батоги. И день и ночь — тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики. В 1769 году приписные восстали.

---

[15] Примечания: 15

Генин в числе других иностранных инженеров и техников поступил на русскую службу при Петре I, был назначен начальником олонецких заводов, способствовал там большим техническим достижениям. Впоследствии был назначен Петром I начальником всех уральских заводов. Построил город Екатеринбург (ныне Свердловск).

«Память моя ослабевает, — писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке. — Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссякает время великих общих дел. Вопреки этому даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень — раньше, чем фельдъегеря прискакали с указом в губернские города, и вызвал бунт, длившийся несколько лет.

Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквах спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья

одежда блестит от лампадного масла, — их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец, о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но, когда они появляются, их почти никто не читает — нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отрабатывать вдвое больше. Припис-

ные этому не поверили. Впрочем, возможно, что и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знавал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда, и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

„Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за

семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную, — пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми в державе твоей, Богом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгноят их в Пелымских острогах[16]. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жили, теперь от терпежа одни крохи остались“.

По приписным вотчинам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине.

„Чем боле будет нас, мужиков, — писал он, — тем боле горе мужицкое встрянет в глаза ца-

[16] Примечания: 16

Пелым — город в Западной Сибири, к северу от Тобольска; место ссылки в XVIII веке.

рице“.

(Смысл слова „встрянет“ мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам „вонзится“, „вопьется“ или хотя и имеет иное значение, но близко к указанным выше.)

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения.

Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет наконец настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. Мы „кулаченные и перекулачен-

ные“. (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Клим Соболев».

Он занимал Лонсевиля гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов.

По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии — беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным

аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию, был обескуражен ее работой: вместо крутых мер беззубый вельможа — председатель комиссии — ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу — ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен, — записал Лонсевиль. — Следует расспросить о нем

не только Мартынова и Костыля, но и Ларина — в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

Глава восьмая

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстания.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласье
Нам подаст веселы дни.
Насадим народам счастье
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом.

Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок Екатерининского века, бывший полковник Тарновский. — Ларин подвел Лонсевиля к старику. — Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих

пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы? — спросил Лонсевиль.

«Явный мошенник», — подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен! — прокричал старец сипло и весело.

Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевиль вспомнил — да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати, — промолвил Ларин, — вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля? Они составляют слово «Возму-

титель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело, — пробормотал Тарновский. — А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевиль промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов. — Тарновский икнул. — Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера. История — это я. — Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел. — Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих брильянтов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть проявление широкой русской натуры!

Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на

всех балах и, выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную… Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да заждалися. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой, солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев.

Старик выпил.

— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,
И чтоб твой свет светил нетленно свету,
Не бейся об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их? — спросил

юноша в грязном малиновом фраке.

— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки, — а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы, — светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган.

«Ну, что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость. — Подай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и

Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее шелковыми салопами щеголих… Эх, пышность! — Старик потер ноги и помолчал. — Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы:

«Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат — штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля — дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежни-

ки привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас — каким орлом глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ — точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга — игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность, — ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.

— Имя леди Кингстон, — сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь, — является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.

Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч

людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?

Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной «Марсельезы». Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

Глава девятая

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.

Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.

Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и даже свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижи — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предполо-

жение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Климка Соболев, не иначе, — заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.

— Полноте, ваше сиятельство, — отвечал благодушно Лыкошин, — вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о воз-

мущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и пока-

зывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве, — такова была дикая логика Екатерининских времен.

Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.

Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору Сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О, на левой — З, и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

Глава десятая

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить у них вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.

— Я офицер французской армии. — Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай. — Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в вашей стране я нахожусь помимо своей воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинив-

шийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта, — язвительно ответил генерал, потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его передернула гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог припомнить ответ и заключить его в полные изящества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня, как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить

сапоги и упечь в яму негодяя-сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора. — Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно.

Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.

Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лонсевиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели. Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за чертежной доской. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл, — от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни — здесь Лонсевиль в последний раз отдал дань склонности к изучению биографий, — строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших деталей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гёте, о всех людях,

живших блистательно и мудро и возвеличивших эпоху своим неповторимым существованием.

Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами, — за грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владетеля Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье — диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными ва́рницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства других крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези[17] и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего русского архитектора. Он научился

[17] Примечания: 17

Джованни Баттиста *Пиранези* (1720–1778) — итальянский художник-гравер, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии.

воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, точно невесомый на первый взгляд, — настолько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль Адмиралтейства, возок застрял в грязи.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.

Глава одиннадцатая

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от

горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из нестроганых досок.

— Где же его хоронить-то? — спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надысь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула — до чего ж похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож! Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели — номеру наполеоновского полка, где служил француз, — и запела звенящим томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба,

и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

— Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе — ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам Господь к тебе идет, сам Господь подымает тебя — знает, помер на далекой сторонушке.

Лихарев утер армяком нос — больно жалостливо пела старуха.

— Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутицу?

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевиля — бабка Анфиса, ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями.

Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они

отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл у себя на груди.

Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах.

— Родимый, — бормотал Лихарев, икая на ухабах, — ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена, — сказал он, — вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины… Марии Тринитe, — тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

— «Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным — не офицером победоносной армии, пахнущим пылью

походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено.

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца…»

— Всё, — сказал Бараль. — Письмо не дописано.

— «Светило ночи», — пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— Astre de nuit, — повторил он по-французски. — Господин Бараль, для чего нужны на земле

поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в мусорное ведро убитую мышь…

Глава двенадцатая

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля-Евгения Лонсевиля.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать оного Лонсевиля, полагая, что

он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр *Тучков*».

Глава тринадцатая

В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми — свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию, своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам, Мария Трините обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели медленное тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон, — писала Трините, — был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз, — это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки.

Здесь все из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон — весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что не удивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод, — сказал мне Фуллон, — олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая

их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог понять.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода, — добавил Фуллон, — я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы передать ее тебе.

Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку-мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень неспокойно,

тяжело дышал и вскрикивал во сне.

За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Тогда старушка пролила кофе, а царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти — он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискала Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи

пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже золингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему, штеттинскому способу, оставались без ответа.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Гениным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и принял несколько ванн. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном — не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей!

Ты представь себе наглые бакенбарды военных

инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат — их бьют по щекам за дрогнувший носок сапога, — полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неописуемых непролазных дорог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани, — представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ, ее населяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня, наконец, — писала Трините, — поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

Теперь мне здесь больше нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая

предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом…

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень?

Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком — его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бороденки — одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России.

Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон

посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника Успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевиля? — тихо спросил Ларин по-французски. — Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно

ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы, его гневные речи. Он говорил о любви к Шарлю простых людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненного заключения и что, может быть, только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов, — сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья. — Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю Французской революции и творения великих мыслителей. Вскоре после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священники с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижи. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену, — по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами, — и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижах.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз собирал крестьян, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с попом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп, — сказал Петр тихо, — про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюся!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук, — сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана, — поморщился Ларин, — он напоминает мне похороны

и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную.

Я с радостью согласилась.

Мы ходили по набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло — над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну, — говорил мне вполголоса Ларин. — Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Разве иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? „Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров“. Пушкин — это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза, — промолвил он и остановился. — Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский?

— Сударыня, — продолжал, помолчав, Ларин и показал мне на небо, — звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великие вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина, — внезапно Россия показалась мне страной, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег вперемежку с дождем. Как говорят русские, „дождь сечет“. Какое иное сравнение

мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно?

Дождь сечет.

Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь и ветер, наконец косой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище — богослужение под дождем, панихиду по императрице Екатерине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели „вечную память“. Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от

налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской натуры.

Один из них, — я не буду называть тебе его имени, — выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсевиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей на-

рода. Отныне он наш.

— Какую надпись? — спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти меня во Францию. Матросы зажигали на его бортах фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он наш, — повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».

1932

Созвездие Гончих Псов

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то значит будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро — астрономы — отличались молчаливостью. Они разговаривали редко, — все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали

расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза — тоже молчаливая и суровая — готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

— Какая крикливая книга! — говорил он и морщился. — В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки

Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное — очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

— Мне кажется, — говорил Мэро садовнику, — что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем, — не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля, — раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд — неуклюжий норвежец — и никогда не возвращал. Сначала астрономы вор-

чали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, — он изучал в то время созвездие Гончих Псов, — впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам, — его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, — но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

— Матвей, — окликнул Мэро садовника, — вы

ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

— Слишком мало снега для обвалов, — ответил садовник. — Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

— Это не обвал, — пробормотал садовник.

— Что же тогда?

— Это дальнобойные, — ответил неуверенно садовник. — Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл об-

серваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно, — так она пела уже много лет.

— Друзья, — сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. — Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

— Ньюстэд, — продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. — Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

— Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

— Каждый из нас, — сказал он, усмехаясь, — чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас — и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

— Не шутите так, Дюфур, — сказал Ньюстэд. — Война длится уже пять месяцев.

— Глупости, глупости, — пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и

шестьдесят лет. — Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

— Вот, — сказал он с торжеством, — еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами, — Ньюстэд злился.

— Каждый излом, — сказал он, — означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел, — ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок Вселенной, роднит человека с Землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити

и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках, — он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания Вселенной.

— Все существует для человека, — говорил Мэро. — Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто, — они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интерес-

ных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого, — по астрономической традиции, рассматривание в телескоп Земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе, — облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением пра-

вил, — никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений. Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

— Я пришел, — сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим, — помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян, — подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. — О каком ударе он говорит?»

— Удар будет внезапным, — сердито повторил Ньюстэд. — Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно, — в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

— Вот. — Ньюстэд кивнул на горы. — Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах

росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

— Ураган, — сказал Ньюстэд и засмеялся. — Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.

— Почему же так тихо? — спросил Мэро.

— Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.

— Надвигается, — прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

— Там человек. — Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

— Где? — спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

— Там, там! — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками. — Я слышу аэроплан.

— Вы… — крикнул Ньюстэд, но удар ветра обо-

рвал его хриплый крик.

Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз, — норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле, — ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

— Вы ошиблись, — сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег, — аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушиваясь к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь»?

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже», — подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился

от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

— Не надо засыпать, — пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться, — впереди торчали отвесные скалы, — и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

— Мы поедем туда и обратно, — говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине, — и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.

И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых

колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

— Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятни-

ке надпись: «Мигель Сервантес».

— Так это вы — Сервантес? — кричит Мэро старику.

Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

— Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами; мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

— Вы кто? — кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

— Собаки! — кричит он. — Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я — Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

— Огонь! — кричит офицер и взвизгивает от злости.

Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.

— Испания! — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. — Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

— Кто там? — спросил Мэро почти шепотом.

— Я, сударь, — ответил из-за двери садовник.

— Что случилось?

— В ущелье, за ручьем, стреляют, — сказал садовник. — Может быть, вы встанете, и мы по-

слушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

— Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, — сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно, — темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно — пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

— Это здесь, — сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

— Мое зрение ослабло, — сказал он печально. — Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

— Страшновато заглядывать, — ответил садовник. — Давайте лучше немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери, — и через несколько минут в лаборатории собрались

взволнованные астрономы.

Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

— Что случилось? — спросил он очень громко.

Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.

— В ущелье, — ответил Мэро, — кто-то погибает. Он просит помощи.

— Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур. — Он кричит?

— Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

— Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстэд. — Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.

— Я бы пошел с вами, — ответил садовник.

— Этого мало.

— Тогда возьмите меня, — тихо попросил Бодэн.

— Все равно мало. Надо идти вчетвером, — повторил Ньюстэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

— Ну что же, — сказал Эрве, — я очень выносливый, хотя и выгляжу стариком.

— Это не имеет значения, — ответил Ньюстэд. — Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстэд первый пролез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

— Эге-гей, эге-гей! — И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

— Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:

— Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из со-

седней комнаты.

— Рикошет, — повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. — Какое неприятное слово — рикошет.

— Думаю, что мы услышим еще худшие слова, — холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.

— Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался, — послышался голос Ньюстэда. — Все равно, давайте садовый, только скорей.

— Что там? — крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

— Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

— Пусть отдохнет, — сказал садовник где-то совсем рядом.

— Ничего, идите, — ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

— Держите крепче, Матвей, — попросил Эрве.

— Ничего, — ответил глухо садовник. — У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

— Надо бы истопить камин, Тереза, — сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину

и начал греть руки, хотя огонь в камине не горел. Потом он заметил это, делано засмеялся и набил трубку.

— Ну вот, — сказал он, — война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

— Что с ним? — спросил Мэро.

— Он, должно быть, умрет, — ответил Ньюстэд. — У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах — отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.

— Военный? — спросил Дюфур.

— Нет, он поэт.

— Я не настроен шутить, — сказал ледяным голосом Дюфур.

— А я вам говорю, что это так, — рассердился Ньюстэд. — Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

— Главное никому не понятно, — пробормотал Дюфур. — Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

— Нужен настоящий врач, — сказал он растерянно. — Я слишком мало знаю, чтобы спасти

этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

— Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд, — сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал. — Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

— Война, — сказал он наконец и вздохнул. — Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

— А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле, — сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду

на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.

— Это его машина, — сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им со своих брюк бурые пятна крови.

— Едемте, — сказал он шоферу. — Как бы наши старики его не уморили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй-доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в

черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

— Чего она хочет? — спросил Ньюстэд шофера.

— Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит — в горах не так опасно, они туда не придут.

— Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

— Понятно.

— Мы не можем ее взять, — сказал Ньюстэд. — Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

— Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстэд.

— Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное.

— Ах так?!

Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины

махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

— Скажите ей, чтобы она не боялась, — сказал шоферу Ньюстэд. — Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.

— У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

— Почему вы думаете, что он республиканец?

— Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

— Нет, — ответил Ньюстэд. Он не был расположен к болтовне.

— Дело не в человеке, а в самолете, — проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.

Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

— А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстэд.

— Всюду, — ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди

живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

— Что с того? — вслух повторил Ньюстэд.

Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе», — подумал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур — ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.

— Один Мэро, — пробормотал Ньюстэд, — но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

— Теперь не стоит торопиться, — сказал он. — Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка

Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг — знак траура — всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.

— Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге.

— Си, — шепотом ответила девочка.

— Сесиль? — переспросил Ньюстэд.

— Си, — повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.

Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая, — он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения

с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

— Это зажгла Тереза, — сказал тихо садовник. — Женщины знают, как обряжать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

— Вот и смерть погостила у нас, сударь, — сказал Матвей. — Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

— Где Мэро? — спросил Ньюстэд.

— Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

— Ньюстэд, — сказал он и криво улыбнулся, — вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

— Не только, — ответил Ньюстэд. — Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

— Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками — хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть», — говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

— Отец, — сказал он, и Мэро вздрогнул от этого

забытого слова, — возьмите в сумке письмо и бумаги... Прочтите... Отправьте... Если приедет, вы расскажете... Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом... Совсем бесполезно...

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца, — множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

Виктор Фришар, поэт, француз.
Разбился во время перелета из Франции в Мадрид.
Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством,
прибавится еще одно имя неизвестного нам,
но благородного человека!

Астрономы и сотрудники французской обсерватории
Сиерра дель Кампо (Пиренеи)

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали, — прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

— Профессор Мэро, — сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, — передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг, — Ньюстэд положил на них тяжелую руку, — заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

— Я знал, что вы филантроп, — заметил Дюфур.

— Это делает честь вашей проницательности, — спокойно ответил Ньюстэд. — Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, — французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

— Понятно, — пробормотал Дюфур. — Читайте письмо!

— Если бы вам это было понятно, — ответил Ньюстэд, — то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на Земле.

— Спасибо! — воскликнул Дюфур и делано засмеялся. — И после этого вы считаете себя ученым?

— Да, — грубо ответил Ньюстэд. — Вы — Дюфур, я — Ньюстэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие — винтовки, патроны и пулеметы.

— Очень хорошо, — сказал Эрве, — но мы-то ими не воспользуемся.

— Письмо адресовано в Бриэк, женщине, — сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний. — Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, — во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на

ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание, — и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его, — ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

— Хорошо, что вы прочли письмо, — тихо сказал Мэро. — Хорошо, я знаю… Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, — звезды мутными пятнами расползались

по стеклу.

Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

— Ньюстэд, — сказал Мэро, — я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.

— Что ж, — ответил Ньюстэд, — ведь у вас нет ни сына, ни дочери… Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

— Мы никогда не должны забывать друг друга.

— Конечно, — ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом,

хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

— Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять, — сказала женщина. — Так хвастались солдаты.

— Единственная секретная бумага погибшего у меня, — сказал Мэро. — Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

— Что же делать? — спросил Бодэн.

— Не выдавать его, даже мертвого, — ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

— Придется защищать от них звезды, — сказал он, усмехаясь. — Их много? — спросил он женщину.

— Тридцать человек.

— Все равно, — сказал Ньюстэд. — Начнем действовать.

— Конечно, — согласился Дюфур. — Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую

часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу, — звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории, — очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать

поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

— Может быть, они повернули обратно? — спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

— Эй, вы, — сказал Мэро, — старый наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.

— Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно, — сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

— Двадцать пять! — прокричал он возбужденно. — Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

— Почему вы думаете, что это командир? — спросил Мэро.

— С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

— Ну, в таком случае мы не спорим, — сказал, улыбаясь, Эрве.

— Они будут на повороте через двадцать ми-

нут, — сказал Дюфур.

— Если не ошибаюсь, — пробормотал Бодэн, — тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстэд, носит название флангового огня?

— Совершенно верно, — подтвердил Дюфур. — Они попадут в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?

— Они не прорвутся, — сказал Моро, — или мы умрем.

— Надо предвидеть всё, — возразил Эрве. — Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

— Замечательные боевые сооружения! — воскликнул Бодэн. — Как мы раньше не видели этого?

— Это будет лучше всего, — сказал Мэро. — По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

— Но в общем, — сказал Дюфур, — пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило

шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:

— Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

— Ну, друзья, — сказал Бодэн, — давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

— Очень скоро, — сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту, — ему было трудно стоять.

— Как будто видна пыль, — таинственно сказал Бодэн.

— Посмотрите, Тереза.

— Недавно стаял снег, — ответила так же тихо Тереза. — Откуда же быть пыли?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

— А! — тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу.

Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

— Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать, — предупредила Тереза.

— Вы настоящая маркитантка, Тереза, — ответил Дюфур. — Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

— Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько

веток со старой сосны.

— Друзья, — крикнул Бодэн, — не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю, — он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо, — все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

— Все по пулеметчику! — приказал Бодэн. — У

них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика — очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

— Поздравляю вас, старики, — сказал Дюфур. — Они отступают.

— Значит, это конец? — спросил Эрве.

— Да, мы, кажется, ловко отделались, — ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья — астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики — брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро

и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

Орест Кипренский

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнув-

шись, сказал, что наконец он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрепанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября, — читал Кукольник, — Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было оправляться и стал выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжкую весть, — сказал он несколько напыщенно капитану. — В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и

подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите, — сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо. — В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге. — Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского, — писал он, — столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до Северной столицы, — но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно пригибала к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое, дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меншикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они

проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружавшей природе, — белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит наконец в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяжелых матросских лет, через свинцовые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом

полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе, — был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. Веснами в них отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горке ни разу за многие годы не было слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен импера-

тора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщила особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский превратился из крепостного мальчика в художника и о его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться мимо полосатой будки гренадера к самому дворцу. Мальчик осторожно подымался на террасу и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозовых тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский по памяти рисовал эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Ри-

сунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступления в Академию.

В Академии ему переменили фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошло детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время Французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за срисовыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.

Холодный ветр свистит и бьется на полянах.

И сердце нежное, все в пламени и ранах,

Трепещет с полночи до утренней звезды.

Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!

Поет военный рог той полночью стоокой,

Бушуют облака. И точно! Дланью рока

Замахнут тяжкий меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства, — старые сады, холодный ветер, ночные тучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и неспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится, — писал Кипренский впоследствии, — черная качающаяся аллея деревьев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщин всегда стоит непроницаемое грозовое небо. Невольно кажется, что далекий гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают существованию необычайную прелесть.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии накладывать краски на полотно так, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам Екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости — тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, а старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет жил на старческих руках, — говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью. — Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами!

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из Лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты

сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир внезапно преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал — ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежа-

ла пластами тяжелого сизого воздуха у подножия здания и в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России», — подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую

шинель и сел к топившейся печке.

— Где, — сказал он с тоской, — где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и, наконец, волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там, стоя на одной ноге и вытянув носки, замирали под водянистым и бешеным взглядом императора Павла полки. Там ждала Кипренского знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора, — все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному, — сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его, — сказал он сквозь зубы. — Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять, как юноша, обладающий таким талантом, столь легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов погубили его.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная — такою она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная

статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней…

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величайшее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии худо-

жеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят столь наглым образом обманывать себя какому-то иностранцу.

Конечно, Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо передавало законченный внутренний образ человека, самые примечательные черты его характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали

со многими полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, как будто слышишь давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея работ Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным

живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Растопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Кваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

Но на всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлетающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музеи сотрясались от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умному скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло художника. Он чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипрен-

ского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в своего рода клуб литературы и изящных искусств. Многие выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиных курили, спорили, читали стихи и острословили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну, — все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых

улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипренскому было некого рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем

свете в пустую и трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих необходимых знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы. Он не жалел себя. Вдохновение — непередаваемое состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук,

глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении.

Из мастерской, пахнущей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречал друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности, — женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышь, усталость и начинает грызть, пока еще осторожно и робко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он, — страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет только чад. Он забыл, что живопись

существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво…».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, он никогда не сделал бы искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, не привыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой

жизни и удачи преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встретила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстротекущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел, — восклицает он в письме к Оленину, — горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художественного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Виноградy горели, как яхонты. Селения улыбались своему

изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как сам Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения, — писал он, — рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя, — ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы

окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь, великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и внезапно вздрогнул, — в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм Святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталость спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским неистовством? — подумал Кипренский, отходя от окна. — Хватит ли сил продолжать начатое столь

же успешно? Достигну ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся — это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед красной каретой кардинала.

Ветер пролетел над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытал

чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджо. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому было мало этого. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остериях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков.

Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский.

Русские художники, жившие в Риме, скоро

наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за мольбертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи, мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и застенчивый чахоточный Тамаринский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тамаринский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей, — по вечерам ветер приносил из Кампании запах болот.

Тамаринский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая Евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоя-

тельством друзья Тамаринского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тамаринский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим уже после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тамаринского вместе пойти к Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел

ее в тяжеловесных стихах. Но все это было не то — в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую горечь и радость.

Светловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора-итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убегавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный

Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может сейчас смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг, — сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино, — мой знаменитый друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью? — воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну, — хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор! — воскликнул Торвальдсен. — Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я

привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец — исландец, резчик по дереву в Копенгагене, — делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нереиды — на торговок рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удается работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер, — сказала мать отцу уже после того, как я родился, — не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке. Значит, сын принесет нам счастье». — «Я не знаю, что это такое», — сказал отец. «Я тоже хорошенько не знаю, — ответила мать, — но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаются, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым

человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна, — сказал он, — чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона? — спросил Камуччини. — Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели вперемежку с гроздьями апельсинов.

— Друзья, — сказал Торвальдсен, — не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на

одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не похож». — «Что же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. «Торвальдсен, — сказал он, и лицо его побледнело от гнева, — счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза». — «Мы еще встретимся», — сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил открытую рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ранее? — думал Кипренский. — Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик-монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха.

Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал То-

рвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням, давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет, — глухо ответил Кипренский.

— Живет, — повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья, — веско сказал Торвальдсен, — только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники все еще стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спра-

шивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды…

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора Святого Петра, темные деревья и небо, покрытое пышными грозовыми облаками — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая

на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образе Щербатовой — задумчивость, нежность, девическую чистоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенищевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин, — их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать о человеке больше, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревянная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное,

оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из

Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторио», и поручил ее настоятелю-кардиналу.

Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать ему о ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить.

Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба, Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошлое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же — их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина приходила все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал сейчас ни хорошо, ни плохо, — что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина или Бенкендорфа, Кюхельбекера или Аракчеева.

Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся, — его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запахом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улицу. Пушки били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечи.

Непонятный восторг вселился в душу Кипрен-

ского — он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным, брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест, — промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной

Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал…

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич, — сказал Кипренский, не подымая головы, — я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест, — ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на улицах торговки-чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский вновь уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал. Он ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя, и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и Микеланджело для богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет, все тот же запах роз… и это все есть Смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

— Не мешайте мне, — восклицал он, — хотя бы на одно мгновение стать прекрасным человеком в этом неласковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпичном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рассказывать художникам Гоголь. Художники почитали Гоголя, но стеснялись его, — писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за художником стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хвостами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали Кипренского. Они заставали его за столом, уставленным бутылками. Он всегда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый, — сказал он однажды Иордану, — что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович, — ответил вежливый Иордан, — не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло, — сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку, спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час больной и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие прекрасной юной итальянки. Она читала ему книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи.

Кипренский следил за каждым ее движением,

пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уж времечко катилось к лету,
А у меня денег нету.

Он просил у Бенкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые его заслуги живописца. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романти-

ческого века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ как последнее сверкание прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдатаев остерий.

«Молодая жена его, — пишет Иордан, — не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года

Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота лежала в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора, — сказал он Мариучче, — у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает воз-

можности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич, — сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам. — Спасибо… как же ты шел так далеко, милый… Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить…

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский. — Цирюльник?

— Я доктор, — сказал медленно Риккарди. — Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь, — спокойно сказал Кипренский. — Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете, — прошептал Кипренский. — Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жу-

ковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые воины считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— Miserere mi, Domine, — сказал Кипренский и глубоко вздохнул. — Никто не знает… Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца…

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,

Трепещет с полночи до утренней звезды…

Слезы снова потекли по его щекам.

— Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась, и кровь растеклась из нее по простыне и подушке. — Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо дрожали свечи. Риккарди приложил щеку к губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный

струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней, — лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

1937

Исаак Левитан

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Художник пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя, — говорил Саврасов. — Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки… Тихая была старушенция, все моргала красны-

ми глазками, а когда померла, оставила икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа-скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил еще рюмку. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

— Работает же во Франции, — сказал он, поперхнувшись, — замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы… Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, — сказал он со злобой и встал. — Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и

громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии, — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного Нечистая Сила. Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он, и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у Петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось

плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый и томный…

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже

не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки и запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на «гигантских шагах» и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины — глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появ-

ляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды — в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку модного тогда писателя Альбова, или гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Та-

бачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков — в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — Нечистая Сила. — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, — почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, — где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим

им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелках зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он подался, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица — оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он различил бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала

Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый и томный…» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру человека написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и на-

писал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора, света.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа — это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали всего лишь диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни наконец сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Че-

ховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и наконец устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник» — того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — провел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое

арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан», — писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», — писал он в одном из писем. Даже картины самого Левитана различались, — одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа Средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться, обратясь лицом на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой бердан-

кой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом, — у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось, — игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в ночных полях, близость та-

лантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного

мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их яркости, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России долгое время считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края — страны захудалых еврейских местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выслали из Москвы, хотя он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине сознания постоянно жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Леви-

таном. Тогда начинались приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека, — она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны — Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадков хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требова-

тельного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру, — признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору — с глиной и мрамором, художнику

— с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, — это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Необъятные просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся кажущаяся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за

свет.

В это время во Франции Ван Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Моне изучал солнечный свет на стенах Реймсского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен всего этого.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая

лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан, — говорила хозяйка, — почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Мо-

росили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха-хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее, — кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный стук пароходных колес, — буксир, моргая желтыми фонарями,

тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, от него краснели и мерзли руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, чего он ожидал, и тем, что видел в действительности. Он хотел солнца — солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским расска-

зам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от падающих капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

А вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомля в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревенчатая церковушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачней первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Многие, да и сам Левитан, считали, что эта трогательно любившая его женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была нарушена, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце, — сказал дед и икнул. — Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена, — ответил Левитан.

— Та-ак, — зловеще сказал дед и отошел. — Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали

из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая, — сказал он бабе, — глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий, — крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди! — выкрикивал он вполголоса. — Чего делают — непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужики, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом. — Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с непокрытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам — колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросят нарисовать их, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он

решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине и впрямь удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Да и кого он знал? Грубого училищного сторожа Нечистую Силу, трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность многое понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана

в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу — хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона, — и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все: города, заботы, привычный круг людей — и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах, — будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только Среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и

поездка за границу.

Он побывал в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Границы Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ, — писал Левитан Чехову из Финляндии. — Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличается для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Моне, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он сам отчасти был их русским предшественником, — и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомля. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли.

Чем ближе к зрелости, тем чаще мысль Левита-

на останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных «весенних» вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась еще зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца деревянного дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он делался чище, холоднее, и дали бы-

ли гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с при-

родой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса — жил он в лето перед смертью около Звенигорода — и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступленно любимая им природа не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко, за Харьковом, за Курском и Орлом, лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе бёклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова.

Милым казалось все: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце — здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала некогда неслыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти

его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, всю жизнь преследовавший художника, передавшего на полотне печаль русской природы — той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не увидел учитель, — новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа — в этом его художественная сила, и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

1937

Рассказы

Этикетки для колониальных товаров

У всех народов есть люди, охваченные непоседливостью. Одних толкает неудержимая полнота их душевной жизни, других – пустота. Последние воображают, что возвращаются обогащенными, но повсюду они оставляют по себе лишь смуту и неурядицу. А богатые дарят своими исканиями других, и очень часто их вынужденные скитания бывают благодеянием для тех, кто встречается им по пути.

Мангеше Рао

Незнакомец

— Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?

Я оглянулся. Было темно; я не видел лица говорящего, только вершины гор были залиты желтым блеском.

— Он сейчас погаснет, — добавил незнакомец и замолчал.

— Да, — неопределенно ответил я и закурил. Табак отсырел от вечернего тумана. Дым папиросы был горький и холодный. Угрюмый пламень на горах медленно погас.

При свете спички я взглянул на незнакомца. Вытертое пальто обвисало на нем, как на манекене. Недолгий свет спички ярко загорелся в толстых стеклах его круглых очков.

Он закашлялся воющим кашлем и снял очки.

— Эта проклятая работа загонит меня в гроб, — сказал он раздраженно, вытер очки и снова надел их. — Дело в том, что я гравер в типографии. Кроме того, я рисую на литографском камне. Вы видели когда-нибудь литографский камень?

— Нет, — ответил я коротко. Я не был расположен к разговору.

Было сыро. Черная вода журчала и переливалась у свай. Каждый раз, когда я слышал это журчание, у меня по спине пробегал озноб.

— Вроде мрамора, — сказал незнакомец и вдруг добавил без всякой связи: — Проклятая работа. Я каждый день выплевываю золотник свинцовой пыли. Очень ядовитая штука. Она даже называется особенно — гартовая пыль, но от этого не легче.

Мимо нас проползал на рейд океанский па-

роход. Он глухо дышал широкой трубой, выл гигантской сиреной, сверкал хрусталем и взбивал за кормой чернильную воду.

— «Адриа», — сказал незнакомец. — Срочный пароход Триестинского Ллойда. Он отходит в Венецию, на Лидо, к зеленой воде и красным парусам Адриатики. От нас он в ста метрах. Только сто метров отделяют нас от чудесного мира! Только сто метров!

Он снова закашлялся удушливым кашлем.

— Фу, ударило в голову, — сказал он, отдышавшись. — Вы не в настроении выпить?

— Пожалуй. Где-нибудь здесь, на берегу.

— Чтобы были видны пароходы? — насмешливо спросил незнакомец.

— Да, если хотите.

— Неро! — крикнул он черному псу, вертевшемуся под ногами. — Рекомендую — старый корабельный пес, злой, как дьявол. Я уже заплатил за него порядочный штраф.

— А что, рвет?

— Да, — печально ответил незнакомец, — главным образом — чистильщиков сапог. Вы знаете, это действительно может взбесить, когда они все сразу начинают махать своими громадными щетками. И потом, — добавил он, помолчав, —

мальчишек с папиросами. И крыс…

Неро заворчал.

Над городом лежала ночь. Была глухая осень. В тесных переулках горели пыльные фонари, и под ними, над самой головой, провисала густая и тяжелая темнота.

Мы сидели в скудно освещенном, прокисшем от винных бочек духане. Начался дождь. Он обрушился сразу и оглушительно гремел по обитым жестью стенам домов и проржавленным крышам.

— Что вы гравируете? — прокричал я в ухо незнакомцу, чтобы заглушить широкий гомон дождя.

— Этикетки для колониальных товаров — для вин, для папирос. Сейчас ничего не слышно. Я расскажу вам в другой раз. У меня есть коллекция этикеток за несколько лет.

Дождь стих. Мы оставили на столе недопитую бутылку красного вина и вышли. В этих местах ливни длятся сутками и надолго запирают одиноких людей в комнатах наедине с одиночеством и скукой.

Кофе мокко

При свете яркой электрической лампы я невольно зажмурил глаза. Все стены рябили пестрыми лоскутами и пятнами, как наряд цыганки.

— Фу ты, черт! — сказал я и осмотрелся. — Неужели это всё этикетки?!

— Моя работа, — ответил литограф, потирая руки. — Не выходя из комнаты, вы можете совершить кругосветное путешествие. Хотите? Здесь не только география, здесь и всемирная история, и целая портретная галерея, и рисунки сложнейших машин. Такого музея вы не найдете на всем земном шаре.

Я снова взглянул на стены, и тонкие пальмы, ананасы, полинявшие фрески, старинные фрегаты и чашки с дымящимся кофе затанцевали в глазах.

— Я объясню вам свой способ работы. Вам не будет скучно?

— Нет, нет, меня это очень занимает, — ответил я поспешно.

— Собственно говоря, во всем виноваты мои родители. Отец мой был мелкий лавочник-еврей. От него вечно несло бакалейным запахом мыла,

гвоздики и перца. В торговле ему поразительно не везло, мать его пилила круглые сутки, он помалкивал, вешал нос, и дела его от этой монотонной стрекотни шли все хуже. Они вечно ссорились из-за меня.

— На что ему твоя паскудная гимназия! — кричала мать. — Что ты ему крутишь голову! Пускай сидит в магазине (она была убеждена, что у нас не дрянная лавчонка, а магазин), хоть настоящим делом займется.

Но отец упорствовал и уныло возражал:

— Хватит, что у меня руки воняют медяками. А он пусть будет человеком.

Иногда, когда я помогал ему перебирать в лавке товары, он показывал мне со значительным видом банку с консервами. На ней были грубо намалеваны колючие ананасы, небо как густая синька и море со стадами китов.

— Это — Индия, — говорил отец. — Заруби у себя на носу это слово. Куда ты ложишь мыло? Несчастье с этим ребенком! Когда ты будешь большой, ты поедешь в Индию и найдешь там тигровый глаз. Он приносит счастье.

Мне казалось, что тигровый глаз — страшная штука, вроде шутих, что бросают заречные мальчишки, и я робко спрашивал:

— А что такое тигровый глаз?

— Эх ты, — говорил обиженно отец. — Это — камень! За него дают много денег.

— А где Индия?

— Там. Заруби у себя на носу.

Отец показывал за стеклянную, заклеенную газетами дверь, где в лужах лошадиной мочи сопели черные, злые свиньи. И мне казалось, что Индия там, за Старокиевской заставой, куда уходит солнце.

Однажды мать продала эту банку, и отец несколько дней сердился и ворчал:

— Это мне нравится. Она не знала, что эта вещь не для продажи! Надо понимать.

С тех пор Индия не давала мне покоя. Когда меня отдали в ремесленную школу, то на первом же уроке я спросил о ней учителя.

— Что такое Индия? — пропищал я, подымая руку.

— Тебе в Индию захотелось? А вот посажу тебя на Камчатку, чтобы ты не совал в глаза свои грязные лапы.

Дома я спросил отца о Камчатке.

— Это далеко, за Сибирью, — ответил он и почмокал губами. — Там много вкусной рыбы, каждая по пять пудов, и икра у ней красная, как

смородинное варенье. Такая рыба не поместится даже в нашей лавке. Там есть еще горностай. Что? Ты не знаешь про горностая? Это такой зверь, как кошка. Из его шкуры делают белую одежду для царей.

— Что ты ему поешь! — кричала из задней комнаты мать. — На Камчатку гонят всех конокрадов и арестантов, таких как Яшка-цыган. Что ты мне портишь мальчика!

После этого я стал с уважением относиться к соседской кошке Мотьке; может быть, ей посчастливится и из нее сделают мантию для царя, — шкура у нее белая, как пух из перины.

Я крепко зарубил у себя на носу, что мне надо поехать в Индию, и с этого начались все мои несчастья…

Он подошел к полке, снял и бросил на стул груду книг.

— Я начинаю с книг. Сейчас я делаю этикетку для папирос. Заказчику пришла в голову дурацкая фантазия назвать эти папиросы «Рим». Прежде всего я перечитываю о Риме несколько книг. Время у меня есть — срочные заказы бывают редко.

— Вы знаете, римская земля — ведь это священный прах. Вспомните, кто только не бывал в

Риме. Какие имена, какие люди! Боже мой, какие люди! — повторил он и схватился за голову.

— Да, — продолжал он уже спокойно. — Прежде всего я узнаю` цену товара. Папиросы эти дешевые, курить их будут по ночлежкам. Ночлежным жильцам не нужен тот Рим, о котором я говорил. Им нужен Рим попроще. Здесь имена Пиранези, Микеланджело и Пуссена неизвестны. Поэтому я гравирую кривые улицы за Тибром, где дерется и пропивает несчастье римская голь, высокие колокольни, развешенное на веревках белье. На все это я накладываю желтую краску позднего заката. И этикетка готова. Иногда, конечно, заказчики сердятся и требуют, чтобы я пририсовал голову Гарибальди или Виктора Эммануила. Но это бывает редко.

Я взял со стола одну из этикеток и спросил:

— А это для чего?

— Это для кофе мокко, — сухо ответил литограф.

На этикетке была изображена маленькая девочка. Она стояла среди комнаты, растопырив руки, и с ужасом смотрела на кофейник, из которого бил пар и струей бежал кофе. За ее спиной прятался, раздув пушистый хвост, испуганный котенок.

Литограф стал нетерпеливо рыться в книгах, повернувшись ко мне спиной.

— Чудесная этикетка.

— Вы находите? — спросил он жестяным, неприятным голосом и подавился слюной. — Не правда ли, прелестная девочка? — И он неожиданно повернул ко мне острое лицо. — Это моя дочка. Она умерла. Вы очень молодой и не поймете этого. Нас было только двое, и я прекрасно знал, что всему миру нет до нас ровно никакого дела.

— Отчего она умерла?

— Отчего? От этих проклятых этикеток! — крикнул он и швырнул в угол книгу о Риме. — Оттого, что с детства я был тряпкой и глупым фантазером.

Он замолчал и стал быстро складывать книги на полку. Я встал. Он меня не удерживал.

На улице было пустынно и черно, как в заколоченном ящике, и где-то в стороне вокзала раздраженно крякал автомобиль. Я поднял воротник пальто и быстро пошел домой. До поздней ночи я просидел за столом, слушая, как шумит дождь в дырявых водосточных трубах. Было холодно. Очевидно, в горах выпал снег.

Жестяное ведро

У меня была отвратительная комната. Во время дождя потолок промокал и приобретал черный, угрожающий цвет. За разбитым окном оглушительно щелкал по стенам редкий град, будто бы небрежный игрок постукивал костяшками по крышке гроба, и на чердаке бегали, прихрамывая, жирные портовые крысы. На желтой и липкой стене мой предшественник наклеил карту Босфора и вырезанный из «Нивы» портрет Венизелоса.

По вечерам, когда было холодно, я зажигал керосинку. Тоска на душе была такая же желтая и липкая, как стены моей комнаты, и такая же ненужная, как портрет Венизелоса с орденами на просторном сюртуке. Во время частых зимних штормов в порту ревели басами океанские пароходы и скрипело от ветра окно, удлиняя и без того медлительную и тяжкую бессонницу.

В один из таких вечеров ко мне пришли литограф и Неро. Я завесил окно простыней, чтобы не видеть мрака, зажег лишнюю свечу, заварил чай и постарался украсить хотя бы немного мое сырое логово.

Неро заворчал.

— Чует крыс, — сказал литограф и оглянулся. — Да-а, у вас не богато. Похоже на вертеп. Старый дом. Он скоро развалится.

После чая литограф рассказал простую, но странную историю. О стекла бились потоки стремительного ливня, и мы просидели до утра.

— Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы добраться из Западного края сюда? — спросил он меня. — Неделя? А я добирался девять лет. У меня была жена. Единственная ее вина была в том, что она никогда мне не возражала. Она не могла даже толком на меня рассердиться.

Меня тянуло к новым странам, я часто просыпался ночью и думал: «Черт побери, земной шар не так уже велик, и глупо умереть, ничего не увидев». Глупо, безмозгло, вы сами понимаете!

Меня испортили этикетки. Вы не представляете, как на меня действовали лакированные рожи негров и пышные тропические города на жестяных коробках от консервов. Я всматривался в них часами, пока мне не начинало казаться, что жестокое солнце сжигает мой лоб и я слышу, как в тесных кофейнях позванивают фарфоровыми чашками арабы.

Я полюбил даже все эти названия. Вы вслушайтесь, как мягко переливаются Севилья,

Гвадаррама, Лос-Анжелос и торжественно, как латынь, гремят Гренада, Рома, Карфаген. А от таких слов, как Массова и Джедда, хлещет в лицо красной пылью и хрипом верблюдов.

Он остановился и искоса посмотрел на меня.

— Вы смеетесь, но в этом есть своя сила, в этих словах. Они ударяют в голову, как водка. А скитанья! Сигарный дым в пароходных конторах, огни в воде, желтые от старости камни Акрополя.

— Акрополиос… — повторил он задумчиво.

Он помолчал.

— Теперь я знаю, что это был мальчишеский бунт против моего детства, против тесных еврейских местечек, залитых дождями и пенистой лошадиной мочой, против нудного грохота жестяного ведра, привязанного к пролетке Еськи-извозчика. Это ведро доводило меня до бешенства. Оно было набатом, пульсом этой жизни — застоявшейся, душной от розовых перин и запаха сыромятной кожи. Оно гремело весь день. Его грохот с утра будил местечко, как барабан в казармах подымает солдат.

Когда Еська умер, ведро привязали к пролетке другого извозчика. Без ведра местечко не могло жить. Ведро гремело, и люди чувствовали смысл своего существования, чувствовали, что на небе

есть Бог, а на земле — незыблемый порядок.

— Черт, опять я об этом местечке! — вскрикнул он и схватился за голову. — Как глупо!

От Еськиного ведра я делал по ночам громадный прыжок и слушал визг скрипок в кабачках на набережных Барселоны, вдыхал розовую пудру, запах апельсинов и заглядывал в прищуренные глаза женщин.

...Но недолго. За ставнями вновь слышался скачущий грохот ведра, и я с руганью прятал голову под красную исполинскую подушку на деревянной клоповой кровати, в местечке Клецк Минской губернии Несвижского уезда.

Идишер готт

— Вы чувствовали когда-нибудь на руках запах меди? — спросил неожиданно гравер и, не дожидаясь ответа, поморщился и продолжал: — Ядовитый, омерзительный. Я переехал из местечка в Минск, три года корпел у гравера и резал медные дверные дощечки для акушерок и зубных врачей, разных Вайнштоков и Левиных. На вокзале я купил железнодорожный указатель и по вечерам высчитывал — сколько стоит билет до Одессы и скоро ли я смогу уехать.

Я копил по гривеннику и дошел до того, что пользовался каждым случаем, чтобы лишний раз пообедать у тети Сарры или перехватить за день три-четыре папиросы. Мои родственники стали коситься на меня и звать дармоедом.

В Минске я женился. Этого не следовало делать. У жены, кроме глаз, ничего, собственно, не было. Она часто плакала, но до самой смерти глаза у нее были блестящие, как у ребенка. Серые глаза, а у евреек это встречается не часто.

Мы уехали в Киев. Там я встретил Текера — высокого чахоточного еврея. У него из-под брюк всегда висели красные носки и белые тесемки. Он собирался в Палестину и зарабатывал деньги на отъезд: приготовлял порошок от клопов — «антипаразитин» и продавал его на базаре. Я тоже работал с ним. Днем мы терли мел, Текер поливал его желтой вонючей жидкостью (он уверял, что это было эвкалиптовое масло), а потом жена таскала коробки с этим порошком по обшарпанным аптекарским магазинам.

По вечерам у себя в каморке я резал этикетки для захудалой литографии, а Текер сидел рядом, мечтая о Палестине.

— Нам поможет наш бог, — говорил он, облизывая запачканные селедкой пальцы, — идишер

готт, в которого ты так мало веришь. Ты ведь почти что гой. Ты знаешь, где твоя родина? Не тут вот в Киеве, а там, в Палестине, где в земле лежат все пророки, и Сарра и Рахиль. Твоя родина — камень, и солнце, и Сионская земля.

Около Яффы мы будем жить в колонии, ухаживать за апельсинами, купаться в море, а по праздникам будем молиться. А? Ты знаешь, о ком мы будем молиться? О своих братьях, что гниют в Чернобылях и Голтах, и гои им плюют в бороды и говорят — «жид», и у них нет лишних трех копеек, чтобы купить детям бублик в субботу.

А, Иосиф! Там будет жара и много солнца, а здесь пацюки весь год валяются в лужах, такая мокрая погода.

— Иордан, Иордан! — говорил он и обтирал пальцы о заштопанные клетчатые брюки. — Или ты там будешь такой же бледный, как здесь, Иосиф?

— Нет, — говорил он, тряс головой и тонко хохотал. — Нет, мадам Шифрина, ваш муж будет там здоровый и черный, как буйвол, и будет кушать виноград и морскую рыбу.

Жена болезненно улыбалась, стирая в тазу белье. Я резал и думал, что на билет до Палестины надо заработать еще сто рублей. Сто рублей

— нешуточные деньги.

Потом жена забеременела. Этого не надо было делать. Но она тосковала по ребенку, будила меня по ночам и рассказывала, какой у нее будет мальчик.

— Ты не бойся, Иосиф, — говорила она. — Он ни капельки не помешает тебе ездить. Он будет такой крошечный. Я его буду носить на руках. Кормиться он будет моим молоком, и тебе совсем не надо будет о нем думать. Правда, Иосиф?

Как-то в праздник мы пошли гулять с Текером на Владимирскую горку. В коридоре нас встретил сосед, веселый красный кондуктор Игнатий, посмотрел на нас и сказал, подмигнув Текеру:

— Здравствуйте, путешественники в Палестину.

Я побледнел и обругал его дураком. Он захохотал и сказал мне добродушно:

— Ты чего серчаешь! Я не со зла, а так. Посмотри на себя, какой ты путешественник. До Одессы не доедешь — помрешь по дороге. Опять-таки жена у тебя не порожняя. Сидели бы в Киеве — куда уж вам.

На улице я посмотрел на красные носки Текера, на его зеленое лицо, на опухшую жену с животом, увидел в окне парикмахерской себя в железных

очках, плюгавого, веснушчатого; мне стало тяжело, я заплакал и пошел домой.

— Что с тобой, Иосиф? — спросила жена и заковыляла за мной.

— Ничего, — ответил я, давясь слезами. — Никуда мы с тобой не уедем. Какие мы путешественники?! Посмотри на меня, на что я похож. Я устаю, я все дни голодный, ты больна, и я боюсь каждую минуту, что ты споткнешься, скинешь и умрешь. Никуда мы не уедем, нас затрут, обманут; никогда я не заработаю на дорогу денег.

— Это неправда, Иосиф! — кричала жена и хватала меня за руки. — Не смей этого говорить! Мы будем ездить везде, где ты хочешь. Никогда не теряй веры, Иосиф.

Дома Текер сел на стул, сдвинул на затылок пыльный рыжий котелок и сказал:

— Есть еще бог, наш идишер готт. Гои всегда смеются с нас. Плюнь им в глаза. А умрем мы не здесь, а в Палестине. Я это говорю тебе, я — старый, честный еврей, и ты должен мне верить.

Ночью после этого дня рядом был пожар; хрипло рыдали женщины. Я сидел на кровати в поту, зажав в руке свои сбережения на дорогу, и плакал частыми, мелкими слезами. Жена торопливо связывала в узел весь наш заношенный хлам. Я

плакал и думал о том, что ей нельзя нагибаться, но помочь ей у меня не было сил.

Мы все же уехали из Киева в Винницу — хоть на триста верст ближе к Палестине. Так думал я, а Текер только качал рыжим котелком и вздыхал.

— Ехать так ехать, а не выматывать душу через каждую минуту, — говорил он мне, прощаясь на проплеванном вокзале.

В Виннице не было даже литографии, и я работал простым наборщиком. На жизнь не хватало, но из денег, что я собирал на дорогу, жене я ничего не давал. Я закусил эти деньги и не выпускал ни одной копейки.

В Виннице у меня родилась девочка, вот та, что на этикетке для кофе мокко. Когда она родилась, мне вдруг стало легко. Я поверил, что поеду в Палестину, увижу красные скалы в море, услышу восторженный рев ослов, буду пить из холодных горных ключей и солнце высушит до костей мое хилое чахоточное тело.

«Солнце спалит меня до костей», — думал я и дрожал от наслаждения. Я видел песчаные отмели, сизый камень Ливанских гор, слышал голоса невиданного моря. Я видел, как иду по каменистой тропе домой, оглядываюсь и вижу далекий дым над голубизной, дым парохода, плывущего

к островам, брошенным, как кошпицы пальм, цветов и звезд, в зеленое покачивание океанов.

Но тут случилась война, закрыли границы, и над моей жизнью повисло унылое ожидание конца и мобилизации. Я отупел, внешне примирился со всем, и только тревожные глаза жены заставляли меня стонать по ночам от бессильной ярости.

Морские карты

Когда дочке пошел второй год, мы переехали в Одессу.

По вечерам в конце нашей улицы садилось запыленное солнце и зной стоял во дворах, как теплая вода.

Все первые дни я забрасывал работу, бегал в порт и смотрел, как разгружают военные транспорты. Грохот лебедок был лучшей музыкой, которую я когда-либо слышал.

Не знаю, испытывали ли вы сложное, редкое ощущение, когда в каждой капле морской воды, в каждом обрывке морского каната вы слышите запах океанов, чувствуете соленый осадок Атлантики и Адриатического моря. Вы берете кусок сгнившего каната, растираете между пальцами

и, прикасаясь губами к песку, что остался на ладони, думаете, что, быть может, это песок со священного Малабарского берега, с желтых, как дынные корки, берегов Аравии или с черных изумрудов — Сандвичевых островов. Я думаю, вы этого не испытали.

В глазах моряков я искал отражение тех стран, которые они видали. Не правда ли, дико? Я думал, что увижу в них туманы, золотой зной Азии, мокрые пристани в старинных черных портах. До этого надо додуматься — искать в глазах отражение чуть ли не Эйфелевой башни.

Я подбирал в мусоре обрывки иностранных газет и подолгу, как реликвии, хранил и рассматривал их.

Я начал засиживаться над большими морскими картами в публичной библиотеке. Правда, первое время я краснел, глотал слюну и заикался, когда библиотечная барышня с изумлением смотрела на меня — маленького робкого еврея, требовавшего морские карты. Но потом к этому привыкли.

Теперь я знаю морские карты не хуже любого капитана дальнего плавания.

Я читал морские книги и руководства и должен вам сказать, что они прекрасны. Они пропита-

ны насквозь старинной поэзией моря, поэзией парусных кораблей тех времен, когда не весь земной шар был еще нанесен на карты.

— Это выше Пушкина, выше Толстого! — воскликнул он и стал рыться в кармане. — Здесь у меня есть некоторые выписки. Вот, слушайте:

«Вблизи Босфора, на рассветах, вода всегда очень чиста и прозрачна. Ночью море штилеет. Зимой шхунам трудно идти во внезапных туманах и нередком у этих берегов жестоком граде».

— Когда вы прочтете эти книги, вы поймете, как еще молод и великолепен мир — вот этот резиновый мяч, что вертится в небесном пространстве.

Да, в Одессе я выкинул к черту свои старые привычки, начал приучать себя к морю, к прохладе, к суровой жизни. Я часто спал на берегу, дрожал от дождя, обсыхал на солнце, ловил скумбрию и бычков и вообще вел жизнь, неподходящую для ремесленника и тем более для еврея.

Я сбрил свою выщипанную бороду и усы, загорел и курил уже не чахлые папиросы, а крепкую трубку.

С каждым днем все большая свежесть пропитывала мое тело. Я выбросил очки и подолгу вглядывался в даль, приучая глаза к горизонтам. Моя ремесленная слепота стала уменьшаться.

Да что говорить? Достаточно, что женщины стали поглядывать на меня с любопытством, тогда как раньше мой вид вызывал только брезгливую усмешку или обидное равнодушие.

Даже жена однажды сказала мне: «Ты стал сам на себя непохож, Иосиф. Что сказал бы теперь кондуктор Игнатий! А?» — и весело засмеялась.

Она не понимала, что со мной происходит. Я нередко заставал ее за своим столом, когда она, наморщив лоб, просматривала мои книги. А у меня появилось довольно много книг — Лондона, Киплинга, Гамсуна. С непривычки я пьянел от них, как от водки.

Я работал немного, но зарабатывал неплохо. Каждый день приближал ко мне то, что я ждал, — белые полудни, зеленую средиземную воду, крепкие палубы кораблей.

Жена недоумевала, робко радовалась, неизвестно отчего плакала и все чаще жаловалась на боль в сердце. Но я был захвачен вихрем, дни текли солнечной чередой, и в их широте растворялась без следа вся моя боль. Я был слеп и глух ко всему, что пыталось вернуть меня к прежней жизни, к местечковым страданиям и радостям. На болезнь жены я не обращал внимания.

Однажды я вернулся с моря поздним вечером.

Вы бывали в Одессе? Тогда вы должны помнить эти медные сумерки, когда акации сереют от пыли и в море лежит тишина.

В своей комнате я застал дикое скопище старых евреек: крикливых, кисло пахнущих перинами старух, которые лезут в чужую жизнь в самые страшные, требующие одиночества минуты.

Я сразу понял, что умирает жена. Я грубо выгнал всех старух, силой вытолкал их на лестницу. Они визгливо ругались и посылали на мою голову «ренегата» отвратительные проклятия.

Жена умерла от сердечного припадка. Перед смертью она пыталась что-то сказать, но так тихо, что я едва разобрал несколько слов — робкую просьбу, чтобы я берег дочку. Дочка плакала целые дни. Она была испугана и самой болезнью, и сладковатым запахом трупа в нашей тесной комнате, и похоронами, на которые я ее повел.

Вы были когда-нибудь на еврейских похоронах? Нет? Каждая религия пытается создать вокруг смерти веяние торжественного и вечного. У вас, например, очень торжественно отпевание. Помните: «Приидите, дадим последнее целование». Последнее целование холодных человеческих губ, а потом эти любимые губы будут целовать могильные черви и мокрая глина. Я люблю похо-

роны где-нибудь в деревне, на заросшем кашкой кладбище, когда солнце тускло поблескивает на старенькой ризе священника и запах ржаных полей заглушает запах ладана. У вас смерть окружена величавыми молитвами и реквиемом Моцарта.

А у нас ничего этого нет. Все очень просто. Смерть есть смерть, гниение, а труп — падаль. Была душа маленького еврея, торговавшего всю жизнь бакалеей. Всю жизнь над ним стоял смрад перин, тоска немощеных улиц, высохшая жена, заросшие коростой дети и погоня за пятаком. По праздникам он рыдал в черной синагоге; в ужасе и трепете читал древние молитвы перед лицом неотвратимого Иеговы.

Разве похороны его могли внушить мысль о легчайшей печали: об увядших цветах, о слезах прекрасных женщин. Глупо даже подумать об этом. Наши похороны торопливы, будничны, суматошливы, как любая толкучка, лишены малейшего намека на таинство.

Жена умерла. Пришел рыжий синагогальный служка в цилиндре с серебряным позументом и две минуты покричал над трупом непонятную молитву. Потом он же сел за кучера на погребальную колесницу, злобно хлестнул вожжой

колченогого коня, и похоронная процессия двинулась — скорей, побежала — за быстро тронувшейся колесницей.

На кладбище, почти на глазах у провожающих, происходит отвратительный обряд обмывания и выдавливания экскрементов. Делают это нищие старухи, перекрикиваясь о своих дворовых делах и ругаясь из-за куска серого стирочного мыла.

Потом жену положили на носилки, залитые потеками запекшейся сукровицы, и мы понесли ее до могилы.

Рядом со мной носилки тащил старый хромой еврей. Их много на кладбищах, они ходят стаями, как бродячие псы.

Он наступал на полы своего рваного сюртука, спотыкался и все время пытался сговориться о плате.

— Труп тяжелый, — свистел он сквозь гнилые зубы и кряхтел, — и надо бы прибавить… Кроме того, могила очень далеко. Если бы я знал, что так далеко, то вообще не понес бы…

Все это окончилось дикой сценой. О ней я и сейчас вспоминаю с брезгливой дрожью. Когда жену зарыли в сухой глине, в тесноте затоптанных сапогами могил, и евреи, тащившие гроб, получили плату, они подняли крик, потребовали

больше и схватили меня за руки. Я вырвался и в припадке бешенства ударил одного по лицу. Он крякнул, сел на могилу жены и завыл пронзительно и непрерывно. Остальные тоже завыли от злости и стали толкать и щипать меня, наступая мне на ноги.

Вся эта история окончилась в сырой кладбищенской конторе, где раздраженный околоточный составил протокол «О драке во время погребения».

С кладбища я ушел, уводя за руку плачущую дочку. В душе у меня все было запоганено, — вы сами понимаете.

Я не вернулся домой. Было осеннее утро — ломкий синий хрусталь; спокойнее, чем летом, шумел далекий город. Весь день я провел у моря. Дочка ловила сердитых крабов, и волны сглаживали ее маленькие узкие следы.

Море исцеляет раны и смывает грязь этого мира.

Тишина

Нас осталось двое. Настала тишина, покой. Я снова погрузился в думы о скитаниях, о голубых городах со странными именами, о зеленом сия-

нье тропических лесов, о гаванях, раскинутых, как птицы, о не колеблемых ветрами морях. Я думал об этом настойчиво, непрерывно, улыбаясь самому себе, как помешанный. Я дошел до того, что часами мог останавливать мысль на незначительном образе, испытывая непередаваемое наслаждение.

Помню один. Я видел вывеску фруктовой лавки в Рио-де-Жанейро, вывеску желтого цвета с черной надписью. Я видел внутри белые мраморные столики, на них бледным огнем горели бокалы с фруктовым соком. Густое небо синим пламенем сверкало в чисто вымытых стеклах. И я, гравер из местечка Клецк Минской губернии, сидел за столом, закинув нога за ногу, лениво курил, перелистывал иллюстрированные журналы и смотрел в глаза смеющихся женщин.

Мне надо было в порт, я не спешил, и было радостно от мысли, что я медленно пройду по шелестящим пальмами улицам, буду пересекать площади, где шуршат фонтаны тепловатой воды, пока впереди, в дыму океанских труб, в легком покачивании мачт не покажется зеленый, кипящий прибоем залив.

И я, гравер из местечка Клецк, разденусь и буду купаться в водах океана, и мое бронзовое тело

будет пахнуть не медью и не кислятиной нищенской кухни, а йодом и жгучей солью океанской глубины.

Границы были закрыты, и мне посоветовали ехать в Палестину через Батум — оттуда, мол, легче пробраться. И я уехал.

Уехал кружным путем через Ростов и Кавказ. В дороге я испытывал ощущение радости от сухих стекленеющих степей, от широких станиц, от голубых гор, сверкнувших за Кубанью, от крынок с топленым молоком и желтых ноздреватых бубликов, что выносили к поезду казачки.

Я стоял с девочкой у окна и жадно смотрел на каждый полевой цветок, на жирную черную землю, на серебряные реки. У меня было такое чувство, будто я выкупался в воде со снегом и я уже не Иосиф Шифрин из Клецка, а кто-то другой, веселый, прекрасно приспособленный к жизни. Могила жены отошла в туман, слилась с памятью о дождях и вонючих непроезжих местечках.

Потом серый песок Каспийского моря, обрывы гор, красные берега и караваны верблюдов. Сизый дым кизяка уходил в далекое небо. В обширном провале встал на желтой глине черный мазутный Баку, игрушечный Тифлис перебирал веселые огни, и, наконец, Батум, усыпанный

мандаринами, омытый густым морем и тропическими дождями. Я был все ближе и ближе к цели. Вы понимаете мой восторг.

Батум — цепкий город. Горячие ливни, банный воздух, густые и терпкие запахи накачивают в мозги сонный яд усталости и лени. Но и здесь, в Батуме, я резво взялся за дело. Каждый раз, когда я видел вывески пароходных компаний, всех этих «Кунард Ляйн», «Сервици Маритими» и «Ллойд Триестино», это меня подхлестывало, как удар кнута. Из-за этих вывесок я проморгал революцию.

В Батуме девочка заболела тропической малярией. Припадки были часты и ужасны. Она почти оглохла от хины. А ливни все шли и шли. Казалось, что земля до сердцевины набухла влагой. Я дрожал от тоски, глядя на запад, в море, откуда неслись, толкаясь как стадо овец, низкие тучи.

Солнца не было, лихорадка крепчала, несколько раз за ночь я менял дочке белье, мокрое от пота. Пот лил с нее ручьями, и в глазах была известная всем здешним жителям «малярийная тоска». Она бредила, плакала, если у нее оставались силы плакать, и не отпускала от себя серого котенка Леньку. Так мы и жили втроем: я — в отчаянии, она — в бреду, а Ленька — в сытом довольстве.

Через два месяца она умерла. Умерла, когда я ушел в город за хиной. Ленька спал у нее на груди, укрывшись хвостом. Вот и все.

— Ее можно было спасти, — сказал я граверу. — Надо было попросту уехать на север.

— Я не мог, — ответил гравер. — Я не мог выбросить за борт девять лет и начинать сначала. Я был недалеко от цели. Я надеялся, что это пройдет. Врачи говорили мне то же, что и вы, но я заставлял себя не верить им.

Гравер кончил. Мы вышли на влажную после ночи набережную. Тихим розовым огнем пылал Эльбрус, как облака над морем. Море было сонно, и далеко за мысом сверкал белыми надстройками палуб океанский пароход. Он шел из Трапезунда. Булочные пахли лавашом. В пустых кофейнях первые завсегдатаи потягивали кофейную гущу и перебирали четки.

Блеск осени

Я собирался уезжать. Перед отъездом я провел весь день у моря. Цвели олеандры. Их розовый цвет напомнил мне детство, бабушкин дом со стеклянной галереей, где пахло олеандрами, стоявшими в зеленых деревянных кадках. Детство

с его солнечной тишиной в клумбах настурций, детство в необъятных золотых степях Украины.

Цвели олеандры и чай — желтоватый, как воск. Теплые туманы лениво шли с похолодевшего моря, синий воздух качался над городом свежей синей водой.

В духанах шипел на углях шашлык, сверкало белое вино, на кирпичные лица турок ложился бронзовый свет короткого дня.

Звуки раздавались над водой очень тонко, звенели, как задетая струна, и терялись в щелях влажных улиц, где дремали на солнце ишаки.

В прозрачной воде качались красные турецкие фелюги, груженные до бортов золотыми тяжелыми апельсинами. Их запах, как запах восточной земли, был прохладен, прян, и эта осень была, как сок апельсинов, также прохладна и терпка своей милой печалью.

Мягкий ветер дул в лицо, колыхал выцветшие полотнища пароходных флагов. Голоса моряков и женщин были слышны очень далеко; бледное солнце стояло в вышине, и казалось, что за морем дышит пышная и светлая весна.

Весь день меня мучили, как и чахоточного гравера, мечты об океане, о серебряных веснах, о желтом песке чужих и пустынных берегов.

В полдень я выкупался и потом долго обедал в столовой у самой воды. Я дремал, запивая баранину вином, и черный кофе бил мне в лицо крепким паром. Мне нравилось это безделье, шатание по городу, по турецкому базару, по бульвару, по пристаням, где греки в старомодных котелках удили бычков и качались у свай кружевные и розовые медузы.

Ночью печально и широко шумело море и было холодно.

Перепела и шторм

Утром на город обрушился тяжелый ливень. Ехать было нельзя — я остался еще на день.

Вода хлестала, как из тысячи открытых кранов. В комнатах было тесно, и слепо светили электрические лампочки.

Ветер рвал серые полосы воды, мчал их вдоль каменных оград, швырял на ржавые крыши, бил мокрыми полотенцами по стеклам и внезапно стихал. Тогда все заполнял ровный водопад льющейся с неба воды.

Море швырялось желтой пеной, чернело от туч, а к полудню поднялось и пошло на город мутными ровными валами.

Горные реки вздулись, переливались через мосты, волокли в море туши буйволов. Белый шторм качался над морем, заливал рассолом подъезды прибрежных домов. В домах пахло ветром, жареным кофе.

Днем неведомо откуда ветер принес густые стаи мокрых изнемогших перепелов. Они низко и косо неслись под ливнем и тысячами падали на крыши, в щели бурлящих улиц. Потоки воды смывали их в море, и волны расстилали перепелиные трупы на берегу рядами черных четок.

На крышу театра упал розовый фламинго — его принесло бурей с Чороха.

В сумерки, когда ливень стих, я вошел в турецкую кофейню на пристани. Озябшие турки играли в кости. Море гремело. Черная ночь дымилась кольцом вокруг города.

В кофейне я встретил гравера.

— Я завтра уезжаю, — сказал я, не садясь. Я хотел ветра, свежей воды, грома волн, глотка крепкой водки. — Прощайте. Ну как? Вас теперь не тянет в новые страны?

— Иногда, — ответил он, свертывая толстую папиросу. — Но здесь все, каждый камень, каждый ливень напоминает о дочке. У меня осталась только одна эта память. Она дает мне силу жить.

Отсюда я никуда теперь не уеду.

У гравера задрожали губы, Неро заворчал.

Я вышел, и крепкий ветер бросил мне в лицо запах прекрасного бушующего моря. Маяк уже горел, на мокром песке блестел неведомый серый свет.

Во мглу ударила крепостная пушка: солнце зашло.

1924

Дочечка Броня
(Письмо из Одессы)

Я стараюсь писать точно. Прежде всего место действия, потом действующие лица, потом события.

Итак, место действия — Одесса, а в Одессе театр на Куяльницком лимане, степь у Большого Фонтана и Дальницкая улица, 5 (во дворе).

Действующих лиц много. Боцман Бондарь, поэт Вербицкий, хромая Валентина из «Известий», Андрюша Роговер, фотограф Глузкин, я и прочие — репортеры, курортные, матросы, милиционеры, машинистки и чистильщики сапог.

Событий было три: концерт на Куяльницком лимане, знакомство с правнучкой Пушкина и жестокая месть фотографу Глузкину.

Вообще, эпиграфом к этому письму я мог бы поставить слова фотографа Глузкина, который кричал мне при каждой встрече:

— Товарищ, я имею через вас массу неприятностей!

Он был прав. Он устраивал на Куяльницком лимане литературный вечер, который кончился

плачевно. На вечере выступал я. Если вы возьмете в рот десяток липких ирисок, будете их жевать и в это же время читать «Известия», то вы получите довольно точное представление о моем произношении. Естественно, что я провалился.

Во время вечера я был слегка пьян, так же как были пьяны поэт Вербицкий, Андрюша Роговер, читавший рассказ об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк», и сам Глузкин. Трезвыми были только профессор Верле и хромая Валентина. Когда она ходит, то получается впечатление последовательного вколачивания гвоздей в вашу голову.

Начал Андрюша Роговер. Потом Верле читал лекцию о греческих вазах, найденных в Ольвии. Когда он дополз до ваз с коричневым фоном, погас свет. Это внесло большое оживление. Публика звонко перекликалась и аукалась, как в лесу, я шарил по грязным кулисам, ища выключатель, а профессор робко продолжал объяснять разницу между этрусскими и микенскими вазами. Кое-где уже курили.

Потом я услышал со сцены сначала равномерное вколачивание гвоздей (Валентина пошла за свечкой), а затем истерический вопль и грохот.

В зале началась паника. В проходах бушевали

невидимые людские водовороты, женский голос возмущенно взвизгнул: «Бросьте мою ногу», кто-то стучал палкой по стулу и дико орал: «Граждане, не делайте Варфоломеевскую ночь!» — и грозил милицией. Выходная дверь на пружине предсмертно выла, — очевидно, хлопала граждан по лбам и другим частям тела, так как слышались стоны и досадливые выкрики.

— Однако, — невозмутимо сказал поэт Вербицкий и зажег спичку. Свет спички обнаружил, что Валентина провалилась в суфлерскую будку. Она стонала и требовала немедленной помощи.

Общими силами под гул стихающей паники мы вытащили ее, и тогда Глузкин первый раз сказал эти слова.

— Товарищи, я чувствую, что через вас я буду иметь порядочно неприятностей.

Профессор был удручен. Микенские вазы потонули в грохоте стульев, жалкий свет свечи уродливо метался по кулисам, над нашими головами мрачно висела картонная кисть винограда, и Валентина стонала и смеялась, лежа на стульях. У нее было растяжение сухожилия.

— Вы подковали себя на вторую ногу, — сказал Глузкин.

Тогда Вербицкий шагнул вперед, поднял ру-

ку и крикнул. Паника прекратилась. Бегущие остановились, некоторые даже сели. И мы под стоны Валентины исполнили свой боевой номер — песенку о дочечке Броне.

Хотите знать ее слова? Вот они:

А третья дочечка Броня —
Была она воровка в кармане.
Что с глаз она видала,
То с рук она хватала. Словом…
Любила чужих вещей.

Эффект был страшен. Зал визгливо плакал от смеха, стучал ногами, беглецы густо валили обратно, а какой-то матрос требовал «Свадьбу Шнеерсона».

Чтобы прекратить эту лавочку, я потушил свечку, и Вербицкий заорал в новую темноту чудовищным басом:

— Немедленно очистить зал!

Когда мы снова зажгли свечу, в зале было пусто. Только в углу сидел матрос, требовавший «Свадьбу Шнеерсона», и рыжая девица.

— Товарищи, — сказал матрос, встал и снял кепку. Было похоже на то, что он сейчас скажет приветственную речь. — Товарищи! Пока вы кляпздонили со своим концертом, ушел последний

поезд в город и мне с этой гражданочкой негде ночевать. Поэтому разрешите остаться здесь.

Ночь, проведенную в театре, нельзя назвать обыкновенной. Мы устроили из стульев места для спанья. У профессора был такой вид, точно он попал в шайку бандитов. Он судорожно вздыхал и просил пить.

Матроса (звали его Бондарь) послали за водкой и закуской. Рыжая девица растерла Валентине ногу. Профессору дали сельтерской воды, он лег на стульях, не снимая пенсне, и вскоре стал посвистывать носом, как молочный младенец.

Мы же, выпив каждый по доброй стопке водки, сели играть в шестьдесят шесть с матросом и рыжей девицей.

Наша компания за хромым столом на черной и пыльной сцене давала довольно точное представление о бандитской «малине».

— Шли мы рейсом в Скадовск, — рассказывал Бондарь, отчаянно шлепая картами, но не выказывая особого азарта. — Шли мы, значит, в Скадовск с коровами. Ноябрь, на море погода, а в заливе лед. (Играете вы, дорогие граждане, как зайцы на барабане.) Да, а в заливе — лед. Наша дрымба замерзла, обложило ее льдом, как компрессом, словом — полярный океан.

Завезем на лед якоря, зацепим, вытягнем дрымбу до полкорпуса, она провалится — и опять тягни. Чистое наказание! Страдали неделю, до берега близко, коровы сдыхают, а судно бросить никак нельзя. (Как же вы считаете? Разве же это счет?) Да… встаю я раненько утром, мороз, туман, солнце на льду чуть-чуть светится, а на судне ни души нету. Ушли, стервы, ночью на берег, сговорились. Пошел я до капитана и доложил. (Вы, гражданка, отодвиньтесь подальше. Так нельзя.) Да, доложил, а он говорит: «Ну и черт их дери! Будем, Бондарь, пропадать с тобой вместе». Есть, говорю, будем. Механик еще с нами остался.

— Прошу не возражать, — засипел во сне профессор. — Какая же это соль!

— Да, стоим. Мороз. Коровы, можно сказать, все и подохли. И тут началось. Была у капитана водка. Взяли мы корову — и жарить роскошный ростбиф, печенки, вымя — жир так и плывет. Никогда так не кушал, как во льду.

Напьемся — и петь. Капитан за гитару, я просто так. Бывало, как ударим:

Выйду ль я на улицу,
Красный флаг я выкину.
Что-то красным повезло

Больше, чем Деникину.

Одним словом, жили широко. Потом нагнало теплую воду, сломало лед, капитан вышел, глянул. «Выводи, кричит, эту гитару на чистую воду! Бондарь, становись шуровать». Сам стал за штурвального — и пошли до самой Одессы. Газеты подняли тарарам — герои труда, на красную доску, дать им орден Красного Знамени. А капитан порта вызвал нас, застучал кулаками да как гавкнет: «Герои! Где коровы? Ишь какие хряпы понаедали на казенном скоте. Я вас подведу под трибунал! Мне, кричит, все известно. Почему команду упустили и допущаете бунт?»

Следующим номером было выступление рыжей девицы. Ее волосы пылали матовым огнем, а серые глаза смотрели на мир очень весело.

— Я учусь в студии киноартистов, — сказала она, присмирев; перед этим она хохотала. — Сейчас я даже играю небольшую роль в «Дороге гигантов». Я ничем не замечательна, кроме того, что я настоящая правнучка Пушкина.

— Того самого? — спросил боцман.

— Да, того самого.

— Ай спасибо, вот спасибо! — Боцман немедленно потерял весь заряд самоуверенности.

Игра прекратилась. Наступила торжественная

и зловещая тишина.

— К нему не зарастет народная тропа, — сказал вдруг ни с того ни с сего Глузкин.

Рыжая девица заплакала.

— Никто не верит, — крикнула она сквозь слезы. — Никто, никто! — Она вскочила и топнула ногой. — Я расскажу вам все, что знаю. Моя бабушка была дочкой Пушкина. Я ее хорошо помню. Она умерла в ту ночь, когда матросы с «Ростислава» сжигали в топках на броненосце одесских банкиров. Она была черная и никогда не завивала волос — они вились у ней сами. У нее осталось два письма Пушкина к моей прабабке.

— Где они? — крикнул Вербицкий и вскочил. Лицо у него дергалось судорогой. Он задыхался. На него было страшно смотреть.

— Вы их увидите, — сказала рыжая девушка. — У моей прабабки была только одна встреча с Пушкиным. Из писем это ясно. Прабабка никогда не говорила о Пушкине, бабка рассказала только мне. Даже своей дочери — моей маме — она ничего не говорила.

Когда мне было шестнадцать лет, как-то вечером, осенью, я пришла к бабке.

Ревел норд, зеленые фонари качались на улицах, и было страшно подумать о пароходах,

застигнутых в открытом море.

Бабка сидела в кресле, за ее спиной был целый иконостас, горели лампадки. Она плакала.

— Мэри, дорогая, — сказала она и взяла меня за руку. — Наш греческий род смешал свою кровь с русскими и евреями — и вышли все маленькие, хилые люди. У твоего брата — Володи — писклявый голос и скучный характер, твоя мать толста и больше всего на свете любит кофе с гущей. Разве этого я ждала? Разве могло быть это? Вы срослись с этим городом. Вы ничего не хотите, и только ты одна не можешь мириться ни с чем безобразным, ты строптивая, и я думаю, что тебе я передала частицу прадеда. Во мне самой она не сказалась.

Она вытерла слезы и достала из сумочки янтарные четки. Янтарь был красный от времени, весь в трещинах.

— Эти четки подарил мой отец, а твой прадед моей матери. Это — родовые четки. Я передаю их тебе, береги и смотри, чтобы ни одна горошина янтаря не пропала.

Это было сделано так торжественно, точно меня посвящали в рыцари. Она надела мне четки на шею и сжала мои щеки своими желтыми, холодными ладонями. Я заплакала.

— Мэри, Мэри, — сказала она, — не волнуй-

ся, девочка. Теперь я скажу тебе, кто был твой прадед.

Она вынула из сумочки письмо на толстой бумаге и показала его мне.

— Чей почерк?

Почерк был косой, небрежный, страшно знакомый. Чернила выцвели, а сбоку на полях были мелкие-мелкие брызги, какие оставляет только гусиное перо.

— Я где-то видела в книгах… — сказала я нерешительно.

— Пушкина! — крикнула бабка и упала в кресло. — Ты правнучка Пушкина. Береги это как святыню, будь достойна прадеда.

Она зарыдала.

Рыжая девушка замолкла. На глазах у нее блестели слезы. И только в эту минуту я заметил, что мы все стоим, что Вербицкий смертельно бледен, а у боцмана дрожит голова.

— Мэри Пушкина! — сказал Вербицкий и наклонил голову. Голос его был глух и печален. — Простите, что я мог вам не поверить. Перед Пушкиным можно только рыдать или смеяться от счастья. Когда говорят «Пушкин», солнце подымается в душе каждого, кто еще не разменял на «лимоны» последние отрепья своей души.

Он осторожно взял руку девушки и поцеловал ее, как целуют фанатики серебряное тело Христа на черных распятьях.

— А мы? — сказал глухо Вербицкий и посмотрел на нас. — Мы — ленивое, потасканное, пустяковое племя, плюющее на романтику.

Потом он так же глухо сказал:

Я не снесу трагического груза,
Чернила высохли, и новых песен нет.
Прости меня, классическая муза,
Я опоздал на девяносто лет.

— У меня нет денег, — продолжал он. — Я нищий. Я живу стихами. Есть маленькая серая птичка, величиной в три наперстка. Она живет на пустырях, летом поет на заборах, а осенью гибнет массами от холода и неуюта. Ее зовут «заборный король».

Так и я — «заборный король» среди людей. У меня нет ничего, кроме этой кепки, но у меня есть жизнь, есть много нерастраченных сил, и если вам понадобятся эти вещи — скажите мне, и я отдам их вам. Я готов служить вам, как невольник.

— Спасибо, родной, — сказала девушка, смахнула слезу и засмеялась. — Пушкинская кровь тяжела, так тяжела… Я первый раз в жизни рас-

сказала об этом… Мне не надо было пить вина.

Рассвет сочился сквозь кулисы, и далеко за стеной был слышен голос моря.

Рассказ девушки слышало нас четверо — Вербицкий, я, боцман и Андрюша Роговер. Валентина спала, Глузкин уснул во время рассказа. Глузкин — чавкающая и слепая свинья, жадная до засаленных денег. Острая ненависть поднялась во мне. Я решил отомстить, унизить этого трусливого негодяя. Свое решение я исполнил, но об этом дальше.

Иногда среди лета вдруг наступят осенние дни. Так было и тогда. Мы ехали с Вербицким к Мэри на Большой Фонтан. Дул северный ветер, накрапывал серый дождь. Казалось, что кончилось лето и осень щемила сердце поздним сожалением о встречах, которых не будет, и рассказах, которые я не успел написать. На дачах топили печи.

Мэри нас ждала. После чая мы вышли на обрыв к морю. Над берегом взошла кровавая средневековая луна.

Я называю луну средневековой. Мне кажется, такая же кровавая безмолвная луна всходила над полянами Шотландии, над розовым вереском в те годы, когда прекрасные женщины рыдали о Виттингтоне и рыцари были смешливые, как

наши подростки.

Это — отступление от темы, но я вам признаюсь — я очень хочу написать о темных и высоких залах, где горят камины, турьи рога висят над притолоками дверей, за окнами пахнет дикой хвоей, звериными шкурами, мхами и свежестью ночи и слышно, как льется по камням холодная, полная форели река.

Разве это плохой фон для рассказа о мужестве, здоровом хохоте и опасностях. Простите, я заговорился. Теперь не век Вальтера Скотта, и такие рассказы никто не стал бы читать.

Мы сидели очень долго на старой скамье над обрывом. Мэри ничего не говорила о Пушкине, и мы не спрашивали.

Я остался ночевать на даче и спал в саду, забившись в заросли сухого и душистого барбариса. Ветер стих, туман стоял над садом, я лежал, закутавшись с головой в пальто; было тепло, дремотно, и издалека гудело море. Какой-то рыжий пес долго крутился у меня в ногах, утаптывая траву, потом лег, скорбно вздохнул и стал насвистывать носом. Спали мы с ним долго и крепко.

Мое письмо затянулось. Поэтому я вкратце расскажу только один эпизод, достойный внимания.

Этот эпизод — месть Глузкину. Мне двадцать шесть лет, но иногда я поступаю как мальчишка. Так было, например, с Глузкиным. Глузкин жил на Дальницкой, 5. В тот вечер он праздновал именины жены — веснушчатой и кислой женщины с выпуклыми глазами.

Этот вечер был выбран мной и Андрюшей Роговером для мести.

Для того чтобы понять, в чем дело, я должен сказать несколько слов об устройстве парадных дверей. Вы, очевидно, знаете, что все парадные двери из квартир открываются внутрь. На этом принципе и была построена месть.

Мы поднялись к двери Глузкина, вернее, к двери той квартиры, где Глузкин снимал комнату, продели сквозь ручку двери хорошую бельевую веревку, пропустили ее через ручку двери соседней квартиры, где жил зубной техник, связали туго концы веревки, отчаянно позвонили в ту и другую квартиру и выскочили во двор. Надо было ждать результатов.

Результаты были потрясающие. Очевидно, Глузкин и зубной техник одновременно вышли открывать дверь. И тот и другой тянули дверь к себе, но «кто-то» (веревка) не пускал. Страшно, когда вы открываете дверь и за ней в темноте

стоит неподвижная и тяжелая фигура, но вдвое страшней, когда вы хотите открыть дверь, а тот, кто звонил, молча тянет дверь к себе. Сразу же возникает подозрение, что за дверью прячется или сумасшедший, или чрезвычайно загадочный и опасный преступник.

Естественно, что Глузкин, который вначале довольно мирно сказал: «Сема, перестань меня разыгрывать», — дико закричал и бросился в свою комнату. Естественно, что техник, пытаясь открыть свою дверь, дергал за веревку и сотрясал дверь Глузкина. Естественно, что никто ничего не понимал, началась паника, истерические вопли женщин, рев мужчин, кто-то стал выбрасывать на улицу через окно горшки с цветами, а хозяин Глузкина — рыжий и задыхающийся от жира закройщик — выскочил на балкон в одних исподниках и хрипло закричал:

— Ратуйте, работают бандиты!

Мы видели, как Глузкин, обезумев, выбросил на улицу швейную машину «Зингер», как с балкона третьего этажа начали стрелять из пугача и как два милиционера бесстрашно, с наганами в руках бросились на штурм парадной лестницы. Мы слышали, как дикий хохот несся из парадного, где милиционеры перерезали веревку, как визжала

от колик толпа и как, наконец, закройщик орал на Глузкина на всю Дальницкую:

— Зараза! Чтоб завтра же ты выбирался от меня со всем своим барахлом! Чтоб ты повесился на той веревке, поганец!

— Слава богу, — сказал с обычным спокойствием Андрюша Роговер, — что обошлось без человеческих жертв и без больших убытков.

— Слава богу, — ответил я.

1925

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но

однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и

зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос…

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не

могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

1935

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы изводили нас все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали

рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять про́центов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у нас не будет, нынче рыба заелась, — шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала ля-

гушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я, милок, из лыка цельную тройку сплел — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной

выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет стольких самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и волдырях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые,

похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило не могло ее пробить.

Перед грозой рыба тоже переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты вполнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то

вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл, — так клюет только очень крупная рыба…

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за

тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять про́центов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы кричали нам ласково:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.
1936

Кот ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; в нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких

травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить кота из-под дома.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька

потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели его как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на

нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара

что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

1936

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные,

вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.

— Не умреть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке свому, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петро-

вича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремитель-

но и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь *Ларион Малявин».*

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во

дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязкал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен

широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед, — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц

спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

1937

Парусный мастер

Старик с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака, сел в автобус около вокзала. Северный ветер дул над Севастополем. Синие холодные крейсера скрипели на якорях в бухте, и, как всегда зимой, тяжело стонал на рейде плавучий бакен-ревун. Ветер прижимал к севастопольским желтым холмам снеговые тучи, и все заметнее иссякал хмурый свет.

Старик с кефалью сердито посмотрел на небо.

— У нас в Крыму, — сказал он, — все одно что у людей, что у погоды — нету дисциплины. Где сегодня холод, там завтра жара.

Озябшие пассажиры молчали. Старик вытащил из кармана кефаль и книгу Жюля Верна. Кефаль он засунул обратно в карман, а книгу начал было читать, но автобус внезапно заревел, сорвался с места, начал набирать высоту по белому шоссе, и читать стало невозможно: книга мелко тряслась в руке и сами собой перелистывались страницы.

— Интересная книга? — спросил старика моряк с серебряными нашивками, должно быть морской инженер.

— Было бы интересно, — ответил старик, — ко-

гда бы я читал для удовольствия, а то приходится читать по долгу службы, морочить себе, старому, голову.

— А вы чем занимаетесь?

— Я парусным делом занимаюсь. Сорок лет шью паруса.

— Зачем же вам Жюль Верн?

— А затем, что наше дело погибло, — ответил старик. — Не стало парусного дела в республике. Дед мой работал для линейного флота. Так вшивал фалы, что самый здоровый шкипер не мог их оторвать на спор руками. Отец тоже всю жизнь старался, шил помалу паруса для трамбаков. Было это в стариковские времена. А теперь пошли пароходы, моторы — стук, гром, — об ветре теперь никто и не беспокоится. Ветер теперь ни к чему! Кому он сдался? Одной голытьбе — рыбакам. Кто мотор купить не осилит, тот сейчас бежит до меня: «Сшей, дядя Федя, паруса, будь другом». Паруса! — сказал старик, помолчав. — Из парусных кораблей остался у нас один «Товарищ». Мы с ним вдвоем и бедуем, старики. А какой корабль! Как невеста! В океаны ходил, брал в шторм все паруса, падал на борт, гнал пену и пел, как скрипка, — даже зависть брала заграничных шкиперов. Идет «Товарищ», будто

из снега, горит на волне, а пароходы ему сигналы подымают: «Счастливого плавания старшему брату, последнему парусному кораблю».

Моряк усмехнулся.

— Думаете, я брешу? — рассердился парусный мастер. — Пусть береговые брешут, а нам, морским, брехать нет надобности! У нас и без брехни найдутся дела. Когда, положим, паруса набирают полный ветер, кто скажет, что некрасиво? Разве какой-нибудь дурак с пароходной команды, серый сиволап. Или, скажем, корабль идет при слабом бризе, паруса колыхаются на солнце, белый свет от них льется кругом, даже глазам больно. Теперь белых парусов давно не шьют, начали их смолить от сырости. Теперь парус черный, как воронье крыло, — глядеть на него противно!

— Верно! — согласился белобрысый моряк. — Но какое же у вас общее дело с Жюлем Верном?

— Как какое! — изумился старик. — Я такие паруса сшил, что загнал Жюля Верна с его парусными кораблями на самое дно в бутылку. Он в гробу двадцать раз перевернулся от зависти, ваш Жюль Верн, пока я те паруса работал.

Все молчали. Суровые горы, присыпанные снегом, стояли впереди.

Машина неслась к ним, дрожа и рявкая на поворотах. Всех занимала мысль, как она прорвется через стену гор, казавшуюся непроходимой.

— Сколько нас, стариков, в Севастополе, — сказал горестно парусный мастер, — это даже удивительно! Пойдите на Корабельную, — по всем дворам одни старики сидят. Хлеб кушать за одну свою старость — тоже как будто обидно, и выходит так, что старички наши хитрят и к малым детям пристраиваются. Одни внуков нянчат, другие игрушки стругают на продажу. И я для детей тоже стараюсь.

— Игрушки делаете? — вяло спросил моряк. Он сильно озяб. Машина приближалась к снегам, и моряку уже не хотелось ни спрашивать, ни слушать.

— Зачем игрушки! — возразил старик. — Игрушки за меня пусть швейцарский адмирал делает, я мелкой работой не интересуюсь. Может, читали в газетах, что в Ялте снимают картину для кино по книге Жюля Верна? Перешили под кино этого француза, достали азовскую шхуну, починили, сделали из нее вроде как стариннейший клипер и написали на корме имя «Марианна». Для съемки! А паруса для «Марианны» заказали мне — Федору Марченке. Врать не буду, сшил я

паруса на красоту, даже Ханов — последний парусный капитан на весь Советский Союз — и тот удивлялся. «Ты, говорит, Федя, не паруса сшил, а лебединые крылья. Надо тебя объявить, говорит, народным парусным мастером нашей республики». У него из всего получается смех, у Ханова. А я над теми парусами чуть не ослеп.

— Ай, как старался! — сказал насмешливый толстый пассажир. — Тысячи зарабатывал.

— Не к месту ты ввязался, базарная душа! — рассердился мастер. — Подавись моими тысячами! Мне денег не надо, я на одной кефальке проживу.

— А чего же тебе надо? — удивился пассажир.

— Сроду ты не поймешь из-за грубости из-за своей. Надо мне, чтобы многие тысячи людей смотрели ту картину и удивлялись великолепным парусам и большую любовь получали до моря. Дети будут радоваться на «Марианну», а может, где и какой тертый моряк посмотрит и скажет: «Да, знаменитый мастер шил паруса, честь ему и слава от всего морского населения, от всех, кто понимает! Почет Марченке и Жюлю Верну, что сработали такую красоту, и вечная память!»

Машина вошла в снежные горы. Старик пытал-

ся рассказать, что едет в Ялту, чтобы исправить второй кливер, потому что, судя по Жюлю Верну, со вторым кливером вышло у него, у Марченко, не совсем удачно, — но его уже никто не слушал.

Леса, будто выкованные из тонкого олова, сверкали под декабрьским небосклоном. Стеклянный блеск играл на горах, засыпанных легкими снегами. Солнце, похожее на золотой запушенный плод, неслось за прозрачной листвой деревьев, зажигая в ней ослепительные пожары.

Хлопья снега лежали на кустах, как мохнатые цветы, рядом с серыми пушистыми шарами волокнистых семян. Плющ плотно сжимал белые стволы деревьев. При каждом взгляде на его живую зелень было ясно, что тут же, за перевалом, Черное море бьет о каменистые берега прозрачной водой и мерно качает от горизонта до горизонта глубокий теплый воздух.

Шофер гудел клаксоном, и горное эхо катилось навстречу машине. Непрочный снег слетал с деревьев, обнажая стволы, позеленевшие, как бронза.

Парусный мастер сидел с закрытыми глазами. Из-под красных сморщенных век текли слезы. Внезапная зима летела навстречу и ослепляла его своим невыносимым светом.

За перевалом неожиданное море встало в глазах глухой высокой тучей, и начался спуск к Ялте.

В Ялте парусный мастер пошел в гостиницу, где жил режиссер. В гостинице пахло пыльными коврами, застоявшимся одеколоном, шашлыком.

Режиссер в лиловой пижаме сидел за круглым столом и пил кофе.

— Какой кливер? Зачем? — морщась, говорил режиссер. — Съемка корабля давно закончена. Сейчас мы работаем в павильоне.

— Хочу я вас попросить, — сказал Марченко, замирая от робости. Ему казалось, что он говорит с этим брезгливым человеком не теми словами, какие нужны, говорит как будто совсем не по-русски и режиссер его не поймет. — Хочу я вас попросить напечатать и мое имя на картине.

— Зачем? — равнодушно спросил режиссер.

— Может, где какой моряк прочтет и помянет меня добрым словом.

Режиссер поморщился.

— Вы же бутафор, — сказал он и закурил сигарету. Дым висел пластами над вазой с пирожными. — Зачем вам реклама? Кроме нас, больше никто в мире не закажет вам таких парусов. Парусных кораблей не будет!

— Оно, конечно, так… — пробормотал Марченко. — Нет у нас парусного дела. Мне заказов не нужно, я на фелюжников буду по малости работать.

— Так что же вам, собственно, нужно?

— Простите за мою дурость, за беспокойство, — сказал Марченко. — Нету у меня возможности рассказать вам про свою заветную думку. Да и шут с ней теперь, с той думкой!

— На сегодняшний день, — сказал раздельно режиссер, — я не вижу необходимости упоминать в картине имя случайного бутафора. У нас и так упоминается сорок имен. Но, в общем, я подумаю.

Марченко вышел на набережную и сел на скамейку. Ненужная, давно снятая на пленку «Марианна» качалась на якорях и робко, будто заискивая, кланялась морю.

Вдруг Марченко встал и торопливо пошел к «Марианне» — на ней медленно падали с рей и развертывались паруса. Солнце садилось, и его последний свет придавал холсту легкость самой тончайшей ткани.

— Чего паруса подымаете? — закричал с берега Марченко.

— Почтение и низкий поклон дяде Феде, — от-

ветил с бака старый рябой матрос Низовой. — Подымаем сушить. С утра дождем промочило. Заходите до кубрика потолковать.

В кубрике Марченко рассказал Низовому о разговоре с режиссером.

— Неспокойный ты старик, Федя, — просипел Низовой, выковыривая ножом пробку из бутылки кислого вина. — Чего ты зажурился? Ты плюнь! Я так считаю: чи будет на той картине твое имя-отчество, чи совсем его не будет, твои паруса свое возьмут. Кругом возьмут: и в Ялте, и в Одессе, и, скажем, во всей республике. Когда уважение чужому человеку делаешь, он тебя не пытает, кто ты да что ты, и ты сам с этим делом до него не лезешь.

— Зачем лезу, — сказал Марченко. — Я не лезу, ни-ни! Мне бы одного надо — приохотить людей до моего парусного дела.

— Приохотишь, — сказал Низовой.

— Приохочу!

— Через ту картину?

— А хоть бы и через картину.

— И паруса твои свое возьмут.

— Возьмут!

— Ну, тогда наливай шкалик и вытягай с кармана свою кефальку.

Старики пили и шумно беседовали до позднего вечера. В иллюминаторы заглядывали портовые огни. Они качались на волнах и то подплывали к «Марианне», как будто стараясь подслушать разговор стариков, то отскакивали и тонули в темноте.

1937

Колотый сахар

Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не

спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли пере-

ночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами.

— Бабушка, — сказала девочка и показала на меня куклой, — вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный, — сказала она нараспев. — Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи, — придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка, — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.

Тогда старик открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого, — и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин, — сказал человек, стриженный бобриком, — с кем разговариваешь! Должно, в милиции не сидел!

Старик молчал.

— Ох, батюшка, — жалобно пропела стару-

ха, — не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно, чуждый старик, — сказал он с торжеством. — Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду, — ответил спокойно старик. — Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель, — так же спокойно ответил старик. — В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я, — вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.

Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны,

милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав, старик. — От таких бывает в жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у нее в доме ни кусочка сахара: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило, — давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки, — сказала старуха. — Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал,

как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно. — Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай, — согласился милиционер. — Только не путай!

— Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запу-

таешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден, и дед мой берег, да не уберег — сорвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка, — такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слуша-

ли. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина, — говорит жандарм. — Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». — «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким…

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать, — сказал старик. — А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер. — Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин, — милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком, — лучше шли бы

ночевать в Дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел:

«Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик. — Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке, — сказал он и густо покраснел. — Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, — еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный, — сказала старуха. — У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.

1937

Старый челн

Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.

— Какая станция? — спросил из купе сонный голос.

— Стоим в пути, — ответил проводник. Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.

Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.

Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.

— Какая гроза! — сказал кто-то за спиной у Наташи.

Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик — молодой режиссер.

— Какая гроза! Как здорово сделано! — повто-

рил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной декорацией. — Вы не знаете, что это за птицы?

— Не знаю, — ответила Наташа.

— Это дикие голуби, — сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе. — Как же вы не знаете? А еще десятиклассница!

— Я горожанка, — ответила Наташа и смутилась.

Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело.

Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась желтая вода.

Вдоль окон блеснула молния, и тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.

— Что случилось? — спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.

Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валились на землю. В страшной черноте

все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.

— Проводник, что же, наконец, случилось? — крикнула женщина в лиловой пижаме. — Почему мы идем назад?

— Путь впереди размыло, — угрюмо ответил проводник. — Видите, какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.

— Безобразие! — сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.

Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону — к последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.

По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.

— «Молньи стремителен бег, и разит она тяжким ударом», — неожиданно сказал лесничий.

Режиссер усмехнулся одними глазами.

— Откуда это? — спросила Наташа.

— Из Лукреция, — ответил лесничий и покраснел.

По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножию откуда-то, из страшной дали, плеск воды.

Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и «линкольнах», он чувствовал, что это — люди совсем другой жизни и до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тончайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.

Единственным попутчиком, не смущавшим

лесничего, была Наташа — застенчивая худенькая девушка. У нее все время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки.

Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.

«Лесовик, — подумал о себе лесничий. — Чертов провинциал».

— Какое славное название «Синезерки», — пробормотал режиссер. — Синезерки! Синезерки! Синие озера! Это надо запомнить.

— Здесь много озер, в этих лесах, — сказал лесничий.

— А вы знаете эти места?

— Да так… немного… Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.

— А-а, это интересно, — протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно. — Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра?!

— Да, действительно досадно, — согласился лесничий.

Он думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак

не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час, два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.

— Да, жаль! — вздохнул лесничий.

Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще никогда не была, и он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.

В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа, и трудно было понять, наступил ли уже вечер, или темнота пришла от дождя.

Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.

Дед Василий перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди взад-вперед, взад-вперед?!»

Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.

Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.

— Петр Матвев! — крикнул он слабым, срывающимся голосом. — А Петр Матвев!

За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.

— Не признаёшь? — спросил дед и тонко засмеялся. — А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!

— Василий! — крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. — Живешь?

— Живу, — ответил дед, утирая рукавом лицо. — Живу, стараюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне ей зайти невдомек. Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышняя.

— Чего так? Что у вас неладного?

— Будто ты и не знаешь? — недоверчиво спросил дед. — Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?

— А что? Ты говори, не оглядывайся.

— Мне оглядываться не на кого. В нашей-то

районной газете сколько раз печатали, — сказал со вздохом дед. — Печатали, печатали, а на поверку выходит — зря старались. Оно и видать — одной письменностью дела не сдвинешь, лес не оборонишь.

— Да ты о чем? — спросил лесничий. — Ты не крути, ты говори прямо.

Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок.

— Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молодой приказал долго жить.

— Сгорел? — испуганно спросил лесничий.

— Зачем сгорел? Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду, и сейчас почитай уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и, как ни придешь, одни у него слова: «Нет из области ответу». Так вот и сидим, порты протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! — громко сказал дед и всхлипнул. — Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы-сестры! Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою, как беспамятный: до чего хорош лес!

Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы.

— Что же поделаешь, Василий? — сказал лесничий и оглянулся. На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.

— Когда отец детей кинет без помощи, — сказал горестно дед, — так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.

— Что же делать, Василий? — растерянно спросил лесничий.

— Опыление, — пробормотал дед, не слушая лесничего. — Нынче весной созрела пыльца, задул ветер — и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.

Дед помолчал.

— Петр Матвев, — сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав. — Уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.

— Чудак! — сказал лесничий. — Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты, в самом деле, придумал!

— Не уйде-ет! — уверенно сказал дед. — Некуда

ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.

Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она, все так же наморщив лоб, смотрела на деда.

— Пойдем к дежурному, — сказал решительно дед. — И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!

— Что мне с тобой делать! — рассердился лесничий. — Запутал ты меня своими разговорами.

— Поезжайте, Петр Матвеевич, — сказала неожиданно Наташа. — Успеете.

— Вы думаете, успею? — спросил лесничий, засмеялся и почувствовал внезапную свежесть на сердце. — Вы думаете, успею?

— А можно и мне поехать с вами? — спросила Наташа.

— Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой, — сказал дед и низко поклонился Наташе. — Как же тебя не взять за твое верное слово? Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой, нету такого во всем Советском Союзе.

— Ну, пошли к дежурному! — сказал лесничий. — Запутал ты меня, старик, окончательно.

Дежурный сказал, что путь вряд ли починят раньше полудня.

Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение и обычные в таких случаях неопределенные возгласы: «Да что вы!», «Ну, знаете, не ожидал!»

Лошаденка тащила телегу не торопясь, помахивая ушами, — все равно ночью больного леса не увидишь и ничего не придумаешь.

Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина — она казалась Наташе глубокой, как ночная вода, — стояла в лесах. Только в сырых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.

Лесной край, загадочный и огромный, как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.

— Сторонушка наша заповедная, — бормотал, вздыхая, дед. — Леса эти завалились до самого

края земли. Нету их лучше на свете.

— Спи-спи! — крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. — Спи-спи!

«Я и так сплю», — подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь тянулась без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все дремучей, разбойничей делался лес.

— Ну, кажись, приехали, — сказал дед.

Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.

— Озеро, — сказал лесничий. — Звезд сколько в нем — будто осенью!

Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. На насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посветил Наташе и лесничему.

Наташа вошла в избу. В ней сильно пахло печной золой, сухой мятой, теплом старого бревенчатого дома.

Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк.

Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с изумлением поглядывая на Наташу, вычесывал блох.

— Как бы не опоздать! — спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, заросла паутиной.

Наташа вышла в прохладные сени. Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.

Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро стояло тут же рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались высокие леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась очень легкой, невесомой. В ней спали, чуть пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.

На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.

В щелях челна проросли высокие цветы и

травы. У самых ног Наташи стройным кустом расцвел розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул. Глубоко под землей кричали медведки.

«А как же поезд?» — подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.

Так она просидела около часа. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли, потом отчаянно крякнула утка, — и снова все стихло.

Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:

— Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед: езжай, живи на теплых водах в городе Золотые Маковки, наживай счастье.

— А где же Петр Матвеевич?

Дед усмехнулся:

— Сейчас придет. Ему теперь все нипочем!

— А что такое? — испугалась Наташа.

— Расскажет, — ответил дед, выколачивая трес-

нувшую трубку о борт челна. — Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не менее, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрёма, — дед показал на кукушкины слезы. — Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь — раскрывается, медом пахнет — и так до утра. Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся: «Ты бы, говорит, Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: «Нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо».

— Жалко? — спросила Наташа.

— Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.

— Как это? — спросила Наташа. — Я не понимаю.

— А чего тут понимать! — рассердился дед. — Челн этот — одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него, да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное, чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?

— Верное, — ответила Наташа и засмеялась.

— Ну, то-то! Ты моему слову верь!

Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запрягать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.

— Мы не опоздаем? — спросила Наташа.

— Да нет, не думаю, — ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: — Дело в том, что я не поеду.

Наташа изумленно молчала.

— Да, не поеду! — сказал, сердясь, лесничий. — Оказывается, тут такая история… Одним словом, без меня у них может ничего и не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко…

— Я-то понимаю, — сказала Наташа.

— В общем, мне здесь, признаться, будет лучше, чем в этом Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну, да бог с ней! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.

— Ну что ж, — сказала Наташа и вздохнула. — Мне даже завидно.

— Но-о, дьявол! — хрипло закричал около сторожки дед. — Заелся на казенных харчах!

— Ну что ж, прощайте! — сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.

Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой, и Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».

Широкая радуга стояла над лесами: там где-то, за озером, шел небольшой дождь.

Радуга показалась Наташе входом в заповедные, таинственные страны, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассветах журавли.

Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно было остаться здесь до самой осени?!

Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.

1939

Стекольный мастер

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой избе. Ганя была одинокая. Единственный ее внук Вася работал в Гусь-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения — маленькие, выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал их он сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце. Бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им смотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок, — говорила она. — Не ровен час — сломаете. Руки у вас корявые. Картуз держать не умеете, а тоже пристаете: «Дай подержать да дай потрогать». Их держать надо слабо-слабо, как воробышка. А нешто вы так можете? А раз не можете — так глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавом носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и тонко, будто разговаривали между собой о

чем-то своем — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес по имени Жек. Это был старый, беззубый пес. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком — посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

— Я совсем слаба стала, ничего почитай и не ем, — говорила она. — Воробей и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать бумагу в сельский совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

— Пиши, сердешный, — сказала она. — Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемова, сообщаю сельскому совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а

этого для человека мало. Он обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой — такой мастер, что только землю и небо не сделает, а все прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не женатый, не пьющий. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не пропал, а большал и большал. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь, — называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это самое мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберет аптекарь, Иван Егорыч, он к зверям ласковый. Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула в ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем

— художником — уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели — на них лежал тяжелый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось прикасаться, — топор, котелок, ветки, — было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы — все было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные, ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю, — все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Здоро́во! — сказал дед. — Никак я в толк не

возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

— Одышка у меня, — сказал дед. — Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь невесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? — спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей-богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплоховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую поневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь разного разговора. Жалеть не будете!

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своем веку мно-

го болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились, — говорил он, — все одно помрем.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать картошку.

На крыльце Ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду. Я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький черный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую поневу.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный спокой, — сказал дед и стащил с головы рваный картуз. — Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая

картузом лицо:

— Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб — для воробьев и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный, — «квелый», как говорили по деревне, — но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали березовые дрова, я наконец спросил его об этом рояле.

— У каждого мастера, — ответил Вася и застенчиво улыбнулся, — лежит на душе мечтанье сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер!

Вася помолчал.

— Разное есть стекло, — сказал он. — Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтглясс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно — очень он был ломкий, требовал осторожного обращения, а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Об этом-то и разговор, — ответил Вася. — Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем сложное. Но, несмотря на то что рояль прозрачный, это устройство только чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатле-

ния, ежели видит, как она происходит. Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть звон.

С тех пор до самого Васиного отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой, — сверкающий, поющий так чисто, как поет вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота — он любил сидеть на крышке рояля — и, наконец, черное платье молодой певицы и ее опущенную руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук, унылый и простой,
Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпал могилу бабки Гани. И все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

1939

Ручьи, где плещется форель

Судьба одного наполеоновского маршала — не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, — заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали особую привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала,

стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс, — ответил незнакомец. — Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас, — ответил музыкант, — но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо… — ответил маршал, — хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина, — сказал маршал. — Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет, — ответил Баумвейс и перестал играть, — я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и именитых людей.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот, — Баумвейс встал, — за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий, — ответил Баумвейс. — В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь, — сказал он, — мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно, — ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он

удивлен словами маршала.

— Но, — сказал маршал, — никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно, — повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе. — К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель, — сказал возница. — Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня, — сказал маршал и слегка покраснел. — Простите за непрошеное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да, — ответил, смешавшись, маршал, — это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому

что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же

шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

1939

Старый повар

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин

«сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голо-

сом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — ее звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун

маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце

и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился

с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно.

— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу все это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Ваше имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад,

засыпанный цветами мокрого снега.

1940

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и не торопясь умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и

всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще, в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярялся.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону, — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-

гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей пря-

мо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в Средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на головы ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь, так же как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на

его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал, — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей: не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен Севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец,

пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное,

насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и предсказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, звезда над милыми горами!
Прощай навек, мой теплый отчий

дом…

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься…

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже

некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы клевали все сразу, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального

ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

1940

Дождливый рассвет

В На́волоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто — горел только один фонарь.

«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»

Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, — царство Божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем, — согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний…

Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин. — Не оглядывайся.

— Дорога действительно… — пробормотал извозчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся вглубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. — Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов,

его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»

Башилов был высокий, насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Мо-

жет быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и всё.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпи-

тального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.

— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…

— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел о том, что вот ему сорок лет, но не было

у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто не дал бы ему больше тридцати лет.

Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, что-

бы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.

Пролетка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.

— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.

— Не ждете, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.

— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу — у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то сла-

бым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, помурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте, — сказала женщина.

Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое бывает всегда, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать:

о чем написана книга, что в ней?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так здесь все старомодно, знакомо и давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться тут и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании

труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока. И черная женская маленькая шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. — Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин. — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что… о вашем муже.

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?

— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старинные чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того, как она, не читая, отложила письмо на рояль, он

совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов, Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа.

Но Кузьмин молчал.

— Но все же, что хорошо? — опять спросила

она.

— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин, сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как обычно краснел, когда ему случалось

говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему? — спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой? — спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю

Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.

— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так… — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.

Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всем, — ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов. — О чем хотите, — добавила она. — Хотя все это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно? — спросил Кузьмин.

— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор, — разве это не странно?

Кузьмин смущенно молчал.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по темной улице.

— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.

— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошел, но с крыш еще падали капли,

постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождевые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце

у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее, и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно…» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход,

жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

1945

Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленых печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме, — подарок Крамского,

эскиз к его «Неизвестной».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — не было никого, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Ма-

нюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя

на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела

старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не

тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку не читая — решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, — сейчас она нрави-

лась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, и на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь, — буркнул Тимофеев. — А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. — Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует

теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя,

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя, — попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор. — Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тоненькая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев. — Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя. — Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно, — повторил он. — Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. — Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился. — Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе, — сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало

этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала. — Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя, — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. — Зря я толь-

ко трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он. — Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании

к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?

— Нет, — ответила Настя. — Это так… От одной знакомой…

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто

бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя. — Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего, — ответила Настя. — У меня мама…

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша. — Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк,

повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. — Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти, — сказала Манюшка хрипло. — Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала.

Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна. — Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, — сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От

них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей

трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрена, — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

1946

Ночь в октябре

По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне все помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду, а в перерывах между этими звуками — та полная тишина, когда кажется, что земля остановилась и беззвучно висит в мировом пространстве.

Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал работать в деревню, за Рязань. Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом. В усадьбе жила старушка Василиса Ионовна — бывшая рязанская библиотекарша. В эту усадьбу я приезжал работать и раньше. И каждый раз, приезжая, я замечал, как разрастается сад и как старятся дом и его хозяйка.

Из Москвы я выехал последним пароходом. Рыжие берега тянулись за окнами каюты. На берега непрерывно набегали серые волны от пароходных колес. Всю ночь в салоне горела красным накалом дежурная лампочка. Мне все казалось, что на пароходе я совершенно один, — пассажиры почти не выходили из теплых кают.

Только хромой капитан-сапер с обветренным лицом бродил по палубе и смотрел, улыбаясь, на берега. Они были готовы к зиме: листва давно осыпалась, трава полегла, ботва почернела, а над избами прибрежных деревень курился белый дымок — всюду уже топили печи. И река была готова к зиме. Почти все пристани убраны в затоны, бакены сняты, и ночью пароход мог идти только потому, что над землей лежала серая лунная мгла.

На пароходе я разговорился с капитаном-сапером, и мы оба обрадовались. Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит в Новоселках и что ему, так же как и мне, придется переправляться на лодке на другой берег Оки и идти через луга до той же деревни Заборье, что и мне. В Новоселки пароход должен был прийти вечером.

— Я-то иду не в Заборье, — сказал капитан, — а подальше, в лесничество, но до Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта и всего навидался, а одному все же скучно идти ночью через тамошнюю глухомань. До войны я лесничествовал, а теперь демобилизовался, возвращаюсь на старое место. Чудесное дело — леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каж-

дую ночь видел во сне.

Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет.

Когда глухим вечером пароход подвалил к Новоселкам, на пристани никого не было, кроме сторожа с фонарем. Сошло нас двое — Зуев и я. Едва мы со своими рюкзаками соскочили на сырой настил, как пароход отошел, обдав нас мятым паром. Сторож с фонарем тотчас ушел, и мы остались одни.

— Давайте не будем торопиться, — сказал Зуев. — Посидим на бревнах, покурим, сообразим, что делать дальше.

По голосу его, по тому, как он вдыхал запах речной воды, оглядывался по сторонам и засмеялся, когда пароход дал за поворотом короткий гудок и ночное эхо начало перекатывать этот гудок все дальше, пока не занесло в заокские леса, — по всему этому я понял, что Зуев не хочет торопиться только потому, что с необыкновенной и какой-то изумленной радостью ощущает себя в привычных местах, куда он не надеялся возвратиться.

Мы покурили, потом поднялись на крутой берег к сторожке бакенщика Софрона. Я постучал в окошко. Софрон тотчас вышел, будто он и не спал, узнал меня, поздоровался, сказал:

— Вода ноне прибывает. За сутки два метра. Должно, наверху дожди. Не слыхал?

— Нет, не слыхал.

Софрон зевнул.

— Дело осеннее. Ну что ж, поехали?

Ока ночью казалась очень широкой, гораздо шире, чем днем. Вода шла сильно, во весь размах реки. Всплескивала рыба. В мутноватом свете ночи было видно, как круги от всплесков стремительно уносятся течением, растягиваясь и разрываясь.

На том берегу мы вышли. Из лугов тянуло холодной завялой травой, сладковатым запахом ивовых листьев. Мы пошли по чуть заметной тропинке, вышли на сенокосную дорогу. Было тихо. Луна опускалась к земле — свет ее уже потускнел.

Мы должны были пересечь луговой остров шириной в шесть километров, потом перейти по старому мосту через второе — тихое и заглохшее — русло Оки, а за ним, за песками, уже лежало Заборье.

— Узнаю`, — говорил, волнуясь, капитан. — Все узнаю`. Оказывается, я ничего не забыл. Вон — купы деревьев! Это ивы на Прорве. Верно? Вот видите? Глядите, какой туман над Селянским

озером! И ни одной птицы не слышно. Опоздал я, конечно, — улетели уже птицы. А воздух! Какой воздух, мать моя родная! Настоялся на травах за всю эту осень. Я таким воздухом нигде не дышал, кроме как в наших местах. Слышите, петухи заголосили? Это в Требутине. Вот звонкие, черти! За четыре километра слышно!

Но чем дальше мы шли, тем меньше говорили, а потом и совсем замолчали. Сумрачная ночь лежала над заводями, над черными стогами, над зарослями. Молчание этой ночи передавалось и нам.

По правую руку потянулось заросшее озеро. Вода в нем отсвечивала. Зуеву было трудно идти из-за его хромоты. Мы сели отдохнуть на поваленную ветром иву. Я хорошо знал эту иву — она лежала здесь уже несколько лет и вся заросла низким шиповником.

— Да, жизнь! — вздохнул Зуев. — Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?

— Наоборот, — сказал я. — Совсем не глупо. У вас есть семья?

— Нет, я бобыль.

Мы пошли дальше. Луна зашла за высокий берег Оки. До рассвета было далеко. На востоке еще лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.

— Одного не пойму, — сказал Зуев. — Почему лошадей перестали гонять в ночное? Раньше до самого снега гоняли. А сейчас в лугах ни одной коняги.

Я тоже заметил это, но не придал этому значения. Вокруг было так пустынно, что, кроме нас, на луговом острове, казалось, не было больше ничего живого.

Потом я увидел впереди неясную и широкую полосу воды. Ее раньше здесь не было. Я всмотрелся, и у меня замерло сердце, — неужели так разлилось старое русло Оки!

— Скоро мост, — весело сказал Зуев, — а там и Заборье. Можно сказать, пришли.

Мы подошли к берегу старого русла. Дорога срывалась прямо в черную воду. Она неслась у самых наших ног и подмывала низкий берег. То тут, то там был слышен тяжелый плеск — это обрушивались куски подмытого берега.

— Где же мост? — спросил встревоженно Зуев.

Моста не было. Его или смыло, или затопило,

и вода уже шла над ним толщей в полтора-два метра. Зуев зажег электрический фонарик, посветил. Из-под мутных волн торчали, качаясь, верхушки кустов.

— Так-так! — сказал озадаченно Зуев. — Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать.

Он помолчал.

— Покричать, что ли?

Но кричать было бесполезно. До Заборья было еще далеко. Нас все равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не было ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.

— Придется идти на перевоз, — сказал я. — Конечно…

— Что «конечно»?

— Да ничего. Дорогу я знаю.

Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз еще работает», — но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, естественно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.

— Ну что ж! — согласился Зуев. — Пойдемте. Ночь как потемнела, окаянная!

Он снова посветил и выругался — вода уже закрыла верхушки кустов.

— Дело серьезное! — пробормотал Зуев. — Идемте скорей!

Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетал из темноты и нес вкось над землей снеговую крупу. Все чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли, спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежали два небольших оврага — всегда сухие. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.

— Заливает овраги, — сказал Зуев. — Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода! Непонятно.

Даже во время сильных осенних дождей вода никогда не поднималась так быстро и не заливала остров.

— А деревьев здесь нет, — заметил Зуев. — Одни кусты.

На острове как раз против перевоза была наезженная дорога. Мы узнали ее по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла на высоком берегу тяжело гудел под ветром сосновый лес.

Чем дальше тянулась ночь, тем становилась

кромешнее и холодней. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарем. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заполаскивала в луга.

— Перево-оз! — закричал Зуев и прислушался. — Пе-рево-оз!

Никто не откликнулся. Гудел лес.

Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождем. Редкие его капли начали тяжело стучать по земле.

Мы снова начали кричать. В ответ все так же равнодушно гудел лес.

— Нет перевозчика! — сказал с сердцем Зуев. — Ясно! И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, если остров заливает и на нем нет и не может быть ни души. Глупо… в двух шагах от родного дома…

Я понимал, что выручить нас может только случайность — или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничего не предвещало этой черной ночной беды, — навстречу к ней мы пришли сами.

— Пойдемте по берегу, — сказал я. — Может быть, наткнемся на лодку.

Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил фонариком, но свет его все тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.

Я наткнулся на что-то темное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажег спичку и сунул ее в солому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнем. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно шумел.

Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди еще много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом — и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.

— Она сейчас погаснет, — тихо сказал Зуев. —

Под ногами уже вода.

Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул леса и плеск воды долетали слабые, отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:

— Э-ге-гей! Лодка! Сюда!

Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:

— Иду-у!

Зуев быстро разгреб солому. Вырвалось пламя. В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихо смеяться.

— Весла! — говорил он. — Весла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке!

Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, никогда не умирающие в нашем народе.

— Эй, на пески выходите! Пониже! — звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это кричит женщина.

Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.

— Погодите садиться, воду надо отлить, — ска-

зал тот же женский голос.

Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица ее не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова ее была закутана теплым платком.

— Как вас только сюда занесло? — строго спросила женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.

Она молча и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:

— Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.

— А как вы попали ночью в лес, наша спасительница? — шутливо спросил Зуев.

— Шла на работу, — неохотно ответила женщина. — Из Пустыни в Заборье. Вижу — огонь на острове, люди. Ну вот и догадалась. А перевозчика уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле весла нашла. Под сеном, в шалаше.

Я сел на весла. Я греб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что ее сносит к какому-то черному широкому водопаду, куда низвергается мутная вода, и тьма, и вся эта ночь.

Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить.

В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о ненастной ночи и недавней опасности. Но теперь ночь казалась мне удивительной и прекрасной. И приветливым и знакомым показалось мне лицо молодой женщины, когда мы закурили и свет спички осветил ее мимолетным огнем. Серые ее глаза смущенно смотрели на нас. Мокрые пряди волос выбивались из-под платка.

— Никак ты, Даша? — вдруг очень тихо спросил Зуев.

— Я, Иван Матвеевич, — ответила женщина и засмеялась легким смехом, будто она смеялась чему-то известному только ей одной. — Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы! Никак не верили, что вы не вернетесь.

— Вот так оно и бывает! — сказал Зуев. — Четыре года воевал, смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти спасла меня Даша. Помощница моя, — сказал он мне. — Работала в лесничестве. Учил я ее всякой лесной премудрости. Была девочка слабенькая, как стебелек. А теперь посмотрите, как вытянулась. Какая красавица! И строгая стала, суровая.

— Да что вы! И не суровая, — ответила Даша. — Это я так, от отвычки. А вы к Василисе Ионовне? — неожиданно спросила Даша меня, очевидно чтобы переменить разговор.

Я ответил, что да, к Василисе Ионовне, и зазвал Дашу и Зуева к себе. Надо было обогреться, обсохнуть, отдохнуть в теплом старом доме.

Василиса Ионовна нисколько не удивилась нашему ночному появлению. По старости своей она привыкла ничему не удивляться и все, что бы ни случилось, толковала по-своему. И теперь, выслушав рассказ о нашем злоключении, она сказала:

— Велик бог земли русской. А про Софрона этого я всегда говорила, что он растяпа. Удивляюсь, как это вы, писатель, сразу его не раскусили! Значит, у вас тоже есть своя слепота на людей. Ну а за тебя, — сказала она, оборачиваясь к Даше, — я рада. Дождалась ты наконец Ивана Матвеевича.

Даша покраснела, сорвалась с места, схватила пустое ведро и выбежала в сад, забыв затворить за собой дверь.

— Куда ты? — всполошилась Василиса Ионовна.

— За водой… для самовара! — крикнула из-за дверей Даша.

— Не понимаю я нынешних девушек, — сказала Василиса Ионовна, не обращая внимания на то, что Зуев никак не может зажечь спичку и закурить. — Слова им не скажи, вспыхивают, как костер. Чудная девушка! Могу сказать — моя отрада.

— Да, — согласился Зуев, справившись наконец со спичкой. — Замечательная девушка.

Конечно, Даша уронила ведро в колодец в саду. Я знал, как доставать ведра из этого колодца. Я доставал ведро шестом. Даша мне помогала. Руки у нее были ледяные от волнения, и она все повторяла:

— Вот чудачка эта Василиса Ионовна! Вот чудачка!

Ветер разнес тучи, и над черным садом уже сверкало, то сразу разгораясь, то так же сразу тускнея, звездное небо. Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из ведра — влажные ее зубы поблескивали в темноте — и сказала:

— Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.

— Ничего, пойдемте.

Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью, и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на

стали тончайшей иглой, — гордость Василисы Ионовны.

1946

Во глубине России

Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы.

Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас еще туманную мысль писателя входить в берега точного замысла и затем уже плавно несут ее к конечному выводу, к завершению книги, подобно тому как река несет свою воду к широкому устью.

Совершенно ясно, что не все законы литературы уже разнесены по параграфам. Существует много способов и приемов живописного выражения мысли, еще не получивших названия.

Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде. Показывали ее работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдет из кинотеатра в полном недоумении.

В картине был показан дождь во всем его разнообразии. Дождь в городе на черном асфальте,

дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной, моросящий дождик, «слепой» дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков…

Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождем пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха.

Что может быть лучше для писателя, — а он, по существу, всегда должен быть и поэтом, — чем открытие новых областей поэзии вблизи себя и тем самым обогащение человеческого восприятия, сознания, памяти?

Все это я пишу, конечно, для того, чтобы оправдать некоторые отступления от твердых требований сюжета, допущенных в этом рассказе.

Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое. Обширные луга были политы ночным дождем, а это значило, что не

только в каждом венчике блестела капля воды, но все великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах.

Я шел лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления.

Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дегтем (со слабым зеленоватым отливом). В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной «с поднос от самовара». Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал.

Ощущение таинственности возникает от ожидания неизвестного и не совсем обыкновенного. А густота и высота зарослей вокруг озерца заставляли думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор не виданное: или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с

полым сочным стволом толщиной в человеческую руку.

И все это действительно там было, в том числе и огромные желтые ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки.

В лугах было совсем пусто. До покоса оставалось еще недели две. Издали я заметил маленького мальчика в выцветшей и явно большой на него артиллерийской фуражке. Он держал под уздцы гнедого коня и что-то кричал. Конь дергал головой и отмахивался от мальчика, как от слепня, жестким хвостом.

— Дяденькя-а-а! — кричал мальчик. — А дяденькя-а-а! Подь сюда!

Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.

— Дяденькя, — сказал он, смело глядя на меня умоляющими глазами. — Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.

— А ты чей? — спросил я.

— Аптекарский я, — ответил мальчик.

Я знал, что у нашего сельского аптекаря Дмитрия Сергеевича детей нет, и подивился на необык-

новенную фамилию этого мальчика.

Я поднял его на руки, но мерин тотчас, дико косясь, начал мелко перебирать ногами и отходить, стараясь держаться от меня на расстоянии вытянутой руки.

— Ох и вредный! — сказал мальчик с укором. — Прямо псих! Дайте я его за повод схвачу, тогда вы меня и подсадите. А так он не даст.

Мальчик поймал мерина за повод. Мерин тотчас успокоился, даже как будто уснул. Я подсадил мальчика ему на спину, но мерин продолжал стоять все так же понуро и, казалось, собирался стоять так весь день. Он даже легонько всхрапнул. Тогда мальчик высоко подпрыгнул у мерина на хребте и с размаху ударил его босыми пятками по вздутым пыльным бокам. Мерин удивленно икнул и поскакал лениво и размашисто к песчаным буграм за Бобровой протокой.

Мальчик все время подпрыгивал, взмахивал локтями и колотил мерина пятками по бокам. Тогда я сообразил, что, очевидно, только при такой довольно тяжелой работе можно от этого мерина добиться чего-нибудь путного.

На озерце, глубоко запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень, и в этой тени серебрились от росы сами по себе серебряные

ракиты.

На ветке ракиты сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке и издавала дробный и приятный треск, не раскрывая при этом клюва. Я подивился, конечно, на эту птаху и на ее веселое занятие и начал прорываться к воде.

Дело в том, что к нам приехала после экзаменов в московской школе городская девочка Маша, любительница растений, и я решил набрать ей в подарок букет из всяких хороших цветов. Но так как плохих цветов вообще нет, то мне выпала довольно трудная задача — что выбрать. В конце концов я решил взять по одному цветку и одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные росистые пахучие валы.

Я осмотрелся. По берегам уже зацвела желтоватыми непрочными кистями таволга. Цветы ее пахли мимозой. Донести их до дому, особенно в ветреную погоду, было почти невозможно. Но я все же срезал ветку таволги и спрятал ее под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.

Потом я срезал широкие, как сабли, листья аира. От них исходил сильный и пряный запах. Я вспомнил, что на Украине хозяйки по большим праздникам устилают полы аиром, и стойкий

запах его держится в хатах почти до зимы.

Стрелолист уже дал первые плоды — зеленые шишки, покрытые со всех сторон мягкими иглами. Я сорвал и его.

С трудом я зацепил сухой веткой и осторожно вытащил из воды белые плавучие цветы водокраса с красноватой сердцевиной. Лепестки его были не толще папиросной бумаги и тотчас обвяли. Пришлось его выбросить. Тогда я той же веткой подтащил к берегу цветущую водяную гречиху. Розовые ее метелки стояли над водой круглыми маленькими рощами.

До белых лилий я никак не мог дотянуться. Раздеваться же и лезть в озерцо мне не хотелось — илистое его дно засасывало выше колен. Вместо лилий я сорвал береговой цветок с грубым названием сусак. Его цветы были похожи на вывернутые ветром маленькие зонтики.

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябинка с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский

чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «мрел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А еще дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплетались, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. И серебряный рейсовый самолет, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно

летящая звезда, потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце.

Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нем было вырисовано печатными буквами:

Много пыли на дороге,
Много грязи на пути, —
Вытирай почище ноги,
Если хочешь в дом войти.

— Ага! — сказал я. — Ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях?

— Ой, какие цветы! — закричала Маша. — Прямо прелесть! Да, я была в аптеке. И еще я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин.

— Кто ж он такой?

— Мальчишка. Прямо необыкновенный.

Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти

«всепроницаемы», вернее, «всепроницающи», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесухи».

В какую бы лесную, озерную или болотную глухомань я ни попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям.

Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал их, трясущихся от холода, в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в двадцати километрах от жилья.

Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется «шмыганье носом», выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шепот:

— Дяденькя, дай червячкя!

Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, «редко ступала нога человека», мальчишек приводило неистовое воображение и любопытство.

Мне кажется, что если бы я попал на Северный

полюс или, скажем, на полюс Магнитный, то и там обязательно бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на Магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита.

Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши:

— Чем же он такой прямо необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?

— Ему восемь лет, — ответила Маша, — а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы. Например, валериану.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого мерина. Но все сомнения окончательно рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым мерином и что этот самый мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошел в аптеку и передал аптекарю мешок с собранной за Бобровой протокой травой валерианой.

Оставалось неясным только одно — как это Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валериану, не слезая с мерина. Но когда я узнал,

что Иван Степанович привел мерина на поводу, то догадался, что на мерине он доехал только до зарослей валерианы, а оттуда вернулся пешком.

В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чем я и хотел рассказать, — к аптекарю Дмитрию Сергеевичу, и, пожалуй, не столько к нему, сколько к давно занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу.

Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространенное мнение о том, что существуют неинтересные профессии, — предрассудок, рожденный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке все, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с черной надписью «венена» — яд!

По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку.

Многое, конечно, было уже открыто с давних времен — например, действие настойки ланды-

ша или наперстянки на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были еще не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире.

В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зеленый жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но все же должны были согласиться, что действует он превосходно.

Однажды Дмитрий Сергеевич принес мне почитать толстую книгу — фармакопею. Я не запомнил точного ее названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый мастерски написанный роман. В ней были описаны разные, подчас совершенно удивительные и неожиданные качества многих растений, — не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как приготовить из этих растений лекарства.

Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений — какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий

Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей».

В некоторых избах я видел статьи Дмитрия Сергеевича вырезанными из газеты и прибитыми гвоздиками к стене и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы.

В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию Хвощи, или даже за отдаленную речку со странным названием Казенная, где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озерами и заросших высоким конятником.

За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесемочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые «летучие пузыри». Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на веревочке вокруг пальца, издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга по голове, наслажда-

ясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие.

Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только летом во время школьных каникул, да и то не каждый же день. Большей частью они помогали взрослым: пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было, конечно, то, что маленькие едва умели ходить и их приходилось всюду таскать с собой на закорках.

Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек: Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу Утиль.

Утиль появлялся в деревне не часто — раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошаденкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку веревочный кнут и заунывно кричал:

— Тряпье, старые калоши, рога, копыта принимаем!

На передке телеги у Утиля стоял волшебный ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках

пестрые игрушки — свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки, переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания.

Как только Утиль въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестренок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь.

Утиль обменивал тряпье и рога на новенькие, еще липкие от краски игрушки и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками.

Взрослые никогда ничего не выносили Утилю. Это было исключительное право детей.

Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. Утиль был человек по внешности суровый, даже, как говорится, «страховидный» — косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него был зычный и грубый. Но, несмотря на эти угрожающие признаки, Утиль никогда не отказывал детям. Один только

раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшие голенища от отцовских сапог.

Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги Утиля к своей избе. Дети, окружавшие Утиля, вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом.

Утиль свертывал из махорки толстую «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни пораженных его жестоким поступком детей.

Он не спеша заклеил «козью ножку», закурил, потом сплюнул. Дети молчали.

— Вы что? — сердито спросил Утиль. — Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?

Дети молчали. Утиль затянулся и, не глядя на детей, сказал:

— Сбегайте-ка за ней. Мигом! Сбычились на меня, будто я душегуб!

Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки в красном сарафане.

Ее приволокли, румяную и смущенную, с не высохшими еще слезинками на глазах, и Утиль

важно и строго осмотрел ее голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пеструю куклу с круглыми пунцовыми щечками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами.

Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. Утиль дернул за вожжи, лошаденка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше.

Утиль шел рядом с ней, не оглядываясь, все такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя двадцать изб, он прокашлялся и протяжно закричал:

— Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем!

Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником, а между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы.

Любопытно, что Утиль работал даже, я бы сказал, с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на поездки по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек (по воле хозяй-

ственников, очевидно не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор») у Утиля был разнообразный и увлекательный.

Величайшим событием в деревне был тот случай, когда Утиль, по заказу Дмитрия Сергеевича, привез из города бронзированные рыболовные крючки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчиками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам десять крючков.

Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью и тщательностью начали закалывать крючки в подкладку кепок — самое верное хранилище всех мальчишеских ценностей.

Все мы привыкли к тому, что у нас в России человек, с виду непримечательный и скромный, может оказаться на поверку очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому, что досконально знал и любил Россию, изъездил ее вдоль

и поперек и был наперсником и закадычным другом сотен простых наших людей.

Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нем не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своем деле, требовательный к себе и окружающим гуманист.

Под грубой внешностью Утиля билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображения, которое он применил к своему как будто мизерному делу.

Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной.

Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в большом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на нее не так-то просто. Сначала нужно ехать сорок километров по узкоколейке, потом километров тридцать идти пешком.

На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали.

Возвращались мы на следующий день. В лесные

тихие сумерки мы вышли к разъезду на узкоколейке. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на березах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца.

Подошел маленький поезд, весь из пустых товарных вагонов. Мы влезли в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях вагона и курили.

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали.

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю его ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щелканья и перелива в кустах по сторонам полотна.

Тогда самая молодая женщина запела, глядя на закат, и глаза ее казались золочеными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать.

Когда женщины замолкли, оборванный охот-

ник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику:

— Споем и мы, Ваня? Как думаешь?

— Ну что ж, споем! — согласился спутник.

Оборванцы запели. У одного был густой мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сидели, пораженные этим необыкновенным голосом.

Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления, потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто даже не обернулся в ее сторону, потому что это были слезы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения.

Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость.

Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал себя колхозным счетоводом из-за Оки. Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров Консерватории послушал его голос. «Преступно, — говорили мы, — сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю». Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался.

— Да что вы! — говорил он. — Какая же опера с моим любительским голосом! Да и возраст у

меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали — ехать в Москву! Я в Москве был три года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как бы мне поскорее удрать к себе на Оку.

Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции.

— Вот что! — решительно сказал мой приятель охотнику. — Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей. Я вас сведу с нужными людьми.

Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нем свой адрес. Поезд уже подошел к станции, остановился и тяжело отдувался, готовясь тронуться дальше.

Охотник при слабом свете заката прочел записку моего приятеля и спросил:

— Вы писатель?

— Да.

— Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте и мне в свою очередь представиться, — солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого, не обижайтесь на меня

за этот небольшой «розыгрыш». Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша: счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу.

Он засмеялся.

— Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо!

Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались, озадаченные, на дощатой платформе. Тогда только мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалеку от нас.

Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца.

Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных

случаях мы еще поговорим.

1950

Синева

Хромой человек в маленькой кепке шел по гальке вдоль морского берега и смеялся.

Мальчишки удили со скал бычков и зеленух и перекрикивались насчет того, что рыжий Жорка занял у Витьки-адмирала большого краба для наживки и вот уже который день не отдает.

Заметив на пляже смеющегося человека, мальчишки насторожились и замолкли. Они, видимо, соображали — оставаться ли им на скалах или лучше удрать.

— Тикайте все! — крикнул наконец отчаянным голосом Витька-адмирал. — Тот дядя безумный! Он сам по себе смеется.

— Да нет же! — закричал, заикаясь от торопливости, самый маленький мальчик. — Совсем вовсе нет! Это — шахтер с Горловки. Тот, что стоит в доме отдыха. Он же совершенно смирный.

Вдруг все мальчишки заслонили глаза ладонями от отблеска волн:

— Трех камбал несет! С Тихой бухты. Он от удачи смеется. А Витька орет — «безумный!». Сам он псих, Витька.

Мальчишки, торопясь и толкаясь, полезли со

скал на берег и побежали навстречу хромому человеку. Еще на бегу мальчишки кричали:

— Дядя, где вы их споймали? На что? На соленую камсу или на свежую? Ой, дядя, дайте нам их понести. А ты не тяни! Он мне дал нести, не тебе. Какой хваткий!

Окруженный мальчишками, шахтер подошел к нам. Это был высокий, немного сутулый человек с худощавым лицом. Он улыбался, был горд своей добычей и, очевидно, ждал расспросов.

И мы — украинский писатель Горленко и я — расспросили его, стараясь скрыть свою зависть, как он поймал этих камбал, трогали колючие наросты у них на спинах и вообще удивлялись необыкновенным, как бы сплющенным наискось рыбам. Мальчишки шумели вокруг.

То было веселое и беспокойное племя маленьких черноморцев. Занятия в школе окончились, и мальчишки все дни напролет пропадали в пустынных бухтах, отрезанных от поселка отвесными скалами.

В скалах, заросших оранжевыми лишаями, гнездились дикие голуби. Стаи дроздов взлетали над цветущим шиповником. Горьковато пахло чабрецом и прохладой морских глубин. Дельфины, посапывая, кувыркались у самого берега,

гоняя камсу.

Мальчишки отсиживались в этих диких бухтах от справедливого гнева матерей и многочисленных тетушек, от наскучивших угроз и упреков: «Вот, погоди, я до тебя доберусь!», «Смотри, какой Петя чистенький хлопчик. А ты на кого только похож, балбес!»

Мальчишки знали всё, что случалось на двадцать километров к югу, северу, востоку и западу от приморского поселка. Все было им досконально известно: когда пойдет кефаль, как рыбаки поймали черноморскую акулу-катрана (высохший хвост этой акулы служил у мальчишек предметом оживленного обмена на рыболовные шнуры, крючки и грузила), кто приехал в дом отдыха, сколько сил у рыбацкой моторки «Голубка», где можно накопать кусочки серного колчедана, «блискучего, как золото», и в какой полосе пляжа больше всего обкатанных морем сердоликов. Они были очень расположены к нам, отдыхающим, эти маленькие черноморцы, и просто напрашивались на разные услуги, вроде того чтобы поймать и засушить для нас морского конька или отцепить засевший среди подводных камней рыболовный шнур с крючками, так называемый самолов.

Стоило кому-нибудь из нас во время рыбной ловли зацепить самолов, как по берегу проносился непонятный клич: «Мерекоп!» — и все мальчишки бросались в воду, чтобы отцепить (или, как они выражались на рыбацком жаргоне, «отмерекопить») самолов.

Мерекоп! Зацеп! Это слово веселило приезжих. Мальчишек даже начали звать «мерекопщиками». Изыскания, предпринятые, чтобы найти корни слова «мерекоп», ничего не дали. Не удалась и попытка выяснить, откуда у мальчишек взялось слово «бонация», означавшее на их языке полный штиль.

В те дни «бонация» стояла над берегами Восточного Крыма. Особенно хорош был штиль на рассветах. Казалось, что небо за ночь опустилось до самой земли и накрыло горы, обрывистые мысы, дальние берега и отдохнувшее море своей синевой. Дышалось прохладно и легко. Всходило огромное солнце, и в легкой мгле то тут, то там загорался и тотчас погасал дрожащий блеск — то солнечный луч вспыхивал на омытой прибоем скале, сверкал в стеклах горной сторожки, крытой черепицей, или насквозь просвечивал куст розового тамариска.

Восточный Крым был полон цветения и тиши-

ны. Это была особая, замкнутая страна, непохожая на все остальные части Крыма. Страна сухих пепельных гор, долей, пылавших красными венчиками мака, густой морской сини и безмолвия.

К шуму моря слух привыкал очень быстро. Его вскоре переставали замечать. Тогда на этих берегах оставался, пожалуй, только единственный звук: шелест травы под ветром.

Восточный Крым — богатая земля. О том, что скрыто в тамошней почве и в недрах единственного в Крыму погасшего вулкана Кара-дага, можно было догадываться по множеству камней, вымытых морем из подводных пещер.

Там было все: синий гранит, мрамор — то желтый, как слоновая кость, то розовый, то снежно-белый, дымчатые халцедоны, пестрые агаты, целебные сердолики, хризопразы, камни со странным названием «фернонпиксы», разрисованные сложными узорами, зеленая яшма, горный хрусталь, похожий на кристаллы воды, пемза, лава, маленькие кораллы и много других камней, сверкавших на сырых после шторма песках.

Восточный Крым — земля истории. Здесь волны выбрасывают скифские серьги, монеты времен Екатерины, черепки греческих ваз, штыки за-

щитников Севастополя, осколки глубинных бомб и ржавые немецкие каски. В них рыбаки кипятят теперь вар для засмолки шаланд.

В эту древнюю и богатую страну съехались сейчас на отдых люди из самых разных частей Союза. Отдых сближает людей не меньше, чем работа. Все мы быстро сдружились, и нам казалось, что мы знаем друг друга давно. Только шахтер из Горловки по своей застенчивости держался пока особняком.

Но сейчас он подсел к нам на берегу и рассказал, что впервые приехал отдыхать к Черному морю со своей женой Фросей — работницей детских яслей — и просто слепнет здесь от синевы и солнца. До тех пор он видел только одно море — Азовское, да и то во время войны, когда был ранен в бою под Чонгаром.

Рассказывая, он несколько раз глубоко вздохнул и засмеялся. Было видно, что он отдыхает здесь безраздельно.

— Фрося моя все отстает, — заметил он и показал на молодую худенькую женщину. Она шла по пляжу и читала книгу. — Все зачитывается. Я закину шнуры в море, а она сядет в тени от скалы и читает. Я место переменю, а она, бывает, и не заметит. Да и то сказать, книга хорошая: «Белеет

парус» Катаева.

Фрося подошла к нам, поздоровалась, достала чистый платок и вытерла пот на лбу шахтера.

— Да мне хорошо, не беспокойся, — пробормотал шахтер, а Фрося слабо улыбнулась нам, как бы оправдываясь, и сказала:

— Ему перегреваться нельзя. А он со своей камбалой прямо с ума сходит. С самого рассвета до темноты сидит по-над морем. Обедать и то я его силой тащу. Что на работе в шахте, что у моря, характер у моего Степы один.

Она положила на раскрытую книгу морской голыш, чтобы ветер без толку не переворачивал страницы, помолчала и снова улыбнулась:

— Я заметила, что, когда человек отдыхает, сколько бы ему ни было лет, он делается просто как маленький. Вот вы тоже, — она обернулась к Горленко, — каждый день меняете у мальчишек крючки на крабов. А один раз я даже видела, как вы помогали жуку.

Горленко покраснел и согласился, что да, действительно был такой случай.

Жук долго трудился, скатал из всяких семян, навоза и остатков сухой камсы большой шар — запас пищи на зиму — и покатил его вверх по крутой тропе в свою нору. Жук кряхтел, надры-

вался, мучился, несколько раз падал, но шара не выпускал. Только у самой норы жук, очевидно, выбился из сил — шар выскользнул из его цепких лапок, покатился с горы и упал в глубокий овраг.

Жук заметался в отчаянии. Тогда Горленко спустился в овраг, нашел шар, принес его и положил около норы. Жук пошевелил усиками, обежал несколько раз вокруг шара и закатил его наконец в нору.

— Пропащего труда всегда жалко, — заметила Фрося. — А вас я читала. И понаслышке тоже знаю. Мне про вас сестра рассказывала. Она — садовод, работает в колхозе под Сумами.

— Что же она такое про меня рассказывала? — с опаской спросил Горленко.

— Будто вы всю Харьковщину и Полтавщину пешком обошли. С одной железной палкой и с мешком за спиной. Правда это?

Писатель пробормотал что-то неясное. Он был застигнут врасплох.

— И еще сестра рассказывала, как вы в одном селе сами скосили все сено для старушек, для матерей наших погибших солдат.

Я тоже слышал об этом. Слышал и о том, что Горленко каждое лето обходит пешком многие колхозы Украины, и другого такого знатока

колхозной жизни нет, пожалуй, среди наших писателей.

В колхозах его хорошо знали — худого, запыленного, черного от солнца человека с серыми зоркими глазами. У него было множество друзей среди крестьян — от сивых дедов до молодиц и «малесеньких хлопчиков», тех самых, всем известных хлопчиков, что от застенчивости в ответ на вопросы только чесали одной босой ногой другую и в исключительных случаях отвечали сиплым шепотом.

С Горленко колхозники советовались обо всех своих житейских делах, и женщины, вздыхая, говорили:

— Вот мает же человек золотое сердце на радость людям.

Знания Горленко в сельском хозяйстве были обширны и накоплены опытом. О чем бы он ни говорил — о сортах пшеницы, водяных мельницах — «млынах», нехватке воды в реках, баштанах и сахаристости свеклы, — все это, благодаря каким-то неуловимым чертам, рожденным любовью к делу, к людям, к своей удивительной южной стране, приобретало в его передаче черты настоящей поэзии.

Колхозная жизнь не была для него только мате-

риалом для книг. Она была его прямым делом, его биографией. Он «болел» за «наикращее життя» для своих земляков не только в статьях и книгах, но и на деле. Труд был для него святыней, почетным долгом, будь то многолетнее выращивание новой породы молочного скота или разведение зеркального карпа.

Всюду он вносил пленительный украинский юмор. Нельзя сказать, чтобы его путь был усыпан барвинками и бархатцами. Все хищное, что еще пряталось кое-где в колхозах, — жулики-счетоводы, дутые «герои», втиравшие очки советской власти, — все это боялось его и мстило ему. Заносчивые и несправедливо обласканные доверчивыми руководителями председатели иных колхозов открыто презирали его за то, что он обходил Украину пешком, как какой-нибудь бродяга, как «несчастная голота», — по пыльным шляхам, по заросшим стежкам, ночевал в клунях и куренях, а не приезжал на своей личной блестящей машине, как это полагалось делать, по их представлению, «настоящему писателю».

Стыдно сказать, но и из писателей кое-кто посмеивался над Горленко. Ему, усмехаясь, говорили, что времена странствующего украинского философа Григория Сковороды давно прошли, и

посматривали на него с легкой насмешкой, как на неисправимого чудака.

С кем бы Горленко ни встречался, он незаметно для собеседника выпытывал у него все, что касалось его работы, жизни, его познаний. Не было такой малости, из какой бы он не старался извлечь жизненного опыта.

Сейчас в Крыму его интересовало все: разноцветные лишаи на скалах, йодистые водоросли, уход за виноградниками, сорта крымских табаков, местные названия каждого ветра и даже устройство легких у нырков, прятавшихся надолго под воду при первом же свисте пущенного в них «мерекопщиками» камня.

Все это — и великое и малое — очень точно входило в его понимание действительности. Поэтому каждый разговор с ним был своего рода отрывком из еще не написанной интересной книги.

Иногда мы говорили с Горленко о будущем. Разговор этот чаще всего возникал по утрам на берегу. Быть может, потому, что тишина и блеск света над еще не проснувшимся морем вызывали уверенность в приходе новых прекрасных дней.

— Будущее определяется не высокими словами о благе людей, — говорил Горленко, — а кро-

потливой и повседневной заботой о каждом без исключения простом человеке.

Через несколько дней мы четверо (не считая всевидящих и вездесущих мальчишек) так сдружились, что почти всюду ходили вчетвером. И вот оказалось, что у нас, людей совершенно разных, много общих мыслей и интересных друг для друга рассказов — о шахтах, прошлом Донбасса, степных курганах, недавней войне, городке Геническе, где выросла Фрося, колхозных лесах, рыбачьих традициях, стихах, писательском мастерстве и других не менее замечательных вещах.

Фрося больше всего любила стихи. Однажды, когда Горленко, лежа на пляже, начал читать вполголоса пушкинские строки: «Редеет облаков летучая гряда…», она отвернулась и заплакала. Но тут же она рассмеялась, и блеск благодарных слез в ее глазах и сияние ее улыбки как бы осветили новой теплотой знакомые слова: «Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины…»

Мы сделали вид, что не заметили Фросиных слез, а шахтер сказал:

— Вот удивительно! Что ни день, то интереснее жить на свете.

Вскоре мы с Горленко уехали на машине к себе на север.

Тополя шумели по обочинам дороги. Листва лесов неслась душистыми грудами за окнами машины. Внезапно в этой зелени возникали сиреневые гранитные скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе, прозрачные ручьи. Каждый раз перед таким ручьем машина замедляла ход, будто хотела напиться.

Лепестки маков летели по ветру легкими стаями, как мотыльки. Отвесный каменный порог вставал вдали в дрожащем горячем воздухе, и шофер всерьез рассказывал, что он видел на этой гладкой горной стене ввинченные в камни причальные кольца, так как здесь, говорят, было в незапамятные времена море.

На утреннем базаре в Симферополе все блестело от росы: кувшины с молоком, холодная редиска, пучки лука и огромные пионы.

Мы уезжали, но отдых продолжался. Благодатный Крым никак не хотел отпускать нас на север. Долго еще синели в степной дали мягкие гребни его гор.

С Крымом мы попрощались только у берегов Сиваша, за Чонгарским мостом.

Горячая машина отдыхала на пригорке в пери-

стой тени акации. Оттуда было видно Азовское море, налитое густой лазурью до самых краев в рыжие глинистые берега. На мысу над морем белел поселок, как будто чайки сели отдохнуть среди кудрявой зелени низкорослых садов. Это был рыбачий городок Геническ — родина Фроси.

Может быть, поэтому Горленко вспомнил о Фросе и шахтере из Горловки и рассказал мне историю их любви и жизни. Оказывается, он уже успел все это узнать, опередив меня. Я тоже заметил почти детскую нежность в обращении Фроси с шахтером, и мне казалось, что я присутствую при зрелище большой и самоотверженной любви.

История эта была удивительной, хотя и совершенно простой.

В бою под Чонгаром шахтер был тяжело ранен. К нему подползла санитарка. Это была Фрося. Она перевязала его, но тут же сама была ранена осколком снаряда. Тогда шахтер, почти теряя сознание, перевязал свою спасительницу.

Потом они долго лежали в степи, пока их не подобрали и не отправили в санбат. Фрося говорила Горленко, что она выросла сиротой, жила одна, а тут, этой ветреной ночью, она услышала, как тяжело дышит рядом спасенный ею человек, и

поняла, что он ей теперь не чужой, что их породнила великая сила сострадания.

Мутные звезды светились в небе над Сивашом, отражались в его мертвой воде, и Фрося думала, что вот сейчас в ледяной степи среди колючих трав у берега гнилого этого моря, освещенного зловещими вспышками смертоносного орудийного огня, она нашла то единственное, что сильнее смерти, сильнее горя, сильнее всего на свете, — родную человеческую душу.

— Вот и все, — сказал Горленко. — Никаких украшений жизнь не прибавила к их любви. Украшения пусть придумывают писатели. Но я считаю, что это совершенно лишнее.

Я согласился с ним. Потом, когда машина неслась по широкому шоссе и в вечерних сумерках тонули по сторонам, кутаясь в туманы и дымы, запорожские степи, я думал о том, что ничего особенного не случилось за эти дни отдыха на берегу моря, кроме того, что там встретились самые простые люди. И в их простоте открылось столько взаимного доброжелательства, веселья, душевной чистоты и преданности своему делу, что не нужно никаких героических поступков, чтобы оценить и полюбить это высокое племя людей.

1953

Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от

птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо

больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: „Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет“».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем

могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше

месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя,

Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные

туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса,

что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала

Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концер-

ты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке

сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил

в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если б можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю… — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком

сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1953

Наедине с осенью

Осень в этом году стояла — вся напролет — сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (ее зовут в народе «мга») затягивала плесы на Оке и отдаленные леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и

тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор — должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

«Вот, — подумал я, — еще один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? От-

куда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении?

В стихах Баратынского заключен один из верных признаков шедевра — они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что недосказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу…», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою…», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические — такие, как «Та-

мань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадежно растратил этот шар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою, и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему — как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова:

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды — все равно, к дождю или к солнцу, — орали за рекой во все горло беспокойные петухи. «Звездочеты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких

угодно историй.

— Прямо «Жизнь на Миссисипи»! — говорил Заболоцкий. — Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два — и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов — первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти — сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернемся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского.

— Как великолепно! — сказал он. — Как хорошо! Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты — Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине», и в

«Завещании».

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение — из века в век — исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ — нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром — прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля — вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане

серела парижская зима — странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие лувр-ские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик-нищий, похожий на Дон Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей — моих тетушек. Даже в

те далекие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

— Садитесь!

— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

— Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и

воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» — всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,

Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придает «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряженной скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова — чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры — «Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул — так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя свет-

ла;

Печаль моя полна тобою...

Я бы мог слушать эти слова и сто, и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего — неувядаемость слов о неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться, — совершенство

человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днем и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

1963

Ильинский омут

Людей всегда мучают разнообразные сожаления — большие и малые, серьезные и смешные.

Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений, по приблизительным подсчетам, чертова уйма — больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревья, кустарники и травы со всеми их свойствами.

Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства.

Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.

Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным

сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. Это — сожаление о том, что не удалось — да, пожалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии.

Да что там — весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.

Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах, широкого монотонного разлива Оби в ее устье, около городка Салехарда — бывшего Обдорска.

Самое это название — Обдорск — вызывает представление о чем-то Скудном, о безлюдной северной земле, что погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле.

Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок, — вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого

цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони — с их нежной припухлостью между тоненьких жилок.

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето.

Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России.

Мы не любим пафоса, очевидно, потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили: «Великое солнце Аустерлица».

Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны, и с тех пор никто ее не нарушал.

То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский омут.

Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой Плес около Кинешмы.

Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, «типично» и даже «классично».

Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное.

Имел же Пушкин право говорить о «священном сумраке» царскосельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями из «священной истории», а потому, что он относился к ним как к святыне.

Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой.

К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, все равно на спуске вы несколько

раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки.

Поверьте мне, — я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу.

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высокой травы.

Кажется, что цветы и травы — цикорий, кашка, незабудки и таволга — приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь оттого, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы и озабоченно сосут жидкий пахучий мед.

Но не в этих травах и цветах, не в кряжистых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест.

Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой.

И каждая даль — я насчитал их шесть — была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе.

Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму.

На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг — суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина.

Внизу за суходолом виделась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков.

На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы.

На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести.

Дальше, на третьем плане, подымались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда

совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой.

Над лесами все время настойчиво парили коршуны. И день парил, предвещая грозу.

Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле — постоянной спутнице отдаленных пространств.

В этой мгле поблескивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величавая музыка урожая.

А там, за хлебами, лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал — так, по крайней мере, казалось — запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и

приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака.

Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный теплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нем непрерывно возникали все новые очень белые и выпуклые облака и медленной чредой уплывали на север.

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от резкого света. Я растирал

на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески.

Иногда я задремывал около жерновов. Высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады.

Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражен женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлек из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил ее векам, подарил ее нам, своим далеким потомкам, так же, как и он, взыскующим нетленной красоты.

А два года спустя я увидел во Франции, в Провансе, знаменитую мельницу писателя Альфонса Доде. Когда-то он устроил в ней свое жилище.

Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Доде. Потому что Доде жил в каменной мельнице,

а наша была деревянная, полная милых запахов смолы, хлеба и повилики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цвиканья каких-то маленьких птичек — не то овсянок, не то корольков.

Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идет к русскому пейзажу, как эти мельницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. От нее глаза становятся темней, губы — ярче и даже голос звучит вкрадчиво и нежно.

На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра темной листвой.

Мне все казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну — такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был темно-коричневый. От лба до темени он был рассечен мечом. Должно быть, он лежал в земле со времен татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным

шляхам колеса скифских телег-колесниц.

Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу и подолгу просиживал в его тени.

Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений.

Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску.

Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом.

За Ильинским омутом была видна в отдалении зеленая стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином» — бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Мисюсь.

Мисюсь уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине

сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва.

Пруд застлан огромным зеленым ковром ряски. Потомки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого темного золота.

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить в одиночестве свое непоправимое, безнадежное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги.

Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные.

Каждый раз, собираясь в далекие поездки, я

обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми ветлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе: «Вот этот чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем. Если, конечно, туда попадешь. А этот последний, рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем. Но, конечно, если и туда ты попадешь».

И все сбылось. Действительно, самолет шел над Тирренским морем. Я посмотрел в круглое окно-иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились желтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика.

Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение.

Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, ее замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров, — все это не могло оторвать

мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в человеческий рост — неприступный, ощетинившийся своими колючками, своими острыми налокотниками и забралами.

На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолета, как пчелиные соты. Это было Аяччо — родина Наполеона.

— Все завоеватели — клинические сумасшедшие, — сказал, поглядев на Аяччо, мой сосед — толстый и шутливый итальянец в черных очках. — Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей! Невозможно понять!

Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, ни к кому не обращаясь:

— О-хо-хо! А де Голль, кажется, неплохой католик.

Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что синьора Парелли ждет у главного выхода аэро-

вокзала его собственная машина.

И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом, на Оку, на Ильинский омут, где меня дожидаются ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья.

Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа, в городке Эрменонвиле, где в старинном поместье провел последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо.

Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой — показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она так же сердито сказала, что дом закрыт и мы можем только погулять по парку.

Парк был пуст. Мы не встретили в нем ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах.

Под ногами трещали желтые листья платанов. Они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов.

Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы великим мастером, каким-ни-

будь Бенвенуто Челлини. Их вершины окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид.

Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И всё слетали желтые лапчатые листья. Легкий их треск шел за нами по пятам.

Свинцовое небо простиралось над головой, но цвет этого свинца был все же парижский — легкий и очень светлый.

На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке. Но лодок на пруде не было. И праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон.

Потом сквозь тюлевую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы ожили и переменились в лице — покрылись медным блеском.

Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце — тоска по нашей простой земле, своим закатам, своем подорожнике и скромном шорохе палой листвы.

Прекрасная Франция, конечно, оставалась ве-

ликолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой, на Оку, где все было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней.

Я полюбил Францию давным-давно. Сначала умозрительно, а потом вплотную, всерьез. Но я не мог бы ради нее отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова:

На святой Руси петухи кричат, —
Скоро будет день на святой Руси...

С платанов изредка слетали листья. Сады Эрменонвиля, священные сады, овеянные памятью Руссо, погружались в сумрачный осенний день, такой же короткий, как и у нас в России. Он был так же печален, как и у нас. Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане, курившемся над прудом, и в молчании близкой ночи.

Нет! Человеку никак нельзя жить без родины,

как нельзя жить без сердца.

Июль 1964